

Рудольф Штейнер Мой жизненный путь

GA 028
*Незавершенная автобиография,
изданная Марией Штайнер в 1925 году*

Перевод с немецкого Оганесяна М.О.

Rudolf Steiner
MEIN LEBENSGANG
Eine nicht vollendete
Autobiographie,
herausgegeben
von Marie Steiner 1925
GA28
8 Auflage Dornach 1982

ISBN 5-94610-012-2
© 2002 М. Оганесян
© 2002 cvidentis
Рудольф Штайнер
МОИ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
evidentis
Москва 2002

Глава первая

На открытых обсуждениях вопросов основанной мной антропософии в последнее время стали приводиться сведения и суждения о моей жизни. Из того, что было сказано в этом направлении, делались выводы о причинах изменений, которые, как многие полагали, имели место в процессе моего духовного развития. В ответ на это мои друзья выразили пожелание, чтобы я сам написал о своей жизни.

Должен признаться, что у меня нет к этому особенной склонности. Ибо своим словам и делам я всегда стремился придать такой вид, какого требуют сами вещи. Но при этом я всегда придерживался мнения, что личностное во многих областях придает человеческой деятельности особую окраску. Однако мне кажется, что это личностное должно проявляться в словах и поступках без оглядки на собственную личность. В противном случае возникает проблема, которую человек должен решать с самим собой.

Написать эту книгу меня побудило лишь то, что я чувствую себя обязанным опровергнуть некоторые ложные представления, касающиеся связи моей жизни с антропософией, и представить ее в истинном свете. Настоятельное желание этого со стороны дружески настроенных ко мне людей также кажется мне обоснованным.

Родиной моих родителей* была Нижняя Австрия. Отец мой родился в Герасе, маленьком местечке в нижнеавстрийском лесном районе, моя мать - в Горне, городе, расположенном в той же местности.

Детство и юность моего отца прошли в тесном общении с монастырем премонстрантов* в Герасе. Он всегда с любовью вспоминал об этом периоде своей жизни и с величайшим удовольствием рассказывал о том, как он служил в монастыре и учился у монахов. Позднее он стал егерем на службе у графа Гойоса, имение которого находилось в Горне; там он и познакомился с моей матерью.

Спустя некоторое время он оставил свою егерскую службу и поступил на Южно-австрийскую железную дорогу, получив сначала место телеграфиста на маленькой станции в южной Штирии. Вскоре его перевели в Кральевец - местечко, расположенное у венгеро-хорватской границы. В это

же время он женился на моей матери, девичья фамилия которой Блие. Она была родом из семьи, издавна проживающей в Горне. Я родился в Кральевце* 27 февраля 1861 года. Место моего рождения находится, таким образом, далеко от местности, откуда исходят мои корни.

Мои отец и мать были истинными детьми той чудесной лесной местности, что расположена в Нижней Австрии к северу от Дуная. Железная дорога появилась там сравнительно поздно. В Герасе и до сих пор ее нет. Мои родители любили свою родину и все, что было связано с ней. Когда они вспоминали пережитое, то казалось, что душой своей они не покидали родные края, хотя судьба и предназначила им провести большую часть жизни вдали от них. И когда отец после долгих лет работы вышел в отставку, они сразу же переехали в Горн.

Отец мой был человек очень доброжелательный, но обладал страстным, вспыльчивым темпераментом, особенно во времена своей молодости. Служба на железной дороге была для него обязанностью: он не питал особой любви к ней. Когда я еще был мальчиком, ему приходилось иногда проводить на службе по трое суток кряду. За этим следовал суточный отдых. Жизнь не блистала для него яркими красками, но предоставляла ему лишь серые будни. Любимым занятием его было следить за политическими событиями, живо реагируя на них. Мать моя, из-за недостаточности средств, была всецело погружена в хозяйственные заботы. Дни ее были наполнены нежным уходом за детьми и маленьким хозяйством.

Когда мне было полтора года, отца моего перевели в Мёдлинг, близ Вены. Там мои родители прожили пол-года, а затем отца назначили начальником маленькой южной станции Потшах в Нижней Австрии, недалеко от штирийской границы. Здесь я жил с двух- до восьмилетнего возраста. Детство мое протекало в чудесной местности. Вокруг возвышались горы, связывающие Нижнюю Австрию со Штирией: Шнееберг, Вексель, Раксальп, Земмеринг. Обнаженная скалистая вершина Шнееберга первая озарялась лучами солнца, которые достигали затем и маленькой станции, принося с собой в эти прекрасные летние дни первый утренний привет. Серый хребет Векселя составлял со всем этим окружением навевающий серьезное настроение контраст. Местность кругом была покрыта зеленью, которая нежно ласкала взор и еще более оттеняла эти горы. Вдали - исполненные величия горные вершины, а в непосредственной близости - полное очарование природы.

И все же интересы маленькой станции сосредоточивались на железной дороге. Поезда в то время курсировали в этой местности с большими промежутками, но когда поезд прибывал на станцию, здесь собирались обитатели села, жаждавшие хоть какого-нибудь разнообразия в жизни, протекавшей у них буднично и монотонно. Здесь можно было встретить школьного учителя, священника, счетовода из имения, часто - бургомистра сельской общины.

Думаю, что детство, проведенное в таком окружении, имело для моей жизни важное значение. Ибо мои интересы в значительной степени оказались связанными с механической стороной бытия. И я знаю, как они все время пытались приглушить в детской душе идущее от сердца влечение к чарующей и величественной природе, в далях которой все снова и снова исчезали подчиненные механизму поезда.

На всем этом фоне выделялась одна весьма оригинальная личность - священник из Сан-Валентина*, местечка, расположенного в трех четвертях часа ходьбы от нас. Священник этот любил бывать у моих родителей. Почти каждый день после прогулки он приходил к нам и просиживал у нас довольно долго. Это был здоровый, широкоплечий человек, являвший собой тип либерального католического священника, отличающегося терпимостью и доброжелательностью. Весьма остроумный, он охотно шутил и любил, когда вокруг него смеялись. И даже после его ухода люди долго еще радовались, вспоминая его шутки. Человек практического ума, он любил давать хорошие практические советы. Наша семья долго пользовалась одним из них. По обе стороны полотна железной дороги в Потшахе росли белые акации. Однажды, когда мы шли по тропинке, идущей вдоль этих деревьев, священник вдруг воскликнул: "Ах, какие красивые цветки акации!". Мгновенно забравшись на дерево, он нарвал изрядное количество этих цветков, затем развернул свой огромный красный носовой платок - он был страстным нюхальщиком табака, - тщательно завернул в него свою добычу и сунул узелок под мышку. "Вам повезло, что у вас столько акаций", - сказал он. Отец мой, весьма изумленный, заметил: "Нам-то какая польза от них?" - "Ка-а-к?" - возразил священник. - Разве вы не знаете, что цветки акации можно готовить точно так же, как бузину? А на вкус они даже лучше, потому что гораздо тоньше аромат". С этого дня на нашем обеденном столе стали появляться, когда к этому представлялся случай, цветки акации.

В Потшахе у моих родителей родились еще дочь и сын*. Больше детей не было.

Будучи совсем маленьким, я обладал весьма своеобразной привычкой. Как только я научился есть самостоятельно, на меня приходилось обращать особое внимание, потому что у меня сложилось представление, будто суповую тарелку или чашку можно использовать только один раз.

Поэтому всякий раз после еды, если на меня не обращали внимания, я бросал тарелку или чашку под стол, где она и разбивалась. И если в этот момент появлялась мать, я встречал ее возгласом: "Мама, я уже кончил".

Это не могло быть у меня жадой разрушения, ибо с игрушками я обращался крайне осторожно и они долго сохранялись в хорошем виде. Особенно меня привлекали те из них, которые и сегодня я считаю наилучшими: книжки с картинками из подвижных фигур, которые снизу при помощи ниток приводились в движение. Картинки, под которыми помещались маленькие рассказы, оживали по мере того, как фигуры начинали двигаться. Целыми часами просиживал я вместе с сестрой перед этими книжками и научился - как бы естественным образом - первым основам чтения.

Отец мой, со своей стороны, приложил все усилия, чтобы я рано научился читать и писать. Когда я достиг школьного возраста, меня определили в сельскую школу. Учитель был пожилой человек, весьма тяготившийся преподаванием; но и мне, в свою очередь, было тягостно присутствовать на его уроках. Я не верил, что смогу у него чему-нибудь научиться, и вот почему. Он часто заходил к нам со своей женой и сыном. А сын их, по моим тогдашним понятиям, был большим озорником. "У кого сын такой шельмец, - вбил я себе в голову, - у того ничему не научишься". И однажды произошло нечто "совершенно ужасное". Этому мальчику, тоже учившемуся в нашей школе, пришла в голову такая забава: он взял лучинку, начал макать ее во все чернильницы и обводить круги вокруг них. Отец его обнаружил это. В школе почти никого из учеников уже не было. Остались я, учительский сын и еще два мальчика. Учитель был вне себя, ужасно ругался; и не будь он постоянно охрипшим, он бы зарычал как зверь. Но, несмотря на свою ярость, по нашему поведению он все же понял, кто виновник всего этого. Однако дело повернулось иначе. Школьная комната была смежной с комнатой учителя. "Госпожа старшая учительница", услышавшая весь этот шум, вдруг вошла в класс, с весьма свирепым видом размахивая руками. Не сомневаясь в том, что ее сыночек неспособен на такое, она обвинила меня. Я убежал из класса. Отец мой страшно рассердился, когда я поведал ему эту историю. Когда учитель с женой вскоре после этого пришли к нам, он со всей ясностью заявил им о прекращении дружеских отношений и добавил: "Ноги моего мальчика больше не будет в вашей школе".

С этого дня моим обучением занялся сам отец. И я целыми часами просиживал рядом с ним в его канцелярии, обучаясь чтению и письму, в то время как сам он выполнял свою обычную работу.

Но и отец не сумел пробудить во мне настоящего интереса к тому, что преподавал. Меня интересовало то, что писал он сам. Мне хотелось подражать ему, и благодаря этому я многому научился. Однако к тому, что исходило от отца и должно было послужить моему образованию, я не мог найти никакого отношения. Зато я по-детски вращался в практическую жизненную деятельность. Мое внимание привлекала железнодорожная служба и все, что относилось к ней. Особенно же занимало меня то, что было связано с природными закономерностями - даже в малейших своих проявлениях. Если я занимался чистописанием, то делал это из чувства долга и старался как можно скорее исписать страницу, чтобы посыпать написанное песком, которым пользовался мой отец. Меня захватывало то, как быстро песок высыхивает чернила и какую образует с ними смесь. Я все пробовал пальцами буквы, - какие высохли, какие нет. Любопытство мое было слишком велико, и чаще всего я прикасался к буквам слишком рано. Написанное мной принимало поэтому вид, не очень-то нравившийся моему отцу. Но он относился к этому добродушно, и все наказание сводилось к тому, что он называл меня неисправимым мазилкой.

С писанием было связано у меня не только это. Больше, чем мои буквы, интересовала меня форма пера. Если в руки мне попадал разрезной нож моего отца, я вставлял его в надрез пера, и таким образом происходило физическое изучение эластичности материала, из которого было сделано перо. После таких опытов я, конечно, пытался вновь сузить перо, но красота моих письменных работ от этого сильно страдала.

Это был период, когда со своим стремлением к познанию процессов природы я находился между "проникновением в их суть" и "границами познания".

В трех минутах ходьбы от дома моих родителей находилась мельница, хозяева которой были крестными моего брата и сестры. Нас очень любили на мельнице, и я часто пропадал там, с воодушевлением "изучая" мельничное дело. Там я проникал "внутрь природы". Но ближе к нам находилась прядильная фабрика. Сырье для нее доставлялось по железной дороге; по ней же отправляли и готовый товар. Я всегда внимательно следил за тем, что исчезало за стенами фабрики и что вновь из нее появлялось. Но заглядывать "внутрь" было строго-настрого запрещено, и дело до этого так никогда и не дошло. Это были "границы познания". Мне же очень хотелось перейти эти границы.

Почти ежедневно к моему отцу со служебными делами приходил директор фабрики. Этот человек был для меня неразрешимой загадкой, которая удивительным образом несла в себе тайну "внутреннего мира" фабрики. Он вечно был обсыпан белыми хлопьями; глаза его не

двигались, словно вобрали в себя неподвижность машины. И говорил он хрипло, на каком-то механическом языке. "Какая связь между этим человеком и тем, что скрыто за этими стенами?". Эта неразрешимая проблема волновала мою душу. Но я никого не спрашивал об этой тайне. Ибо в моем детском уме уже сложилось мнение, что бессмысленно спрашивать о том, чего не можешь увидеть. Так я и жил между приветливой мельницей и неприветливой фабрикой.

Однажды на станции произошло нечто "потрясающее". К ней приближался товарный поезд, и мой отец вышел встречать его. Один из задних вагонов поезда весь был объят пламенем, но поездная бригада не замечала этого, и горящий поезд подошел к нашей станции. Это событие произвело на меня глубокое впечатление. Огонь возник в одном из вагонов из-за какого-то легковоспламеняющегося вещества. Долгое время меня занимал вопрос, как это могло произойти? Меня не удовлетворяло то, что говорили по этому поводу окружающие, я был полон вопросов, но должен был обходиться без ответов. Так минуло мне восемь лет.

Когда мне исполнилось восемь лет, наша семья переехала в Нойдорфль, маленькое венгерское село, расположенное непосредственно у границы с Нижней Австрией. Границу эту образует река Лайта.

Железнодорожная станция, которой стал заведовать мой отец, находилась на краю села. До пограничной реки было полчаса ходьбы, еще через полчаса можно было прийти в Винер-Нойштадт.

Альпы, возвышавшиеся в непосредственной близости от Потшаха, здесь виднелись лишь в отдалении. Они выступали, будя воспоминания, на заднем плане, если взгляд был направлен на небольшие горы, до которых от нового местожительства нашей семьи можно было добраться за короткое время. Небольшие возвышенности, покрытые красивыми лесами, замыкали горизонт с одной стороны, с другой - над покрытой полями и лесами равниной - виднелась Венгрия. Особенно мне нравилась та из этих гор, на которую можно было взойти за три четверти часа. На вершине ее находилась часовня с изображением св. Розалии*. Часовня эта была конечным пунктом прогулок, которые я часто совершал сначала с моими родителями, сестрой и братом, а затем и один. Прогулки эти доставляли еще одну радость: в соответствующее время года мы возвращались домой, нагруженные богатыми дарами природы - в лесах было много ежевики, малины, земляники. Это доставляло немалое удовлетворение, ведь всего за полтора часа можно было набрать отменную прибавку к семейному ужину, состоящему обычно из куска хлеба с маслом или сыром.

Прогулки по этим лесам, принадлежавшим сельской общине, имели еще одну приятную сторону. Жители села добывали там дрова. Бедные собирали сами, зажиточные посылали за ними своих работников. Мне довелось познакомиться со всеми этими, большей частью добродушными людьми. Они всегда находили минутку поболтать, когда встречались со "Штайнер-Рудольфом". "Ну что, опять гуляешь, Штайнер-Рудольф?", и тут начинались всевозможные разговоры. Они забывали, что перед ними ребенок, потому что сами были в глубине души детьми, хотя им и было по шестьдесят лет. Из их разговоров я узнавал почти все, что происходило в сельских домах.

В получасе ходьбы от Нойдорфля находится Зауэрбрун - с железисто-углекислым источником. Дорога туда идет вдоль железнодорожной линии и частью через красивые леса. Во время каникул я каждый день рано утром отправлялся туда, нагруженный "тыквой" - глиняным кувшином, вмещающим три-четыре литра. Его дозволялось наполнять из источника даром, и, таким образом, каждый день за обедом наша семья наслаждалась вкусной шипучей водой.

В направлении Винер-Нойштадта и далее Штирии горы переходят в равнину, по которой вьется река Лайта. На склоне горы находился монастырь редемптористов*. Во время прогулок я часто встречался с монахами. Помню, как мне хотелось, чтобы они заговорили со мной. Но этого никогда не случалось. От этих встреч у меня оставалось какое-то неопределенное, но праздничное впечатление, которое еще долго жило во мне. Мне шел девятый год, когда во мне прочно засела идея: в задачи этих монахов входит нечто очень важное, и я должен непременно выяснить это. Таким образом, во мне снова и снова возникали вопросы, на которые не находилось ответов, и я должен был нести их в себе. Эти вопросы, касавшиеся самых различных вещей, делали меня очень одиноким.

В предгорьях Альп виднелись замки Питтен и Фросдорф. В последнем жил тогда граф Шамбор*, который в начале семидесятых годов хотел стать королем Франции под именем Генриха V. Приоткрывшаяся передо мной частичка жизни замка Фросдорф произвела на меня весьма сильное впечатление. Граф со своей свитой часто отправлялся в путь со станции Нойдорфль. Все, что касалось этих людей, сильно привлекало мое внимание. Особенно глубокое впечатление производил на меня человек из графской свиты, у которого было одно ухо. Другое было начисто отрублено, и прикрывавшие его волосы были заплетены в косичку. Здесь я впервые узнал, что такое дуэль, ибо этот человек потерял ухо на дуэли.

В связи с Фросдорфом мне приоткрылась и частица социальной жизни. Помощник нойдорфльского учителя*, разрешавший мне смотреть, как он работает в своей комнате, занимался составлением бесчисленных прошений о вспомоществовании, с которыми обращались к графу Шамбору жители села и окрестностей. На каждое такое прошение полагалось пособие в размере одного гульдена, из которого он имел право удерживать за свои труды шесть крейцеров. Эти деньги были очень кстати, так как за свою службу он получал в год всего пятьдесят восемь гульденов. Кроме того, ему полагался утренний кофе и обед у учителя. Еще он преподавал десятку детей во внеурочное время, в том числе и мне. За это ему причиталось еще по гульдену в месяц.

Этому помощнику учителя я многим обязан. Но это вовсе не означает, что его уроки мне многое дали. В этом отношении дело обстояло не лучше, чем в Потшахе. Сразу же по переселении в Нойдорфль я был определен в тамошнюю школу. Она состояла из одной комнаты, в которой занималось пять классов - мальчики и девочки вместе. В то время как мальчики, сидевшие в моем ряду, переписывали истории о венгерском короле Арпаде, самые маленькие стояли у доски, на которой для них мелом были написаны буквы "i" и "и". Не оставалось ничего иного, как тупо погружаться душой в какие-нибудь размышления, в то время как рука почти механически списывала текст. Процессом преподавания заведовал только помощник учителя. Сам учитель весьма редко показывался в школе. Он занимал также должность сельского нотариуса и, как говорили, был столь занят на этой службе, что совсем не мог заниматься школьными делами.

Несмотря на все это, я сравнительно рано научился хорошо читать. Благодаря этому помощник учителя смог внести в мою жизнь то, что направило мое дальнейшее развитие. Вскоре после моего поступления в нойдорфльскую школу я обнаружил у него в комнате учебник геометрии. Между мной и этим учителем установились столь хорошие отношения, что мне сразу же была предоставлена возможность какое-то время пользоваться этой книгой. Я с энтузиазмом взялся за нее. На протяжении нескольких недель душа моя была наполнена равенством и подобием треугольников, квадратов, многоугольников; я ломал себе голову над вопросом, где же пересекаются параллельные прямые; теорема Пифагора очаровала меня.

Высочайшее удовлетворение доставляло мне то, что можно было душевно вживаться в чисто внутренне созерцаемые формы, не опираясь на впечатления внешних чувств. В этом я находил утешение от того настроения, который вызывали во мне вопросы, оставшиеся без ответа. Умение нечто охватить чисто в духе доставляло мне внутреннее счастье. Я знаю, что впервые познал счастье благодаря геометрии.

Из моего отношения к геометрии, должно быть, возникли первые ростки мировоззрения, постепенно развившегося во мне. Более или менее бессознательно оно жило во мне уже с детских лет и приняло на двадцатом году жизни вполне определенную, осознаваемую форму.

Я говорил себе: предметы и процессы, воспринимаемые с помощью органов чувств, находятся в пространстве. Подобно тому, как это пространство находится вне человека, так и в его внутреннем существе находится своего рода душевное пространство, являющееся ареной действия духовных существ и процессов. Мысли были для меня не образами, создаваемыми человеком о предметах, а откровениями духовного мира на этой арене души. Геометрия являлась для меня знанием, которое, очевидно, создается человеком, но тем не менее обладает совершенно независимой от него значимостью. Будучи ребенком, я не мог облечь это ясно в слова, но я чувствовал, что знание о духовном мире нужно нести в себе так же, как геометрию.

Ибо реальность духовного мира была для меня столь же достоверной, как и реальность мира чувственного. Однако мне нужно было найти оправдание этого мнения. Я должен был суметь сказать себе, что в переживании духовного мира, как и в переживании чувственного, нет иллюзии. С геометрией дело обстоит так, говорил я себе, что здесь существует возможность узнать то, что переживает душа благодаря своей собственной силе; в этом чувстве я находил оправдание возможности говорить о переживаемом мной духовном мире так же, как и о мире чувственном. И я поступал именно так. Во мне жили два представления, которые, хотя и были неопределенными, но играли в моей душевной жизни, еще до моего восьмилетнего возраста, большую роль. Я различал вещи и существа, которые для людей "видимы" и которые для них "невидимы".

Я рассказываю об этих вещах, строго придерживаясь истины, хотя люди, ищущие повода для обвинения антропософии в фантастичности, быть может, выведут отсюда заключение, что уже ребенком я был предрасположен к фантастике и что поэтому нет ничего удивительного в том, что позже во мне сложилось фантастическое мировоззрение.

Но именно потому, что сам-то я знаю, как мало следовал я в дальнейшем своим личным пристрастиям при описании духовного мира, а только внутренней необходимости вещей, я могу совершенно объективно оглянуться на то, как по-детски неуклюже я оправдывал возможность говорить при помощи геометрии о мире, "которого не видят".

Остается сказать еще одно: я охотно жил в этом мире. Ведь я ощущал бы чувственный мир как некую духовную тьму вокруг себя, если бы он не озарялся светом с той стороны.

Нойдорфльский помощник учителя своим учебником геометрии доставил мне оправдание духовного мира, в котором я тогда нуждался.

Этому человеку я обязан очень многим. Он познакомил меня с искусством. Он играл на скрипке и фортепиано, много рисовал. Эти его способности сильно привлекали меня. И я проводил у него столько времени, сколько было возможно. Особенно любил он рисование и научил меня, когда мне было всего девять лет, рисовать углем. Под его руководством я должен был копировать картины. Долго сидел я, например, над срисовыванием портрета некоего графа Жешени.

В Нойдорфле, а чаще в соседнем Зауэрбрунне мне не раз доводилось слушать венгерскую цыганскую музыку, производившую на меня глубочайшее впечатление.

События моего детства протекали в непосредственной близости от церкви и кладбища. Нойдорфльская станция находилась в нескольких шагах от церкви, а между ними лежало кладбище.

Пройдя вдоль кладбища и затем еще небольшой отрезок дороги, можно было достичь села, образованного двумя рядами домов. Один из них начинался школой, другой - домом священника. Между ними протекал ручеек, по обеим сторонам которого росли высокие ореховые деревья. Орешник и определял иерархию общественного положения среди школьников. Когда орехи созревали, мальчики и девочки сбивали их камнями и набирали себе запас на зиму. Осенью только и было разговоров о том, у кого орехов больше. Наибольшим почетом пользовался тот, кто набирал самый большой запас. Затем уровень все понижался - до меня, последнего, который не имел права, как "чужак в селе", принимать участие в этой "игре в ранги".

От дома священника, под прямым углом к домам, в которых жили "богачи", начинался ряд, состоящий примерно из двадцати домов, принадлежавших "средним" крестьянам. Вдоль садов, окружавших станцию, стояли соломенные домики "бедняков", непосредственных соседей нашей семьи. Дороги из села вели в поля и виноградники, принадлежавшие крестьянам. Каждый год вместе с "бедняками" я принимал участие в сборе винограда и однажды был даже приглашен на деревенскую свадьбу.

Кроме помощника учителя, из лиц, преподававших в школе, я любил священника*. Регулярно, два раза в неделю, он приходил в школу давать уроки Закона Божьего, а иной раз и чаще - для инспекции. Образ этого человека глубоко запечатлелся в моей душе и в течение всей моей жизни снова и снова возникал в моей памяти. Это был самый значительный человек из тех, с кем мне довелось встретиться до моего десяти-одиннадцатилетнего возраста. Активный венгерский патриот, он принимал живое участие в происходившей тогда мадьяризации венгерской области. Исходя из этих убеждений он писал на венгерском языке статьи, с которыми я познакомился благодаря тому, что учитель, переписывая их начисто, часто беседовал со мной, несмотря на мою молодость, об их содержании. Священник этот также деятельно трудился на пользу церкви. Я понял это особенно ясно во время одной из его проповедей.

Здесь нужно отметить, что в Нойдорфле существовала масонская ложа. Ее деятельность была окутана тайной, и люди слагали на этот счет всевозможные легенды. Руководящая роль в этой масонской ложе принадлежала директору спичечной фабрики, расположенной на окраине села. Вместе с ним в работе ложи принимали непосредственное участие директор другой фабрики и торговец платьем. Деятельность этой ложи обнаруживалась лишь в том, что время от времени сюда "издалека" приезжали чужаки, производившие на обитателей села в высшей степени отталкивающее впечатление. Торговец платьем был весьма странной личностью. Он всегда ходил с опущенной головой, как бы погруженный в мысли. Его называли "симулянт", и ввиду этой его странности никто не ощущал ни потребности, ни возможности сблизиться с ним. Масонская ложа находилась в его доме.

Я не мог составить себе никакого понятия об этой ложе, ибо исходя из того, как относились к ней окружающие меня люди, я должен был отказаться от всяких расспросов; кроме того, на меня производили отталкивающее впечатление бестактные речи директора спичечной фабрики относительно церкви.

Однажды в воскресенье священник со свойственной ему энергией прочитал проповедь, в которой разъяснял значение истинной нравственности для человеческой жизни, причем, образы врагов истины были взяты из ложи. Свою речь он завершил такими словами: "Возлюбленные христиане, запомните же, кто есть враг истины: это масон и еврей!". Крестьяне, конечно, поняли, что речь идет о директоре фабрики и торговце платьем. Мне же особенно понравилось то, с какой энергией были произнесены эти слова.

Священнику я также обязан многим благодаря одному сильному впечатлению, чрезвычайно важному для моей дальнейшей духовной ориентации. Как-то раз он пришел в школу, собрал

наиболее "зрелых" учеников, к которым причислил и меня, в маленькой учительской комнате, развернул сделанный им собственноручно рисунок и объяснил нам по нему Коперникову систему мира. При этом он очень убедительно говорил о движении Земли вокруг Солнца, о ее вращении вокруг собственной оси, о наклонном положении земной оси, о лете, зиме, а также о земных поясах. Я был совершенно увлечен сказанным, целыми днями рисовал эту систему; затем я получил от священника подробное разъяснение солнечных и лунных затмений и направил всю свою любознательность - как тогда, так и в дальнейшем - на этот предмет.

Мне было около десяти лет, и я писал еще с орфографическими ошибками.

Глубокое значение для моего детства имела близость церкви и окружающего ее кладбища. Все школьные события разыгрывались в связи с ними. Это было вызвано не столько царившими тогда в этой местности социальными и политическими отношениями, но прежде всего тем, что священник наш был незаурядной личностью. Помощник учителя был одновременно церковным органистом и ризничим; он же помогал священнику во время богослужения. Мы, школьники, несли обязанности церковных служек и певчих во время месс, заупокойных служб и погребений. Торжественность латинского языка и религиозного культа были для меня тем, в чем любила жить моя детская душа. Благодаря тому, что до моего десятилетнего возраста я принимал активное участие в церковной службе, я очень часто находился в обществе столь уважаемого мной священника.

В родительском доме я не находил никакого сочувствия моим отношениям с церковью. Отец мой не принимал в этом никакого участия. Он был тогда "свободомыслящим"; никогда не ходил в церковь, с которой я так сросся, и это несмотря на то, что в свои детские и юношеские годы он был весьма предан церкви и служил ей. Изменился он лишь тогда, когда уже под старость переехал, выслужив пенсию, в Горн, на свою родину. Здесь он вновь стал "благочестивым человеком". Но к этому времени я потерял уже всякую связь с родительским домом.

С нойдорфского периода моего детства мне прочно запало в душу, что созерцание культового обряда, сопровождаемого торжественным музыкальным приношением, приводит к тому, что - как бы под сильным внушением - перед человеком встают все загадочные вопросы бытия. Уроки Библии и катехизиса гораздо меньше влияли на мой душевный мир, чем то, что совершал священник как служитель культа, как посредник между чувственным и сверхчувственным мирами. С самого начала все это было для меня не просто формой, но глубочайшим переживанием, и тем большим, что дома со всеми этими переживаниями я был чужим. То, чем жила моя душа во время богослужения, не покидало меня и дома. Я не принимал участия в домашней жизни. Я замечал ее; но я все время мыслил, чувствовал и воспринимал в этом другом мире. Однако здесь следует непременно отметить, что я вовсе не был фантазером, но вполне приспособился ко всем жизненным, практическим обязанностям, как к чему-то само собой разумеющемуся.

Совершенной противоположностью моему миру являлась склонность моего отца к политике. На службе его сменял чиновник, который жил на другой находившейся в его ведении станции. В Нойдорфле он появлялся каждые два или три дня. В свободные от работы вечерние часы он и мой отец беседовали о политике. Это происходило неподалеку от станции, за столом, который стоял под двумя большими чудесными липами. Здесь собиралась вся наша семья вместе с гостем. Мать моя вязала крючком или спицами, сестра и брат резвились, я же сидел у стола и прислушивался к бесконечным политическим разговорам мужчин. Мое участие касалось не содержания их беседы, а скорее форм, которые она принимала. Они никогда не соглашались друг с другом; если один говорил "да", то другой отвечал "нет". Все это происходило под знаком эмоциональности, даже страстности, но также и добродушия, составлявшего основную черту существа моего отца.

В маленьком кружке, который часто собирался и в котором принимала участие "знать" местечка, иногда появлялся врач из Винер-Нойштадта*. Он лечил многих больных в селе, в котором тогда не было врача. Путь из Винер-Нойштадта в Нойдорфль он проделывал пешком и после посещения больных заходил на станцию, поджидая обратного поезда. Как в моем родительском доме, так и среди большинства людей, знавших этого человека, он слыл за чудака. Он не очень любил говорить о своей профессии, зато охотно рассказывал о немецкой литературе. Именно от него я впервые услышал о Лессинге, Гете, Шиллере. В моем родительском доме я никогда о них не слышал. Их просто не знали. В школе тоже не было о них речи. Здесь на первом плане была история Венгрии. Ни священник, ни учитель не проявляли интереса к великим немецким писателям. Врач этот обогатил мой кругозор совершенно новым миром. Он очень охотно занимался мной и часто, немного отдохнув под липами, уводил меня с собой. Разгуливая взад и вперед по станционной площадке, он беседовал со мной - не поучительно, а с энтузиазмом - о немецкой литературе, развивая при этом всевозможные идеи о прекрасном и безобразном.

Эта картина так и осталась в моей жизни как праздничное мгновение моих воспоминаний: высокий, стройный врач со смелой, решительной походкой, с зонтиком в правой руке, которым он размахивает вдоль туловища, и я, десятилетний мальчик, жадно внимающий его словам.

Наряду со всем этим меня сильно занимало железнодорожное хозяйство. На станционном телеграфе я впервые наглядно познакомился с учением об электричестве. Уже ребенком я умел телеграфировать.

Что касается языка, то я всецело вырос на немецком диалекте, на котором говорят в восточных областях Нижней Австрии. В сущности, этим же диалектом пользовались тогда в областях Венгрии, пограничных с Нижней Австрией. К чтению у меня было иное отношение, чем к письму. В детстве я проходил мимо слов, углубляясь душой непосредственно в воззрения, понятия и идеи, так что чтение отнюдь не развивало во мне навыков орфографии и грамматики. В письме же, напротив, я стремился закреплять словообразы в звуках, как они слышались мне в местном диалекте. Поэтому мне чрезвычайно трудно давалось письмо, в то время как чтение с самого начала было делом легким.

Среди подобных влияний достиг я того возраста, когда перед моим отцом встал вопрос, куда меня определить: в гимназию или в реальное училище в Винер-Нойштадте. В этот период наряду с политикой часто обсуждалась и моя будущая судьба. Отцу приходилось выслушивать самые разные советы, но я уже знал, что он охотно выслушивает других, но поступает согласно своей собственной твердой воле.

Глава вторая

Намерение отца дать мне необходимое предварительное образование для дальнейшего моего устройства на железную дорогу сыграло решающую роль в вопросе, куда меня определить: в гимназию или в реальное училище. Мечты моего отца сводились к тому, чтобы сделать из меня инженера путей сообщения. Поэтому выбор пал на реальное училище.

Однако прежде нужно было решить, достаточно ли я подготовлен к переходу из сельской нойдорфльской школы в одну из школ соседнего Винер-Нойштадта. Поэтому меня повели сначала держать вступительный экзамен в городскую школу.

Все эти события, касавшиеся моей будущности, не возбуждали во мне глубокого интереса и проходили мимо меня. В том возрасте я с полным безразличием относился к тому, как и куда меня определят: в городскую школу, в гимназию или в реальное училище. Благодаря тому, что я наблюдал вокруг себя, о чем размышлял, душу мою томили неопределенные, но в то же время жгучие вопросы о жизни и мире; я хотел учиться, чтобы получить ответы на них. При этом меня беспокоило мало, благодаря какой школе это произойдет.

Приемный экзамен в городскую школу я выдержал успешно. Были предъявлены рисунки, выполненные мной у помощника учителя: они произвели на экзаменовавший меня преподавательский состав столь сильное впечатление, что способствовали более снисходительному отношению к моим недостаточным познаниям. Мне было выдано "блестящее" свидетельство. Как радовались этому мои родители, учитель и священник, другие уважаемые люди Нойдорфля! Успех мой радовал всех, потому что для многих он служил как бы доказательством, что и "нойдорфльская школа чего-нибудь да стоит".

У моего отца благодаря этому возникла мысль не отдавать меня на год в городскую школу - поскольку я так хорошо подготовлен, - но определить сразу в реальное училище. Поэтому через несколько дней меня повели на приемный экзамен в реальное училище. Здесь он прошел не так гладко, как в городской школе, но все же я был принят. Это было в октябре 1872 года.

Теперь мне предстояло совершать ежедневное путешествие из Нойдорфля в Винер-Нойштадт. Утром я мог ехать по железной дороге, но вечером приходилось возвращаться пешком, так как не было подходящего поезда. Нойдорфль находился в Венгрии, а Винер-Нойштадт - в Австрии. Таким образом, ежедневно я совершал путешествие из "Транслейтании" в "Цислейтанию". (Так назывались официально венгерская и австрийская области.)

В обеденное время я находился в городе. На нойдорфльском вокзале я познакомился с одной дамой из Винер-Нойштадта, которой и сообщил, что буду учиться в городе. Мои родители поделились с ней своей озабоченностью по поводу того, что мне придется оставаться из-за школы без обеда. Дама эта выразила желание давать мне бесплатные обеды и оставлять у себя, когда мне это будет нужно.

Дорога от Винер-Нойштадта до Нойдорфля летом очень красива, но зимой нередко трудна для ходьбы. Чтобы добраться от окраины города до села, нужно было с полчаса идти проселочной

дорогой, не очищавшейся от снега. Зачастую приходилось пробираться по снегу, доходящему до колен; домой я добирался в виде "снежной бабы".

Душа моя не сопереживала городской жизни, в отличие от деревенской, и я был погружен в свои мечтания, не различая ни происходящего в самих этих тесно стоящих друг против друга домах, ни отношений между ними. И только перед книжными магазинами Винер-Нойштадта я подолгу задерживался.

То, что происходило в реальном училище и в чем я должен был принимать участие, тоже проходило, не возбуждая живого интереса, мимо моей души. В первых двух классах мне было очень трудно поспевать за другими. Лишь во втором полугодии второго класса дело пошло лучше: впервые я стал "хорошим учеником".

Во мне жила потребность, господствующая над всем остальным. Я тосковал по людям, которые могли бы послужить мне образцом того, как человеку следует жить. Среди учителей двух первых классов таковых не было.

Наконец в моей школьной жизни произошло событие, оставившее глубокий след в моей душе. В одном из годовых отчетов, выходивших в конце каждого учебного года, была помещена статья директора нашего училища* "Сила тяготения, рассматриваемая как следствие движения". Одиннадцатилетний мальчик, я сначала почти ничего не смог понять из ее содержания, поскольку она сразу начиналась с высшей математики. Но смысл отдельных фраз все же мне удалось уловить. Во мне возник некий мысленный мост - от учения о мироздании, полученного от священника, к содержанию этой статьи. В этой последней указывалось на книгу, также написанную директором, - "Общее движение материи как первопричина всех явлений природы". Я копил деньги до тех пор, пока не сумел купить ее. Передо мной стояла цель как можно скорее научиться тому, что привело бы к пониманию этой книги и статьи.

Речь там шла о следующем: директор считал материальные "силы", действующие на расстоянии, за необоснованную "мистическую" гипотезу. Он хотел объяснить "притяжение" небесных тел, молекул и атомов без помощи этих "сил". Между двумя телами, говорил он, имеется множество находящихся в движении малых тел. Двигаясь по разным направлениям, они наталкиваются на большие тела. Эти последние подвергаются также ударам от малых тел по внешним сторонам. Количество этих ударов намного превосходит те, что приходятся на пространство между большими телами. Благодаря этому они взаимно сближаются. "Притяжение" - это не особая сила, а только "результат движения". На первых страницах книги были высказаны два положения: "1. Существует пространство и в нем продолжительное движение во времени; 2. Пространство и время суть непрерывные однородные величины; материя же состоит из отдельных частиц (атомов)". Все физические и химические явления природы объяснялись автором исходя из движений, возникающих вышеописанным образом между малыми и большими частицами материи.

Во мне ничто каким-либо образом не принуждало меня принять это воззрение, однако я чувствовал, что если мне удастся понять его, то это будет иметь для меня большое значение. И я прилагал всяческие усилия, чтобы достичь этого. Если мне представлялся случай раздобыть книги по математике и физике, я пользовался им. Но дело продвигалось медленно. Я вновь и вновь принимался за чтение статьи и книги, и с каждым разом дело шло лучше.

К этому прибавилось и нечто другое. В третьем классе появился учитель, соответствовавший "идеалу", стоявшему перед моей душой*. И я мог следовать ему. Он преподавал арифметику, геометрию и физику. Преподавание его отличалось чрезвычайной последовательностью и четкостью. Он так ясно строил все из элементов, что для мышления было в высшей степени благодатно следовать за ним.

Вторая статья в годовом отчете принадлежала ему. Она касалась области теории вероятностей и вычислений по страхованию жизни. Я углубился и в эту статью, хотя и в ней мог понять еще немного. Но вскоре смысл теории вероятностей стал открываться мне. Еще более важные последствия имело для меня то, что точность, с которой мой любимый учитель преподавал свой предмет, служила образцом для моего математического мышления. Благодаря этому между учителем и мной возникли чудесные отношения. Я почел за счастье, что этот человек будет моим учителем математики и физики во всех классах училища.

С помощью того, чему я научился благодаря этому учителю, я все более приближался к загадкам, заданным мне сочинениями директора.

Лишь долгое время спустя возникли у меня близкие, душевные отношения еще с одним учителем*. Он преподавал в младших классах геометрическое черчение, а в старших - начертательную геометрию. Его уроки начинались уже со второго класса. Но только в третьем классе стал мне понятен его метод. Учитель этот обладал изумительным даром конструктора, и преподавание его также отличалось образцовой ясностью и последовательностью. Черчение при помощи циркуля, линейки и треугольника стало моим любимым занятием. За всем тем, что я

усваивал благодаря директору, учителю математики и физики и учителю черчения, теперь передо мной вставали, на детском уровне представлений, загадки природных явлений. Я чувствовал, что должен приблизиться к природе, чтобы обрести отношение к духовному миру, который естественным образом представал предо мной в созерцании.

Я говорил себе, что к правильному переживанию душой духовного мира можно прийти лишь тогда, когда мышление достигнет в себе того уровня, который позволит приблизиться к сущности явлений природы. Эти чувства я пронес через третий и четвертый классы реального училища. Полученные мной знания я направлял к достижению намеченной цели.

Однажды, проходя мимо книжного магазина, я увидел на витрине "Критику чистого разума" Канта издательства "Рекламе". Я сделал все, чтобы купить эту книгу как можно скорее.

Когда в область моего мышления вступил Кант, я еще ничего не знал о том месте, которое он занимает в истории человеческого духа. Я не имел никакого представления о том, что думают о нем люди, принимающие или отрицающие его. Мой безграничный интерес к критике чистого разума проистекал из моей собственной душевной жизни. И я стремился на свой детский лад понять, чего может достичь человеческий разум, пытающийся проникнуть в подлинную сущность вещей.

Чтению Канта мешали многие внешние жизненные обстоятельства. Не менее трех часов ежедневно уходило у меня на далекий путь от дома до школы. Вечером я возвращался не раньше шести часов. Затем приходилось преодолевать нескончаемую массу домашних заданий. По воскресеньям же я занимался почти исключительно черчением. Я стремился довести до величайшей точности геометрические построения, а также достичь безупречной чистоты в штриховке и наложении краски.

Для чтения "Критики чистого разума" у меня почти не оставалось времени. Однако мне удалось найти выход из положения. История преподавалась у нас так, что учитель, казалось, излагает материал самостоятельно, на самом же деле он читал по учебнику. Преподаемое нам подобным образом мы затем должны были изучать уже по нашему учебнику. Я подумал: ведь то, что написано в книге, мне все равно придется читать дома. "Лекция" учителя мне ничего не давала; из прочитанного им я не мог воспринять даже самого малого. И тогда я разделил книжку Канта на отдельные листы, вложил их в учебник истории, лежавший передо мной, и принялся за чтение Канта, в то время как с кафедры "преподавалась" история. Это было, конечно, величайшим нарушением школьной дисциплины, но не мешало никому и не наносило в данном случае ни малейшего ущерба моим занятиям историей. По этому предмету я всегда получал "отлично".

Во время каникул чтение Канта усердно продолжалось. Некоторые страницы я перечитывал более двадцати раз. Я хотел определить отношение человеческого мышления к тому, что совершается в природе.

На ощущения, порождаемые этими устремлениями мысли, оказывалось влияние с двух сторон. Во-первых, я хотел проработать в себе мышление таким образом, чтобы каждая мысль была вполне обозрима, чтобы она не отклонялась под влиянием какого-либо неопределенного чувства. Во-вторых, я стремился установить в себе согласие между таким мышлением и религиозным учением. Ибо и оно сильно интересовало меня тогда. Именно для этой области у нас были превосходные учебники. В полной самоотдаче погружался я в изучение догматики, символики, в описание культа, в историю церкви. Я очень интенсивно жил в этих учениях. Но мое отношение к ним определялось тем, что духовный мир означал для меня содержание, доступное человеческому созерцанию. Учения эти столь глубоко проникали в мою душу именно потому, что благодаря им я ощущал, как в процессе познания человеческий дух может найти путь в сверхчувственное. Подобное отношение к познанию отнюдь не ослабляло во мне - и в этом я совершенно уверен - благоговения перед духовным.

С другой стороны, меня непрестанно занимал вопрос о значимости человеческой способности мышления. Я чувствовал, что мышление можно развить до такой силы, что оно будет способно охватить собой все вещи и процессы мира. Мысль о "материи", лежащей вне мышления, о которой просто "думают", была для меня невыносима. То, что заложено в предметах, должно вступить в человеческую мысль, - вновь и вновь говорил я себе.

С этим чувством, однако, все время сталкивалось то, что я прочитывал у Канта. Но в то время я едва ли замечал это. Ибо при помощи "Критики чистого разума" я прежде всего стремился обрести твердую точку опоры, чтобы справиться с собственным мышлением. Где и когда бы ни совершал я прогулки во время каникул, я непременно тихо усаживался где-нибудь и по-новому начинал размышлять о том, как человек от простых, обозримых понятий приходит к представлению о явлениях природы. Мое отношение к Канту в то время было не критичным, но я не мог идти дальше при его помощи.

Все это никоим образом не отвлекало меня от приобретения практических навыков в различных областях. Оказалось, что один из служащих, сменявших на работе моего отца, умеет переплетать книги. Я выучился у него этому искусству и сумел переплести во время каникул между четвертым и пятым классами все мои учебники. В это же время, во время каникул, я самостоятельно выучился стенографии. Но несмотря на это я прошел курс стенографии, преподававшийся с пятого класса.

Немало случаев представлялось и для практической работы. Вблизи от станции моим родителям был отведен небольшой фруктовый сад и картофельное поле. На мне, моей сестре и брате лежала обязанность собирать вишни, работать в саду, подготавливать картофель для посадки, возделывать поле, выкапывать созревший картофель. Кроме того, я не упускал случая в свободное от школы время сходить за покупками в село.

Когда мне было около пятнадцати лет, мне представился случай еще более сблизиться с упомянутым выше врачом из Винер-Нойштадта. Благодаря манере беседовать со мной во время его посещений Нойдорфля, я испытывал к нему большую симпатию. Часто я украдкой прогуливался у его винер-нойштадтского одноэтажного дома, расположенного на углу двух узких переулков. Как-то раз я увидел его у окна. Он позвал меня к себе, и вот я стою перед "большой", по моим тогдашним понятиям, библиотекой. Он снова заговорил о литературе, взял с полки "Минну фон Барнхельм" Лессинга и сказал, что мне следует прочитать ее и затем снова прийти к нему. Так стал он давать мне книги для чтения и позволял ходить к себе. При каждом посещении я должен был рассказывать ему о своих впечатлениях по поводу прочитанного. Он стал как бы моим учителем в области поэзии. Ибо за небольшим исключением я был далек от нее как дома, так и в школе. В атмосфере общения с этим врачом, преисполненным любви и восторженным всем прекрасным, я особенно близко познакомился с Лессингом.

Глубокое влияние оказало на мою жизнь и другое событие. Я познакомился с книгами по математике для самообразования, написанными Любзенем. И теперь я получил возможность изучать аналитическую геометрию, тригонометрию, а также дифференциальное и интегральное исчисление задолго до того, как начал проходить их в школе. Это позволило мне вновь вернуться к чтению книги "Общее движение материи как первопричина всех явлений природы", ибо теперь я мог лучше понять ее благодаря своим математическим познаниям.

Между тем наряду с физикой стала преподаваться и химия, и тем самым старые загадки познания пополнились для меня новыми. Учитель химии был замечательным человеком*. Преподавание своего предмета он строил исключительно на опытах. Говорил он немного, заставляя говорить за себя процессы природы. Он стал одним из наших самых любимых учителей. В нем было что-то особенное, отличавшее его от остальных, и у нас сложилось представление, что со своей наукой он установил более близкие отношения, чем другие учителя. Этих последних мы, ученики, титуловали всегда "профессор", его же, хотя он тоже был "профессором", всегда - "господин доктор". Он был братом лирического поэта из Тироля Германа фон Гильма. Особенно сильное впечатление производил его взгляд. Возникало ощущение, что этот человек умеет остро вглядываться в явления природы и затем удерживать их во взоре.

Его преподавание приводило меня в некоторое смущение. Множество преподносимых им фактов не всегда укладывалось в моей душе, стремящейся тогда к единообразию. Но у него, должно быть, все же сложилось мнение, что я преуспеваю в химии. Ибо с самого начала он выставил мне отметку "похвально", которая и оставалась за мной во всех классах.

Однажды у винер-нойштадтского букиниста я обнаружил "Всемирную историю" Роттека. Несмотря на то, что в школе я всегда получал по истории хорошие отметки, она оставалась для моей души чем-то внешним. Теперь же я прочувствовал ее внутренне. Меня пленило то, с каким пылом Роттек схватывает и описывает исторические события. Односторонности его понимания истории я еще не замечал. Через него же я пришел к двум другим историкам, которые произвели на меня глубочайшее впечатление благодаря своему стилю и историческому взгляду на жизнь: к Иоганну фон Мюллеру и Тациту. После этого мне было весьма трудно приспособиться к школьному преподаванию истории и литературы. И я пытался оживить это обучение с помощью тех знаний, которые усваивал вне школы. Подобным образом проводил я дни в трех старших классах (всего их было семь) реального училища.

С пятнадцати лет я начал давать вспомогательные уроки* ученикам моего и младшего возраста. Учителя охотно содействовали мне в этом, поскольку я считался "хорошим учеником". Мне же тем самым представлялась возможность хоть немного сократить расходы моих родителей, которым приходилось оплачивать мое образование из своих скудных доходов.

Этим урокам я обязан очень многим. Излагая другим уже пройденный мной учебный материал, я как бы вновь пробуждался для него, потому что те знания, которые давала мне школа, я воспринимал как в каком-то летаргическом сне. Бодрствовал я лишь тогда, когда достигал чего-то

самостоятельно или же получал это от какого-нибудь духовного благодетеля, например, винер-нойштадтского врача. Воспринятое мной во вполне сознательном душевном состоянии значительно отличалось от того, что, подобно образам сна, проходило мимо меня на школьных занятиях. Усвоению воспринятого мной в полубодственном состоянии весьма благоприятствовало то обстоятельство, что на этих вспомогательных уроках я вынужден был оживлять свои познания.

С другой стороны, благодаря этим урокам мне пришлось с самого раннего возраста практически заниматься наукой о душе, познавая все трудности человеческого душевного развития на примере моих учеников.

Для учеников моего класса, которых я репетировал, в первую очередь я писал сочинения по немецкому языку. Поскольку каждое такое сочинение я должен был писать и для самого себя, мне приходилось для каждой заданной нам темы находить различные формы разработки. Это часто ставило меня в затруднительное положение. Ведь свое собственное сочинение я писал уже тогда, когда все лучшие мысли были отданы другим.

С учителем, преподававшим немецкий язык и литературу в трех старших классах*, у меня сложились довольно натянутые отношения. Среди учеников он слыл за "самого умного профессора" и за самого строгого. Сочинения мои были всегда чрезвычайно длинны, потому что более короткие я диктовал своим ученикам. Учителю приходилось тратить много времени на их чтение. На прощальном вечере после выпускных экзаменов, впервые "приятно" общаясь со своими учениками, он сказал, что очень сердился на меня за длинные сочинения.

Здесь нужно отметить и другое. Я чувствовал, что учитель этот привносил в школу нечто такое, в чем мне следовало разобраться. Когда он говорил, например, о сущности поэтических образов, я чувствовал, что за этим что-то скрывается. Но вскоре мне все стало ясно. Учитель наш был последователем философии Гербарта*. Сам он об этом ничего не говорил, но я выяснил, в чем тут дело. И я приобрел "Введение в философию" и "Психологию"*, написанные с точки зрения философии Гербарта.

И вот между мной и учителем началась как бы игра в прятки. Я стал понимать многое из того, что преподносилось им в духе философии Гербарта; и он тоже находил в моих сочинениях различные идеи, идущие из того же направления. Но только о Гербарте не упоминали ни он, ни я. Это происходило как бы с молчаливого обоюдного согласия. Но однажды я закончил одно из своих сочинений довольно неосторожно. Мне нужно было написать о каком-то свойстве человеческого характера, и я завершил сочинение такой фразой: "Подобный человек обладает психологической свободой". После проверки сочинений учитель обычно обсуждал их с учениками. Приступая к обсуждению упомянутого сочинения, он иронически опустил углы рта и заметил: "Вы пишете что-то о психологической свободе, но ведь ее вовсе не существует". "Мне кажется, что это заблуждение, господин профессор, - ответил я, - психологическая свобода существует, не существует только трансцендентальной свободы в обыкновенном сознании". Углы рта у учителя мгновенно выпрямились, он пристально посмотрел на меня и сказал: "Я давно уже замечаю по вашим сочинениям, что у вас имеется философская библиотека. Я посоветовал бы вам не пользоваться ею. Из-за этого вы только спутаете ваши мысли". Я совершенно не мог понять, почему должны спутаться мои мысли от чтения тех же книг, из которых он черпал свои. Отношения наши так и остались натянутыми.

Работать приходилось у него много. В пятом классе он проходил с нами греческую и латинскую поэзию, образцы которой приводились в немецком переводе. Только теперь стал я, подчас болезненно, ощущать последствия того, что отец отдал меня не в гимназию, а в реальное училище. Ибо я чувствовал, как мало воспринимаю я через немецкие переводы своеобразие греческой и латинской культуры. Я накопил себе греческих и латинских учебников и начал втихомолку проходить курс гимназии наряду с курсом реального училища. На это уходило много времени, но зато впоследствии, хотя и не совсем обычным путем, я по всем правилам окончил гимназию. Когда я стал студентом Венской высшей школы мне пришлось много репетировать. Одним из моих первых учеников был некий гимназист. Обстоятельства - о них я еще буду говорить - сложились так, что я должен был вести этого ученика при помощи частных уроков в течение всего гимназического курса. Я преподавал ему также греческий и латынь, вдаваясь вместе с ним во все подробности гимназического обучения.

Учителя географии и истории*, которые столь мало мне давали в низших классах, в старших классах стали значить для меня очень многое. Учитель, побудивший меня к столь своеобразному чтению Канта, написал статью "Ледниковый период и его происхождение", не выходящую за рамки школьной программы. Я с жадностью воспринял ее содержание, и у меня возник живой интерес к проблеме ледникового периода. Учитель этот в свою очередь был преуспевающим учеником замечательного географа Фридриха Симони. Это привело к тому, что в старших классах он

раскрыл нам, рисуя на доске, геолого-географические соотношения Альпийских гор. И тогда я уже, конечно, не читал Канта, но весь превращался в зрение и слух. В этом отношении я очень многое получил от учителя, однако его уроки истории совершенно не увлекали меня.

В последнем классе реального училища появился, наконец, учитель истории*, уроки которого вызвали во мне интерес. Он преподавал историю и географию. На уроках последней продолжалось изучение географии Альп, столь же интересно развиваемой, как и у предыдущего учителя. Чрезвычайно цельная личность, он захватил нас, учеников, своим преподаванием истории. Это был партийный человек, вдохновленный прогрессивными идеями австрийских либералов. Правда, в школе этого совсем не замечали: он не вносил в нее своих партийных убеждений. Однако его преподавание приобретало благодаря этим интересам необычайную живость. В моей душе еще ощущались результаты изучения Роттека, и в то же время я с большим интересом воспринимал темпераментное толкование истории этого учителя. Возникло прекрасное созвучие. Я считаю весьма важным для себя, что новейшую историю я мог усваивать именно таким образом.

В нашем доме в ту пору часто дискутировали относительно русско-турецкой войны (1877-1878). Чиновник, замещавший в то время через каждые три дня моего отца, был очень оригинальным человеком. На свою смену он всегда приходил с огромным саквояжем, в котором лежали большие пачки рукописей. То были извлечения из различных научных сочинений. Одно за другим стал он давать их мне на прочтение. Я проглатывал их. Затем все это он обсуждал со мной. В его голове отлагались хотя и хаотические, но широкие познания относительно всего того, что он скомпилировал.

С моим отцом он говорил о политике, с воодушевлением заступаясь за турок. Отец страстно защищал русских. Он принадлежал к тем людям, которые все еще были благодарны России за услуги, оказанные ею Австрии во время венгерского восстания 1849 года. Ибо отец мой не был расположен в пользу Венгрии. Ведь во время мадьяризации он жил в венгерском пограничном местечке Нойдорфль и над его головой постоянно висел дамоклов меч увольнения с должности начальника нойдорфльской станции из-за незнания венгерского языка. В исконно немецкой области в этом не было необходимости, но венгерское правительство работало над тем, чтобы на венгерских железнодорожных линиях, даже и на частных, все места занимали служащие, знающие венгерский язык. Мой отец хотел удержаться в Нойдорфле до тех пор, пока я не окончу школу в Винер-Нойштадте. Из-за всего этого он не питал к Венгрии особой симпатии. А поскольку он не любил Венгрии, то к русским относился попросту как к тем, кто в 1849 году показал Венгрии, "кто здесь хозяин". Этот образ мыслей защищался моим отцом чрезвычайно страстно, но в то же время и чрезвычайно добродушно в ответ на "туркофильство" его заместителя. Волны спора вздымались иногда довольно высоко. Меня интересовало столкновение этих личностей, но отнюдь не их политические взгляды. Для меня тогда гораздо важнее было найти ответ на вопрос: насколько доказуемо то, что в человеческом мышлении действует реальный дух?

Глава третья

Правление компании Южной железной дороги обещало моему отцу определить его на небольшую станцию вблизи Вены, если по окончании реального училища я поступлю в высшую техническую школу. Благодаря этому у меня появлялась возможность ездить каждый день в Вену и обратно. Так наша семья переселилась в Инцерсдорф - селение, расположенное у Венской горы. Станция находилась далеко от селения - в уединенной, непривлекательной местности.

Моей первой поездкой в Вену после переезда в Инцерсдорф я воспользовался для того, чтобы приобрести побольше философских книг. Особую любовь вызывал во мне тогда первый набросок "Наукоучения" Фихте. Чтение же Канта привело к тому, что я мог составить себе представление, пусть и незрелое, о том шаге, на который Фихте стремился продвинуться дальше Канта. Но все это интересовало меня не столь сильно. В то время мне было важно выразить живую деятельность человеческой души в форме строгого мыслительного построения. Моя тяга к естественнонаучным понятиям привела меня в конце концов к тому, что в деятельности человеческого "Я" увидел я единственно возможную исходную точку для истинного познания. Поскольку "Я" проявляет деятельность и само созерцает эту деятельность, следовательно, в сознании непосредственно присутствует духовное. Так говорил я себе, считая, что созерцаемое таким образом надо только выразить в ясно обозримых понятиях. Чтобы найти путь к этому, я придерживался "Наукоучения" Фихте. Однако у меня был и свой взгляд на эти вещи, и я прорабатывал "Наукоучение" страницу за страницей, заново переписывая его. Получился длинный манускрипт. Раньше я мучился, подыскивая для явлений природы понятия, исходя из которых

можно было бы найти понятие для "Я". Теперь же я стремился к обратному: исходя из "Я" проникнуть в природу, в ее становление. Дух и природа в то время представляли перед моей душой в их полной противоположности. Для меня существовал мир духовных существ. То, что "Я", само являющееся духом, живет в мире духов, было для меня непосредственным созерцанием. Однако природа не хотела вступать в переживаемый духовный мир.

После "Наукоучения" особый интерес вызвали у меня трактаты Фихте "О назначении ученого" и "О сущности ученого". В этих сочинениях я находил некоторого рода идеал, к которому стремился и я сам. Наряду с этим я читал "Речи к немецкой нации". Но они заинтересовали меня тогда гораздо меньше, чем другие сочинения Фихте.

И все же мне хотелось добиться лучшего понимания Канта, чем удавалось до сих пор. "Критика чистого разума" не способствовала этому. Тогда я принял за "Прологомены ко всякой будущей метафизике". Должно быть, именно эта книга помогла мне понять, что необходимо основательно усвоить все те вопросы, которые Кант пробудил в других мыслителях. С этого времени я все более сознательно работал над тем, чтобы отлить в форму мыслей непосредственное созерцание духовного мира, которым я обладал. И по мере углубления в эту внутреннюю работу я пытался разобраться в тех направлениях, которые выбрали мыслители кантовой и следующих за ней эпох. Я изучал сухой, трезвый "трансцендентальный синтетизм" Трауготта Круга столь же усердно, сколь усердно вживался в трагизм познания, к которому пришел Фихте, когда писал свое "Назначение человека". "История философии" гербартианца Тило расширила мое воззрение на развитие философского мышления начиная с эпохи Канта. Я усердно штудировал Шеллинга и Гегеля. Противоположность мышления у Фихте и Гербарта со всей очевидностью представляла перед моей душой.

В подобных философских занятиях провел я летние месяцы 1879 года после окончания реального училища вплоть до поступления в Высшую техническую школу.

Осенью мне предстояло решить вопрос об избрании профессии, которая обеспечила бы мне средства существования. Я решил подготовиться на звание учителя реального училища - меня привлекали математика и начертательная геометрия. От последней я вынужден был отказаться, ибо изучение ее было связано с практическими занятиями по геометрическому черчению, которые проводились днем. Мне же приходилось зарабатывать репетиторством. Поэтому я мог посещать только те лекции, которые можно было заменить, в случае их пропусков, чтением соответствующих учебников; занятия же по черчению нужно было регулярно посещать. И я записался сначала на математику, естествознание и химию.

И все же особое значение приобрели для меня в технической школе лекции по немецкой литературе, которые читал Карл Юлиус Шрёэр*. В первый год моего обучения в Высшей технической школе я прослушал курс "Немецкая литература со времен Гете", а также "Жизнь и творчество Шиллера". Уже первая лекция совершенно захватила меня. Он дал обзор немецкой духовной жизни второй половины XVIII столетия и драматически изобразил первое, подобное удару молнии, вступление Гете в эту духовную жизнь. Душевность его изложения, вдохновение, с которым он читал на лекциях отрывки из поэтов, удивительным образом помогали прочувствовать саму суть поэзии.

Наряду с лекциями он проводил "Практические занятия по словесному докладу и письменному изложению". Слушателям следовало изложить или прочитать вслух то, что они проработали самостоятельно. По ходу занятий Шрёэр делал замечания по стилю, форме доклада и т. д. Первый мой доклад был о "Лаокооне" Лессинга. Затем я взялся за большую задачу, избрав себе темой "В какой мере человек в своих поступках является свободным существом?". Разрабатывая эту тему, я сильно увлекся философией Гербарта. Это не понравилось Шрёэру. Он не был приверженцем учения Гербарта, которое господствовало тогда в Австрии как на философских кафедрах, так и в педагогике. Он целиком придерживался духовного направления Гете. Все, что было связано с Гербартом, казалось ему педантичным и сухим, хотя он и признавал за ним дисциплину мышления.

Отныне я мог слушать отдельные лекции и в университете. Особенно меня радовала возможность посещать занятия гербартианца Роберта Циммермана*. Он читал "Практическую философию". Я слушал ту часть его лекций, в которой он излагал основные принципы этики. Обычно один день я посещал его лекции, а другой - посвящал лекциям Франца Brentano*, который в это же время читал тот же самый предмет. Но это продолжалось недолго, ведь из-за этого мне часто приходилось пропускать занятия в технической школе.

Глубокое впечатление производило на меня то, что я знакомился с философией не только по книгам, но и слушая самих философов.

Роберт Циммерман являл собой своеобразную личность. У него был необычайно высокий лоб и длинная борода философа. В нем все было размеренно, стилизованно. Когда он входил в

аудиторию и затем поднимался на кафедру, его движения казались заученными, но вместе с тем возникало ощущение, что этому человеку как-то естественно подобает быть именно таким. Его манера держать себя, двигаться как бы говорила о том, что таким он сделал себя сам путем длительной самодисциплины по принципу гербартовой эстетики. Все это внушало настоящую симпатию. Он медленно опускался на стул, долгим взором обозревал сквозь очки аудиторию, медленно снимал очки, еще раз оглядывал, уже без очков, круг своих слушателей и затем начинал свою лекцию, излагая ее в свободных и в то же время тщательно построенных, артистически произносимых фразах. В языке его было что-то классическое. Но слушая его долго, легко можно было потерять нить изложения. Гербартову философию он излагал в несколько модифицированном виде. Строгая последовательность его мыслей производила на меня большое впечатление, чего нельзя было сказать об остальных слушателях. На первых трех-четырех лекциях большой зал, в котором он читал, был переполнен.

"Практическая философия" была обязательным предметом для юристов первого курса: им нужна была подпись профессора в зачетной книжке. На пятой или шестой лекции большинство студентов уже отсутствовало, и только на передних скамьях оставалась еще небольшая группа, продолжавшая слушать классика философии.

Эти лекции давали мне очень многое. Меня глубоко интересовало различие методов Шрёэра и Циммермана. Те немногие часы, которые оставались у меня свободными от посещения лекций и частных уроков, я проводил в придворной библиотеке или в библиотеке технической школы. Тогда же я в первый раз прочитал "Фауста" Гете. Лишь в девятнадцать лет, побужденный к этому Шрёэром, добрался я до этого произведения, которое сразу же возбудило во мне живейший интерес. К тому времени Шрёэр уже осуществил свое издание первой части. По нему я и познакомился с "Фаустом". Вскоре после первых лекций я сблизился со Шрёэром. Он часто брал меня к себе, рассказывал о многом - как бы в дополнение к своим лекциям, охотно отвечал на мои вопросы и отпускал, снабдив какой-нибудь книгой из своей библиотеки. Иногда он говорил и о второй части "Фауста", над изданием и комментариями к которой он как раз работал. Тогда же я прочитал и вторую часть.

В библиотеках я занимался "Метафизикой" Гербарта и работой Циммермана "Эстетика как наука о формах", которая была написана в духе философии Гербарта. Кроме того я тщательно изучал "Общую морфологию" Эрнста Геккеля*. С полным основанием я могу сказать: все, что я находил в лекциях Шрёэра, Циммермана и в упомянутом выше чтении, становилось для меня глубочайшим душевным переживанием. Благодаря подобным занятиям передо мной вставали загадки познания и миропонимания.

Шрёэра совершенно не заботила систематичность изложения. Он мыслил и говорил как бы интуитивно, но при этом огромное внимание уделял тому, как выразить в словах свои воззрения. Поэтому на своих лекциях он никогда не прибегал к свободной речи. Ему необходимо было спокойно записать свои мысли, чтобы затем уже выразить их в произносимых словах нужным, как он считал, образом. Написанное читал он с глубочайшим внутренним проникновением. Только однажды, забыв дома рукопись, он говорил свободно об Анастасиусе Грюне и Ленау*. Однако на следующей же лекции тема эта, во всем ее объеме, была прочитана им по записи. Он был недоволен той формой, которую смог придать ей в свободной речи.

Шрёэр познакомил меня со многими произведениями художественной литературы, а Циммерман - с хорошо разработанной теорией прекрасного. Но между ними не ощущалось гармонии. Рядом с интуитивной личностью Шрёэра с его пренебрежением к систематике вставала передо мной личность Циммермана, строгого аналитика, теоретика прекрасного.

Во Франце Brentano, лекции которого о "Практической философии" я также посещал, меня в то время особенно интересовала его собственная личность. Он обладал остротой мысли и вместе с тем казался ушедшим в себя. В его манере читать было что-то торжественное. Я слушал его и одновременно следил за каждым его взглядом, движением головы, жестом его выразительных рук. Логикой владел он в совершенстве. Каждая его мысль должна была быть абсолютно прозрачна и опираться на другие. Мысли выстраивались в ряды с величайшей логической добросовестностью. Однако меня не покидало чувство, что его мышление нигде не выходит за пределы своей же мыслительной ткани, нигде не пробивается к действительности. Такой же была у Brentano и манера держать себя. Он легко придерживал рукой свою рукопись лекции, будто в любое мгновение она могла выскользнуть из рук, и слегка скользил взором по строчкам. Этот жест также говорил лишь о легком прикосновении к действительности, но не о решительном овладении ею. Из жестов "рук философа" я постигал манеру его философствования лучше, чем из его слов.

Импульсы, исходившие от Brentano, оказывали на меня сильное влияние. Вскоре я начал изучать его сочинения и в последующие годы прочел большую часть из опубликованного им.

Я чувствовал себя тогда обязанным искать истину с помощью философии. Я должен был изучать математику и естественные науки и был убежден, что не найду к ним соответствующего подхода, если не сумею поставить их результаты на прочную философскую основу. Но ведь и духовный мир воспринимался мной как действительность. В каждом человеке открывалась мне во всей наглядности его духовная индивидуальность. Физическая телесность и деятельность в физическом мире являлись лишь проявлениями этой последней. Она соединялась с тем, что как физическое семя происходило от родителей. Умершего человека я мог проследить дальше на его пути в духовном мире. Однажды после смерти одного из моих товарищей по школе я написал письмо об этой стороне моей душевной жизни одному из моих прежних учителей, с которым поддерживал дружеские отношения и после окончания реального училища. Он ответил мне необыкновенно милым письмом, но не обмолвился ни единым словом о том, что я писал об умершем.

И так обстояло дело всегда, когда оно касалось моих воззрений на духовный мир. О нем ничего не желали слышать. Самое большее, о чем говорили мне, это о спиритизме, о котором я, со своей стороны, не хотел ничего слышать. Мне представлялось нелепым приближаться к духовному таким путем.

И вот случилось так, что я познакомился с одним простым человеком из народа*. Каждую неделю он ездил в Вену тем же поездом, что и я. Он собирал целебные травы и продавал их в аптеки Вены. Мы стали друзьями. С ним можно было говорить о духовном мире как с человеком, имеющим опыт в этой области.

Это была внутренне благочестивая личность. Во всем, что касалось школьной науки, он был необразован. Правда, он прочитал много мистических книг, но в том, что он говорил, совершенно не ощущалось влияние этого чтения. Это было излияние душевной жизни, таившей в себе простую творческую мудрость. Вскоре можно было почувствовать, что он читает книги, чтобы найти у других то, что он знал сам по себе. Однако это не удовлетворяло его. Он раскрывался так, будто как личность был лишь органом речи для духовного содержания, которое хотело говорить из сокровенных миров. Находясь рядом с ним, можно было заглянуть в глубокие тайны природы. Этот человек нес на спине вязанку целебных трав, но в сердце своем он носил то, что приобрел, собирая травы, из духовности природы. Я часто замечал улыбку на лице того или иного человека, присоединившегося к нам в качестве третьего, когда шел с этим "посвященным" по венской Аллеенгассе. В этом не было ничего удивительного. Ибо манера выражаться у него сначала была непонятной. Нужно было хоть немного знать его "духовный диалект". Вначале мне тоже было трудно понимать его, но с первого же дня знакомства у меня возникла к нему глубочайшая симпатия. И постепенно я пришел к пониманию того, что общаюсь с душой очень древних времен, которой не коснулись ни цивилизация, ни наука, ни современные воззрения, и что она знакомит меня с инстинктивным знанием глубочайшей древности.

Если взять обычное понятие "учение", то можно сказать, что у него нечему было "научиться". Но кто сам созерцает духовный мир, тот с помощью этого человека или другого, твердо стоящего в нем, может глубже заглянуть в этот духовный мир.

Всякого рода фантастика была ему при этом совершенно чужда. Дома его окружала простая, с трезвыми взглядами на жизнь, деревенская семья. Над дверью его дома была высечена надпись: "In Gottes Segen ist alles gelegen*". Гостей здесь угощали, как это было принято у всех крестьян. Мне каждый раз приходилось пить здесь кофе, но не из чашки, а из "горшочка" вместимостью с литр. К нему подавался огромный кусок хлеба. И крестьяне не считали этого человека фантазером. Его манера держать себя не вызывала в селе желания насмешничать. Он обладал здоровым юмором и при каждой встрече - с молодым или старым - находил такие слова, которые приходились людям по душе. Здесь никто не улыбался так, как те, кто сопровождали нас вдоль по Аллеенгассе и видели в нем нечто, казавшееся им совершенно чуждым.

Человек этот, даже когда жизнь отдала меня от него, всегда был душевно близок мне. Его можно найти в моих мистериях-драмах в образе Феликса Бальде.

Моя душевная жизнь испытывала тогда затруднения в связи с тем, что философия, воспринятая мной от других, в их мышлении не приводила к созерцанию духовного мира. Это способствовало тому, что во мне начала складываться некоего рода "теория познания". Жизнь в мышлении постепенно становилась для меня как бы озаряющим отблеском в физическом человеке того, что переживает душа в духовном мире. Переживание мыслей было для меня бытием в некоей действительности, в существовании которой, как полностью переживаемой, не может возникнуть ни малейшего сомнения. Мир же чувств, как мне казалось, не может переживаться столь глубоко. Он существует, но его нельзя охватить так, как мысль. В нем или за ним может таиться нечто сущностно незнакомое. Но человек поставлен в него. И тогда возникает вопрос: являет ли этот мир полную действительность? Когда человек из своего внутреннего существа создает в

чувственном мире мысли, озаряющие его светом, не вносит ли он в этот мир нечто чуждое ему? Однако это не согласуется с тем переживанием человека, когда перед ним предстает чувственный мир и он вторгается в него своими мыслями. Стало быть, мысли все же являются тем, посредством чего чувственный мир выражает себя. Подобные размышления составляли в то время важную часть моей внутренней жизни.

Но мне следовало быть осторожным. Мне казалось опасным слишком поспешно доводить подобные размышления до разработки собственного философского воззрения. Это привело меня к тщательному изучению Гегеля. Манера этого философа выражать реальность мысли была мне близка. Но меня отталкивало в нем то, что он достигает лишь мира мыслей, пусть даже и живого, но не приходит к созерцанию конкретного духовного мира. Меня привлекала четкость философского мышления, когда от одной мысли последовательно переходят к другой. Я видел, что для многих опыт и мышление являются противоположностями. Для меня же само мышление являлось опытом, но опытом переживаемым, а не приходящим к человеку извне. Еще долго Гегель представлял для меня большую ценность.

Что касается занятий по обязательным предметам, которые, естественно, понесли бы ущерб из-за моих философских интересов, то здесь мне весьма помогли мои прежние занятия дифференциальным и интегральным исчислением, а также аналитической геометрией. Я мог пропускать некоторые лекции по математике, не теряя связи с учебным процессом. Математика сохранила для меня свое значение и как основа моего стремления к познанию. Ведь в ней дана система воззрений и понятий, полученных совершенно независимо от всякого внешнего опыта. Эти воззрения и понятия, говорил я себе в то время, позволяют приблизиться к фактам чувственного мира и находить его закономерности. Мир познается при помощи математики, но для того, чтобы достичь этого, необходимо сначала извлечь математику из человеческой души.

Как раз в связи с математикой у меня тогда возникло важнейшее переживание. Наибольшее внутреннее затруднение доставляло мне представление пространства. Я не мог его наглядно мыслить как пустоту, во все стороны убегающую в бесконечность, но именно такое воззрение лежало в основе господствовавших тогда естественнонаучных теорий. Благодаря новейшей (синтетической) геометрии, с которой я познакомился на лекциях и во время самостоятельных занятий, перед моей душой возник следующий образ: линия, удлиняющаяся вправо до бесконечности, слева возвращается вновь к своей исходной точке. Точка, бесконечно удаленная вправо, - это та же точка, что и удаленная бесконечно влево.

Мне казалось, что при помощи подобных представлений новейшей геометрии можно составить себе иное понятие о пространстве, чем как о застывшей пустоте.

Прямая линия, возвращающаяся к себе самой, как в случае с окружностью, была воспринята мной как откровение. Уходя с лекции, на которой это впервые предстало перед моей душой, я почувствовал, что с меня как бы спадает пудовая тяжесть. Меня охватило чувство освобождения. И опять, как в детские годы, геометрия подарила мне ощущение счастья.

Наряду с загадкой пространства в те годы меня интересовала загадка времени. Применимо ли и здесь представление, содержащее в себе идею о том, что продвижение в "бесконечно далекое" будущее есть в то же время возвращение из прошлого? Ощущение счастья от представления о пространстве переходило в ощущение беспокойства от представления о времени. Но выхода я пока не видел. Все мои мыслительные попытки решений убедили меня в том, что прежде всего мне следует воздержаться от внесения наглядных понятий относительно пространства в воззрение на время. Загадка времени доставила мне множество тех разочарований, которые могут возникать на пути познания.

Импульсы к эстетике, полученные мной от Циммермана, привели меня к чтению сочинений знаменитого эстетика того времени Фридриха Теодора Фишера*. В одном из его сочинений я нашел замечание о том, что новейшее естественнонаучное мышление делает необходимой реформу понятия времени: Меня всегда охватывало радостное волнение, когда у другого человека я находил потребность познания, которая проявлялась во мне самом. В данном случае это было как бы оправданием моего стремления к выработке удовлетворительного понятия времени.

Курсы лекций, на которые я был записан в Высшей технической школе, нужно было завершать соответствующими экзаменами, так как мне выдавали стипендию, которая продлевалась лишь при наличии определенных ежегодных успехов в учении.

Моя потребность познания, особенно в естественнонаучной области, весьма мало удовлетворялась таким обязательным обучением. К счастью, в венских высших учебных заведениях того времени предоставлялась возможность посещать лекции и даже практические занятия в качестве вольнослушателя. И всюду, включая медицинский факультет, шли мне навстречу, когда я подобным образом хотел заниматься наукой.

Должен сказать, что мое понимание духовного отнюдь не служило мне помехой, когда дело шло о знакомстве с естественными науками в их современном состоянии. Я посвящал себя тому, что мне преподавали, питая тайную надежду, что когда-нибудь мне откроется связь естественной науки с духовопознанием. Но этой надежде с двух сторон угрожала опасность.

Науки об органической природе, насколько я был знаком с ними, были пропитаны идеями дарвинизма. Дарвинизм казался мне тогда - со всеми его высокими идеями - какой-то научной невозможностью. Мне же удалось постепенно создать для себя образ внутреннего существа человека. Это был духовный образ. И мыслился он как член духовного мира. Я представлял себе, как он из духовного мира погружается в природное бытие, вчлняет себя в природный организм, чтобы через него воспринимать и действовать в чувственном мире.

Я не мог отступить от этого образа еще и потому, что питал известное уважение к строю мыслей учения об органическом развитии. Происхождение высших организмов из низших казалось мне плодотворной идеей. Однако связать ее с тем, что я знал о духовном мире, было бесконечно трудно.

Преподавание физики всецело основывалось на механической теории тепла и учении о волновой природе света и цвета.

Изучение механической теории тепла доставляло мне особую радость, потому что лекции об этой области физики читал человек, к которому я питал чрезвычайное уважение. Это был Эдмунд Рейтлингер*, автор прекрасной книги "Свободные взгляды".

Человек этот отличался удивительной благожелательностью. Когда я стал его слушателем, он уже страдал легочной болезнью в самой сильной форме. В течение двух лет я слушал его лекции по механической теории тепла, по истории физики и курс физики для химиков. В его физической лаборатории я проводил работу во многих областях, особенно в области спектрального анализа.

Особое значение имели для меня лекции Рейтлингера по истории физики. Мы чувствовали, что из-за болезни ему с трудом дается каждое слово. И все же его лекции были в высшей степени увлекательными. Он придерживался строго индуктивного метода исследования и любил цитировать книгу Уэвеля* об индуктивных науках. Ньютон был для него высшим авторитетом исследователя в области физики. Его лекции по истории физики состояли из двух частей: первая - от древнейших времен до Ньютона, вторая - от Ньютона до новейшего времени. Это был универсально мыслящий человек. От исторического рассмотрения проблем физики он всегда переходил к общим культурно-историческим перспективам. В процессе естественнонаучного изложения у него возникали общие философские идеи. Так, он анализировал понятия "оптимизм" и "пессимизм" и очень увлекательно говорил о необходимости появления естественнонаучных гипотез. Его лекции с характеристиками Кеплера и Юлиуса Роберта Майера* были образцами научного изложения.

Я постарался прочитать почти все сочинения Юлиуса Роберта Майера, и возможность обсуждать их содержание с Рейтлингером доставляла мне большую радость.

Меня охватила глубокая печаль, когда через несколько недель после моего последнего экзамена у Рейтлингера по механической теории тепла мой дорогой учитель скончался от тяжелой болезни. Незадолго до своей кончины он вручил мне как бы свое завещание - рекомендации к лицам, которые оказали бы мне помощь в поисках учеников для частных уроков. Рекомендации имели большой успех. Теми материальными средствами, которыми располагал я в последующие годы, в немалой степени обязан я покойному Рейтлингеру.

Механическая теория тепла и волновая теория света и электричества побудили меня к изучению теоретико-познавательных проблем. Физический внешний мир представляли тогда как процесс движения материи. Восприятия органов чувств казались лишь субъективными переживаниями, результатом воздействия процессов движения на органы человеческих чувств. Вовне, в пространстве, разыгрываются процессы движения материи; при соприкосновении этих процессов с человеческим чувством тепла человек и переживает ощущение тепла. Вне человека происходят волновые процессы эфира; когда они затрагивают зрительный нерв, в человеке возникает ощущение света и цвета.

Это воззрение имело широкое распространение. Изгоняя из объективного внешнего мира все духовное, оно доставляло моему мышлению неимоверные затруднения. Я понимал, что если рассматривание явлений природы приводит к подобным представлениям, то, обладая духовным воззрением, к этим представлениям прийти невозможно. Я видел, сколь притягательными были они для современного, воспитанного на естественной науке направления мысли. Но я еще не мог решиться противопоставить господствующему образу мыслей свой собственный, пусть даже только для себя. Результатом этого была тяжелая душевная борьба. Постоянно приходилось внутренне преодолевать легко приходившую на ум критику этого образа мыслей и выжидать, пока дальнейшие поиски источников и путей познания не придадут мне большей уверенности.

Сильным импульсом послужило для меня чтение "Писем об эстетическом воспитании" Шиллера. Указание на то, что человеческое сознание как бы колеблется между различными состояниями, явилось связующим звеном в той картине, которую я составил себе о внутренней деятельности человеческой души. Шиллер различает два состояния сознания, в которых человек развивает свое отношение к миру. Если он отдается тому, что действует в нем чувственно, то он живет под принуждением природы. Чувства и влечения определяют его жизнь. Если же он подчиняется логической закономерности разума, то он живет в некой духовной необходимости. Но человек может развить в себе среднее состояние сознания. Он может выработать в себе "эстетический настрой", который не поддается односторонне ни принуждению природы, ни необходимости разума. Душа живет в этом "эстетическом настрое" при помощи чувств, но она вносит в чувственное восприятие и в побуждаемые чувствами поступки нечто духовное. Воспринимают при помощи чувств, но таким образом, как если бы чувства были наполнены духовным. В поступках отдаются удовлетворению непосредственного желания, но это желание настолько облагорожено, что ему нравится доброе и не нравится дурное. Разум заключил здесь тесный союз с чувственным. Добро становится инстинктом, инстинкт же может сам направлять себя, потому что он воспринял в себя характер духовности. Шиллер видит в этом состоянии сознания ту душевную организацию, благодаря которой человек может переживать и создавать произведения искусства. В развитии этого состояния он видит возрождение истинной человеческой сущности в человеке.

Шиллеровский ход мыслей весьма привлекал меня. Он говорил о том, что сознание должно быть приведено сначала в определенное состояние, чтобы выработать к явлениям мира такое отношение, которое соответствовало бы сущности человека. Такой подход значительно прояснял вопросы, возникавшие у меня из наблюдения природы и переживания духа. Шиллер говорил о состоянии сознания, наличие которого необходимо для переживания красоты мира. Но нельзя ли представить такое состояние сознания, которое выявляло бы истинную сущность вещей? Если к этому есть основания, то непосредственно данное человеческое сознание нельзя рассматривать так, как это делает Кант, и выяснять - может ли оно приблизиться к истинной сущности вещей. Необходимо сначала исследовать состояние сознания, при помощи которого человек вступает в такое отношение к миру, когда вещи и факты сами раскрывают ему свою сущность.

Я полагал, что подобное состояние сознания до известной степени достижимо, если человек обладает не только мыслями, отображающими внешние предметы и процессы, но и мыслями, которые он переживает как таковые.

Эта жизнь в мыслях открывалась мне как совершенно отличная от той, в которой протекает обычная жизнь человека и обычное научное исследование. Если в переживании мыслей идти дальше, то обнаруживается, что навстречу этому переживанию выступает духовная действительность. Душевный путь приводит к духу. И на этом внутреннем душевном пути можно достичь духовной действительности, которую затем вновь находишь и в природе. Если в живой мысли узреть реальность духа и затем обратиться к природе, то можно прийти к более глубокому познанию природы.

Я все более понимал, что при переходе от обычных абстрактных мыслей к такому духовному видению, которое сохраняет трезвость и ясность мысли, человек вживается в некую действительность, от которой его отдаляет обычное сознание. Это последнее обладает, с одной стороны, живостью восприятий органов чувств, с другой, - абстрактностью мыслеобразования. Духовное созерцание воспринимает дух так, как чувства воспринимают природу; но со свойственным ему мышлением оно не столь удалено от духовного восприятия, как обычное сознание со своим мышлением - от восприятий чувственных. Оно мыслит, переживая духовное, и переживает, приводя пробудившуюся в человеке духовность к мышлению.

Перед моей душой представало духовное созерцание, основанное не на темном мистическом чувстве, а скорее протекающее в духовной деятельности, которую по ее отчетливости и прозрачности вполне можно сравнить с математическим мышлением. Я приблизился к душевному строю, при котором считал себя вправе отстаивать правомерность своих восприятий духовного мира даже перед "форумом" естественнонаучного мышления.

Мне было двадцать два года, когда мою душу наполняли эти переживания.

Глава четвертая

Музыкальная форма переживания духа, для которой я хотел заложить в себе тогда прочное основание, находилась в состоянии кризиса. В духовной среде, которая в то время меня окружала, разгорелся ожесточенный "спор о Вагнере". В детские и юношеские годы я старался воспользоваться любым случаем, чтобы развить в себе понимание музыки. Позиция, занимаемая

мной в отношении мышления, влияла и на понимание музыки. Мышление обладало для меня содержанием само по себе. И обусловлено оно было не только восприятиями, которые оно выражает. Такой подход естественным образом приводил к переживанию чистых музыкальных образов как таковых. Мир звуков сам по себе был для меня откровением сущностной стороны действительности. Мне казались совершенно "немузыкальными" утверждения приверженцев Вагнера, которые убеждали на все лады, что музыка, кроме звукообразования, должна и нечто "выражать".

Я всегда был склонен к общению. Благодаря этому у меня было много друзей как во время моей учебы в Винер-Нойштадте, так и в Вене. С моими друзьями я редко сходил в мнениях. Однако это никогда не мешало проявлению в наших дружеских союзах задушевности и сильной взаимной симпатии. Один из таких дружеских союзов был заключен с одним идеалистически настроенным молодым человеком*, который своими белокурыми кудрями и доверчивыми голубыми глазами являл собой настоящий тип немецкого юноши. Он страстно увлекался Вагнером. Музыка, жившая сама по себе, проявлявшая себя только в звуках, являлась для него жалким уделом "ужасных" филистеров. Звуковой образ был ценен для него постольку, поскольку в звуках открывался как бы род речи. Мы посещали с ним много концертов и опер, но всегда расходились во мнениях. Я чувствовал, как все мое тело наливается свинцом, в то время как моего друга эта "выразительная музыка" воспаляла до экстаза; в свою очередь, он ужасно скучал, когда слушал музыку, которая не хотела быть ничем иным, как только музыкой.

Споры с ним затягивались до бесконечности. Во время долгих прогулок и продолжительных сидений за чашкой кофе он воодушевленно приводил "веские доказательства" того, что истинная музыка родилась лишь с Вагнером, а все, что было до него, являлось лишь подготовкой к приходу этого "первооткрывателя музыки". Я реагировал на это, выражая свои чувства в весьма резкой форме. Я говорил о варварстве Вагнера как о могиле для всякого истинного понимания музыки.

В определенных случаях дискуссии с ним особенно ожесточались. В один прекрасный день у моего друга появилось странное влечение: направляться во время наших почти ежедневных прогулок в один из узких переулков и ходить по нему взад и вперед, споря со мной о Вагнере. Я был так погружен в эти споры, что не сразу понял, что влечет его сюда. Во время наших прогулок по переулку у окна одного из домов всегда сидела хорошенькая молодая девушка. Сначала все его отношение к этой девушке выражалось в том, что он смотрел на нее, сидевшую у окна, догадываясь, что взор, который она иногда посылала на улицу, предназначенся ему.

Сперва я только почувствовал, что речи его в защиту Вагнера, и так в достаточной мере горячие, загорались в этом переулке ярким пламенем. Когда же я, наконец, понял, какими побочными эмоциями переполнялось здесь его воодушевленное сердце, он открылся мне и заставил меня проникнуться сочувствием к самой нежной, самой прекрасной, самой мечтательной юношеской любви. Отношения их почти не продвинулись дальше описанных. Мой друг, происходивший из не очень одаренной земными благами семьи, должен был вскоре получить место журналиста в одном провинциальном городе. О более близких отношениях с этой девушкой он и не помышлял. В нем не было достаточно сил, чтобы преодолеть жизненные обстоятельства. Мы еще долго переписывались с ним. В его письмах всегда присутствовал печальный отзвук покорности судьбе. Но в его сердце продолжало жить то, с чем ему пришлось расстаться.

После того как жизнь давно уже положила конец переписке с другом моей юности, мне довелось встретиться с одним человеком из того города, где друг мой был журналистом. Я спросил о нем, ибо не переставал любить его. "Ему жилось плохо, - сказал мне этот человек, - он едва зарабатывал себе на хлеб, в конце концов стал у меня писцом и вскоре умер от болезни легких". Это известие заставило сжаться мое сердце, ибо я знал, что этот идеалистически настроенный, белокурый юноша расстался тогда под гнетом обстоятельств со своей юношеской любовью с таким чувством, что в дальнейшем ему было решительно все равно, что принесет ему жизнь. Он не придавал никакого значения своей жизни, раз она не могла быть такой, какая вставала перед ним как идеал во время наших прогулок по переулку.

В общении с этим моим другом мое тогдашнее анти-вагнерианство проявилось в наиболее сильной форме. Но в этот период оно сыграло большую роль в моей душевной жизни. Я всюду старался искать музыку, которая не имела бы ничего общего с "вагнерианством". Моя любовь к "чистой музыке" с годами все возрастала, мое отвращение к "варварству" "музыки как выражения" все увеличивалось. И при этом судьба постоянно сталкивала меня с людьми, которые почти без исключения были почитателями Вагнера. Все это немало способствовало тому, что мне - уже гораздо позднее - было очень трудно прийти к пониманию Вагнера, интерес к которому как к значительному культурному явлению вполне естествен. Но эти усилия принадлежат уже к более позднему периоду моей жизни. В описываемый же период я находил, к примеру, "убийственно

скучным" представление "Тристана", на которое мне однажды пришлось сопровождать одного из моих учеников.

В тот же период завязалась еще одна значительная для меня юношеская дружба с одним молодым человеком*. Все в нем представляло полную противоположность белокурому юноше. Он чувствовал себя поэтом. С ним также мы долго и оживленно беседовали. Он пылал страстью к поэзии и с ранних лет брался за великие задачи. Когда мы с ним познакомились, он уже был автором трагедии "Ганнибал" и многих лирических стихотворений.

Вместе с этими друзьями я посещал в Высшей школе шрёэровские "Практические занятия по словесному докладу и письменному изложению", которые пробуждали как в нас троих, так и во многих других интерес к прекрасному. Мы, молодые люди, могли читать здесь свои произведения, которые Шрёэр тут же обсуждал с нами, возвышая наши души своим изумительным идеализмом и способностью к благородному воодушевлению.

Мой друг часто сопровождал меня, когда я посещал Шрёэра на дому. Там он всегда оживал, в то время как обычно над всеми его жизненными проявлениями довлело нечто гнетущее. Внутренний разлад мешал ему найти себя в жизни. Его не привлекала ни одна профессия; ни за что не брался он с радостью. Всецело поглощенный поэтическими интересами, вне их он не мог найти какой-либо связи с жизнью. В конце концов он вынужден был поступить на совершенно безразличное ему место. С ним также я вел переписку. Душу его грызло сознание того, что даже собственное поэтическое творчество не может дать ему настоящего удовлетворения. Жизнь не наполнялась для него чем-либо ценным. Читая его письма и беседуя с ним, я, к моему сожалению, обнаружил, что в нем постепенно стало складываться убеждение, будто он страдает неизлечимой болезнью. Ничто не могло рассеять это ни на чем не основанное подозрение. И вот однажды я получил известие, что этот столь близко стоявший ко мне человек покончил с жизнью.

Очень тесная дружба завязалась у меня с одним молодым человеком*, приехавшим в Венскую техническую школу из немецкой Трансильвании. С ним тоже я впервые встретился на шрёэровских занятиях. Он читал там доклад о пессимизме. Все, что Шопенгауэр говорил об этом мировосприятии, ожило в этом докладе. К этому прибавился и собственный пессимистический настрой молодого человека. Я вызвался возражать по докладу и стал "опровергать" пессимизм громовыми словами, уже тогда называя Шопенгауэра "ограниченным гением", и завершил свое выступление словами: "Если господин докладчик прав в своем представлении пессимизма, то лучше мне быть деревянной балкой, на которой я стою, чем человеком". В кругу знакомых еще долго подшучивали надо мной, повторяя эти слова. Но это же сделало молодого пессимиста и меня хорошими друзьями. Мы часто встречались с ним. Он тоже чувствовал себя поэтом. Часами я сидел у него в комнате, с удовольствием слушая его стихи. К моим тогдашним духовным устремлениям он относился с горячим интересом, который, правда, основывался не столько на том, что занимало меня, сколько на личной любви ко мне. Часто у него завязывалось прекрасное юношеское знакомство или юношеская любовь. Для его жизни это было необходимо, ибо она складывалась у него тяжело. Он окончил школу в Германштадте, не имея достаточных средств к существованию, и должен был зарабатывать на жизнь частными уроками. Затем у него возникла гениальная мысль продолжить из Вены частные занятия со своими учениками, живущими в Германштадте, с помощью переписки. Науки, преподаваемые в Высшей школе, интересовали его мало. Но однажды он все же решил сдать экзамен по химии. Он никогда не посещал лекций и не прикасался к учебникам. В последнюю ночь перед экзаменом он попросил одного из своих друзей прочитать ему краткий конспект всего предмета. За этим чтением он, в конце концов, и уснул, но наутро все же отправился с этим приятелем на экзамен. Оба они, конечно же, "блестяще" провалились.

Этот молодой человек питал ко мне безграничное доверие. Одно время я служил ему чем-то вроде духовника. Он раскрывал перед моей душой историю своей интересной, часто печальной жизни, полной любви ко всему прекрасному. Он привносил в наши отношения столько доверия и любви, что иной раз было очень трудно не разочаровать его. Это случалось тогда, когда ему казалось, что я уделяю ему недостаточно внимания. Но иначе и не могло быть, ведь круг моих интересов часто не находил у него понимания. Все это, однако, в конце концов приводило к тому, что наша дружба становилась еще крепче. Летние каникулы он всегда проводил в Германштадте. Там он снова набирал учеников, чтобы затем руководить из Вены посредством корреспонденции их обучением. Я получал от него всегда длинные письма. Он очень страдал от того, что я редко или даже совсем не отвечал на них. Но когда осенью он возвращался в Вену, то сразу же, как мальчик, прибежал ко мне, и совместная жизнь начиналась снова. Именно ему я обязан тем, что познакомился и общался со многими людьми. Он любил приводить меня к тем людям, с кем его связывали дружеские отношения. Я, в свою очередь, жаждал общения. Этот друг вносил в мою жизнь много такого, что давало мне радость и тепло.

Дружба эта сохранилась на всю жизнь - вплоть до смерти моего друга, последовавшей несколько лет тому назад. Она выдержала немало жизненных бурь, и еще многое будет о ней сказано.

Когда оглядываешься назад, в сознании всплывает многое из человеческих и жизненных отношений, которые и сегодня еще в полной мере живут в душе в ощущениях благодарности и любви. Я не могу вдаваться здесь в подробности и вынужден опускать многое из того, что в моих переживаниях было и остается мне очень близким.

Мои юношеские дружеские связи того времени, о которых я здесь упоминаю, находили весьма своеобразное отражение в моей дальнейшей жизни. Они принуждали меня к своего рода двойной душевной жизни. Борьба за разрешение загадок познания, переполнявшая тогда мою душу, хоть и вызывала всегда сильный интерес у моих друзей, однако у них не возникало желания деятельно участвовать в ней. В переживании загадок познания я был одинок. Но сам я активно участвовал во всем, что происходило в жизни моих друзей. Таким образом, во мне уживались два жизненных течения: одно, в котором я был одиноким путником, и другое, протекавшее в живом общении с полюбившимися мне людьми. Переживания второго рода во многих случаях также имели для моего развития глубокое и длительное значение.

Здесь я должен вспомнить об одном друге*, с которым мы учились в Винер-Нойштадте. Тогда мы не были близки. Подружились мы только в Вене, где он часто навещал меня и где позднее стал служащим. Но уже в Винер-Нойштадте проявилось - без каких-либо внешних отношений - его значение для моей жизни. Однажды мы были с ним на уроке гимнастики. Приступая к гимнастическим упражнениям, он оставил возле меня книгу. Это была книга Гейне: "Романтическая школа" и "История философии в Германии". В тот момент я не был занят и заглянул в нее. Это стало поводом к прочтению всей книги. Я вынес из нее многое, но манера Гейне, с какой он говорил о близком мне жизненном содержании, сильно отталкивала меня. Содержание совершенно противоположного мне образа мыслей и направления чувств побуждало задуматься над выбором внутренней жизненной ориентации, соответствующей моим душевным наклонностям.

Я заговорил с товарищем о книге. При этом проявилась внутренняя жизнь его души, что позднее стало основанием нашей длительной дружбы. Он был замкнутым человеком и раскрывался лишь немногим. Большинство людей считало его чудачком. С теми же, с кем он хотел быть откровенным, он становился, в особенности в письмах, весьма многословным.

Ему казалось, что, благодаря внутреннему предрасположению, он призван быть поэтом и несет в своей душе огромное богатство. При этом в своем отношении к людям, в особенности к женщинам, он был склонен к мечтательности и не решался вступать в эти отношения наяву. Иногда он был весьма близок к этому, но довести их до настоящих переживаний ему никогда не удавалось. В беседах со мной эти грезы переживались им с такой искренностью и воодушевлением, как если бы они были реальностью. Но, как это обычно случается, грезы рассеивались, оставляя за собой горькое чувство.

Все это рождало в нем душевную жизнь, которая не имела ничего общего с его внешним бытием. Но и эта жизнь была для него предметом мучительного самоанализа, находившего отражение в многочисленных письмах ко мне и беседах со мной. Так, однажды он прислал мне длинное разъяснение по поводу того, что для него как самое малое, так и величайшее переживание становятся внутренними символами, с которыми ему и приходится жить.

Я любил этого друга, и любовь заставляла меня относиться с участием к его грезам, хотя, общаясь с ним, я все время ощущал, что мы витаем в облаках, не имея под собой почвы. Для меня, неустанно стремившегося искать в познании прочный жизненный фундамент, это было своеобразным переживанием. При встречах с ним мне все время приходилось как бы выскальзывать из собственного существа и вползать в другую кожу. Ему было хорошо со мной; иногда он пускался в пространнейшие теоретические рассуждения о "различии наших натур". Он и не подозревал, как мало созвучия в наших мыслях, ибо дружеские отношения застилали ему глаза.

Подобное происходило у меня и с другим моим товарищем по винер-нойштадтской школе*. Он был классом ниже меня, и мы сблизились, когда он поступил, годом позже меня, в Венскую высшую техническую школу. Мы виделись очень часто, но и он мало интересовался тем, что глубоко волновало меня в области познания. Он изучал химию. Естественнонаучные воззрения, которых он придерживался, заставляли его относиться скептически к духовному воззрению, преисполнявшему меня. Позже я узнал, как близок был он уже тогда по своей внутренней сути моему душевному строю. Но в то время он не давал ему проявляться. Наши оживленные длительные споры превращались для меня в "борьбу против материализма". Против духовного содержания мира, признаваемого мной, он приводил всевозможные возражения, вытекавшие

якобы из естественной науки. Я вынужден был уже тогда выдвигать весь запас своих прозрений, чтобы с помощью средств из сферы духовного познания мира бороться против возражений, идущих от материалистически ориентированного мышления.

Однажды наш спор дошел до крайнего возбуждения. Приятель мой каждый день после лекций ездил в Винер-Нойштадт, где он постоянно проживал. Я часто провожал его по Аллеенгассе до Южного вокзала. В один прекрасный день, когда мы уже пришли на вокзал и поезд был готов к отправлению, наш спор о материализме достиг, так сказать, кульминационного пункта. Все, что я собирался еще сказать, вылилось у меня в следующие слова: "Итак, ты утверждаешь, что когда ты говоришь: "я мыслю", то это лишь следствие процессов в нервной системе твоего мозга. И что эти процессы единственно реальны. Пусть это так, когда ты говоришь: "я вижу это", "я иду" и т. д. Но ты ведь не скажешь: "мой мозг мыслит, мой мозг видит то или это, мой мозг идет". Будь ты уверен в истинности своих теоретических убеждений, ты непременно должен был бы исправить свои обороты речи. И когда ты все же ведешь речь о "я", то, собственно говоря, ты лжешь. Ты и не можешь поступать иначе, чем следовать своему здравому инстинкту против нашептываний твоей теории. Ты переживаешь нечто иное, но не то, что защищает твоя теория. Твое сознание обличает всю ложность твоей теории". Мой приятель покачал головой. Для возражений у него не оставалось времени. Я возвращался один и мог теперь поразмыслить о том, что возражение против материализма в такой грубой форме не очень-то соответствует правилам точной философии. Но мне было тогда не столь важно выдвинуть за пять минут до отхода поезда философски безупречное возражение, сколько найти выражение моему внутренне достоверному опыту о сущности человеческого "Я". Для меня это "Я" было внутренне обозреваемым переживанием существующей в нем самой действительности. Эта действительность была для меня не менее достоверна, чем какая-либо иная, признаваемая материализмом. Но в ней нет ничего материального. Это прозрение в действительность и духовность "Я" помогло мне в последующие годы справиться со всеми искушениями материализма. Я знал, что ничто не может поколебать то, что касается "Я". И мне было ясно, что тот, кто рассматривает "Я" как некую форму проявления, как результат других процессов, просто не знает его. Я и хотел выразить моему другу то, что жило во мне как внутреннее духовное созерцание. Мы не раз еще сражались на этом поле. Однако в наших ощущениях и воззрениях на жизнь было все же так много общего, что, несмотря на все ожесточенные теоретические споры, в наших личных отношениях не возникало ни малейшего недоразумения.

В этот период я глубже окупился в венскую студенческую жизнь. Я стал членом "Немецкой читальни при Высшей технической школе". На собраниях и при встречах подробно обсуждались современные политические и культурные события. В дискуссиях проявлялись все возможные и невозможные точки зрения молодежи. Наиболее ожесточенный обмен мнениями возникал при выборах правления. Большой интерес представляли споры среди молодежи в связи с событиями в общественной жизни Австрии. Это была эпоха, когда национальные партии стали резко заявлять о себе. Все то, что позднее постепенно привело к распаду государства, то, что проявилось как результат после мировой войны, можно было тогда пережить в зародыше.

Сначала меня выбрали библиотекарем читальни. В этом качестве я занялся подбором тех авторов, чьи книги, на мой взгляд, могли стать ценным приобретением для студенческой библиотеки. Этим авторам я отправлял "просительные" письма, до сотни в неделю. Благодаря этой моей "работе" библиотека быстро пополнялась. Но это вызвало и побочный эффект. У меня появилась возможность знакомиться с научной, художественной, культурно-исторической и политической литературой того времени. Я усердно прочитывал подаренные книги.

Позднее я был выбран председателем "читальни". Но для меня это была трудная должность. Ибо я стоял перед множеством различных партийных точек зрения и в каждой из них видел нечто относительно верное. Ко мне приходили представители различных партий, и каждый старался убедить меня в правильности постулатов именно своей партии. Во время выборов все партии голосовали за меня, ибо до этого момента они только слышали, как я выступал на собраниях за справедливые требования. Но когда я пробыл председателем полгода, все голосовали против меня, ибо теперь они узнали, что ни одной партии я не мог воздать должное в той мере, в какой она этого хотела.

Читальня вполне удовлетворяла мои потребности в общении. Отражение событий общественной жизни в студенческой среде пробуждало также интерес и к другим сферам этой жизни. Не раз присутствовал я тогда на интересных парламентских дебатах, слушая их с галереи австрийской Палаты депутатов и Палаты господ.

Наряду с парламентскими мероприятиями, глубоко затрагивающими жизнь, меня особенно интересовали личности самих депутатов. Со своей угловой скамьи ежегодно выступал докладчик по государственному бюджету, философ с тонким чутьем Бартоломеус Карнери. Его слова

обрушивались градом обвинений против кабинета министров Тааффе, защищая немецкую идею в Австрии. Здесь присутствовал Эрнст фон Плнер, педантичный оратор, неоспоримый авторитет в финансовых вопросах. Когда он с математической сухостью критиковал расходы министра финансов Дунаевски, всех охватывала дрожь. Здесь метал громы и молнии украинец Томащук, выступая против национальной политики. Возникало ощущение, что он старается подобрать самое подходящее для данного момента меткое словцо для возбуждения антипатии против министров. С крестьянской хитрецей, но всегда умно говорил клерикал Линбахер. Из его слегка наклоненной головы словно истекали отстоявшиеся в нем убеждения. Здесь можно было услышать своеобразно-резкие речи младочеха* Грегга, оставлявшего впечатление наполовину демагога.

Ригер, депутат от старочехов*, олицетворял собой в глубоко характерном смысле чешскую идею, развивавшуюся с давних времен и осознавшую себя во второй половине XIX столетия. Человек на редкость замкнутый, но полный душевных сил и одаренный сильной волей.

Среди польских депутатов, расположившихся по правую сторону, выделялся Отто Гауснер. Он читал конспект своего исполненного остроумия доклада, время от времени с известным удовлетворением посылая во все стороны палаты острые, метко попадавшие в цель, но фактически справедливые стрелы. За моноклем щурился самодовольный, но умный глаз, а другой глаз точно поддакивал с удовлетворением этому прищуриванию. Уже тогда у этого оратора звучали пророческие слова о будущем Австрии.

Следовало бы в настоящий момент перечитать то, что говорил он тогда: острота его прозрений изумительна. Но в то время смеялись над многим из того, что через десятилетия стало горькой действительностью.

Глава пятая

Прийти к мыслям относительно общественной жизни Австрии, которые некоторым образом глубже захватили бы мою душу, мне тогда не пришлось. Дело не шло дальше наблюдения чрезвычайно сложных отношений. Вызвать во мне более глубокий интерес могли лишь беседы с Карлом Юлиусом Шрёэром. И я мог часто посещать его в этот период. Его судьба была тесно связана с судьбой немецкой Австро-Венгрии. Он был сыном Тобиаса Готфрида Шрёэра*, директора немецкого лицея в Пресбурге и автора многих драм, а также книг по истории и эстетике. Последние были изданы под псевдонимом Хр. Озера и стали популярными учебниками. Менее известны поэтические произведения Тобиаса Готфрида Шрёэра, несмотря на их несомненную значимость и горячее признание в узких кругах. Образ мыслей, которым они проникнуты, противостоял господствовавшему тогда в Венгрии политическому течению. Поэтому стихи эти - без упоминания имени автора - частично были опубликованы за границей, в немецкоязычных странах. Если бы в Венгрии стало известно духовное направление автора, это повлекло бы за собой не только отстранение от должности, но и более тяжелое наказание.

Карлу Юлиусу Шрёэру пришлось, таким образом, уже в юности испытать в собственном доме гнет, которому подвергалось все немецкое. И под этим гнетом в нем развивалась преданность немецкой самобытности, немецкой литературе, а также великая любовь ко всему, что касалось Гете. Глубокое влияние оказала на него "История немецкой поэзии" Гервинуса*.

В 40-е годы XIX столетия он едет в Германию, чтобы изучать немецкий язык и литературу в университетах Лейпцига, Галле и Берлина. По возвращении он занимает сначала место учителя немецкой литературы и руководителя семинара в лицее своего отца. Тогда же он знакомится с народными рождественскими играми, которые ежегодно проводились в окрестностях Пресбурга немецкими колонистами. Его душе столь привлекательным для него образом открывалась немецкая самобытность.

Игры эти были привезены столетия тому назад немцами, переселившимися в Венгрию из западных областей. И ставились они так же, как когда-то в давние времена на Рождество в прибрежных областях Рейна. Сказание о Рае, Рождество Христово, явление трех волхвов на народный лад продолжали жить в этих играх. Прослушав или просмотрев старые рукописи, показанные ему крестьянами, Шрёэр публикует их под названием "Немецкие рождественские игры в Венгрии".

Любовное вживание в немецкую самобытность все более захватывает душу Шрёэра. Он совершает путешествия в различные области Австрии для изучения немецких наречий. Повсюду, где в славянских, венгерских, итальянских областях Дунайской монархии была вкраплена немецкая народность, он стремится ознакомиться с ее особенностями. Так возникли его словари и грамматика ципского наречия, принятого на юге Карпат, готтшейского наречия, на котором говорит

небольшая часть немцев, живущих в Крайне, языка геанцев, на котором говорят в западной Венгрии.

Изучение всего этого было для Шрёэра не только научной задачей. Всей своей душой он жил в откровениях народного духа и хотел донести его сущность посредством слова и письма до сознания тех людей, которые были вырваны из него жизненными обстоятельствами. Затем он стал профессором в Будапеште. Однако из-за господствовавших в этом городе настроений ему здесь было неуютно. И тогда он переехал в Вену, где сначала ему поручили руководство евангелическими школами и где позднее он стал профессором немецкого языка и литературы. Я познакомился и сблизился с ним, когда он уже занимал это место. В этот период все его помыслы и жизнь были связаны с Гете. Он работал над предисловием ко второй части "Фауста"* и уже опубликовал первую.

Во время моих посещений Шрёэра, в его маленькой библиотеке, служившей ему в то же время и кабинетом, я погружался в духовную атмосферу, в высшей степени благотворно действовавшую на мою душу. Я уже знал тогда, как враждебно относились к Шрёэру последователи господствовавших литературно-исторических методов, и в первую очередь из-за его "Истории немецкой поэзии XIX столетия". Он писал не так, как, например, представители школы Шерера, обращавшиеся с литературными явлениями, как естествоиспытатели. Он вынашивал в себе определенные ощущения и идеи относительно литературных явлений и чисто "по-человечески", доступно излагал их, почти не обращаясь к "источникам". Говорили, что свои сочинения он писал прямо "с лету".

Меня это интересовало мало. Я душевно согревался, когда был рядом с ним. И я мог проводить у него много времени. Из его пылавшего воодушевлением сердца возрождались в живом слове рождественские игры, дух немецких наречий, течение литературной жизни. Отношение диалектов к литературному языку становилось для меня практически наглядным. Мне доставляло истинную радость, когда он, как на лекциях, так и дома, говорил о поэте Йозефе Миссоне, писавшем на нижнеавстрийском наречии и сочинившем прекрасное произведение "Наац, крестьянский парень из Нижней Австрии, отправляется на чужбину". Шрёэр всегда давал мне книги из своей библиотеки, по которым я мог далее развивать содержание наших бесед. Когда мы были одни, меня всегда охватывало чувство, что вместе с нами присутствует и третий - дух Гете. Ибо Шрёэр так сильно вжился в суть и творения Гете, что при каждом ощущении или идее, появлявшейся в его душе, у него тотчас же возникал продиктованный чувствами вопрос: так бы ощущал или думал в этом случае Гете?

С величайшей симпатией я духовно прислушивался ко всему, что исходило от Шрёэра. И все же, в противоположность Шрёэру, я продолжал совершенно самостоятельно строить в собственной душе то, к чему я стремился духовно-интимно. Шрёэр был идеалистом; мир идей, как таковой, являлся для него тем, что в процессе творения природы и человека действовало как движущая сила. Для меня же идея была тенью исполненного жизни духовного мира. И мне было трудно даже для самого себя выразить в словах различие между моим и шрёэровским образом мыслей. Он говорил об идеях как о движущих силах истории. В бытии идей он чувствовал жизнь. Для меня же за идеями скрывалась жизнь духа, а идеи являлись лишь проявлениями её в человеческой душе. Я не мог тогда найти для моего образа мышления иного слова, чем "объективный идеализм". Этим я хотел подчеркнуть, что существенным в идее является для меня не то, что она проявляется в человеческом субъекте, а то, что она, подобно цвету на чувственном предмете, выявляется в духовном объекте и человеческая душа - субъект - воспринимает ее так, как глаз воспринимает цвет живого существа.

К моим воззрениям Шрёэр со своей формой выражения приближался в наибольшей степени, когда мы касались того, что раскрывается как "душа народа". Он говорил о ней как о реальном духовном существе, которое проявляется в общности отдельных людей, принадлежащих к одному народу. При этом его слова были не просто обозначением некой абстрактной идеи. Таким образом мы рассматривали устройство старой Австрии и действовавшие в ней индивидуальности народных душ.

Благодаря всему этому для меня стало возможным прийти к некоторым мыслям относительно состояния общества, которые оказали глубокое влияние на мою душевную жизнь.

Таким образом, в этот период мои переживания были сильно связаны с моим отношением к Карлу Юлиусу Шрёэру. Однако он был далек от естественных наук, к внутреннему согласию с которыми я стремился прежде всего. Я хотел согласовать мой "объективный идеализм" с природопознанием.

В период самого живого общения со Шрёэром душе моей по-новому предстал вопрос о соотношении мира духовного и мира природы. Сначала это произошло совершенно независимо от естественнонаучного образа мышления Гете. Ведь даже Шрёэр не мог сказать мне ничего

определенного об этой области гетевского творчества. Он испытывал радость, когда находил у того или иного естествоиспытателя благожелательное отношение и признание гетевского воззрения на растительный и животный мир. Что касается гетевского учения о цвете, то здесь со стороны естествоиспытателей он находил лишь категорическое отрицание. Сам он не выработал в этой области особого мнения.

Мое отношение к естественным наукам в этот период моей жизни вовсе не находилось под влиянием того, что благодаря общению со Шрёэром я приблизился к духовной жизни Гете. Оно развивалось скорее благодаря трудностям, возникшим в связи с моими размышлениями о фактах оптики с точки зрения физиков.

Я считал, что естественнаучный взгляд на звук и на свет как на аналогичные явления неприемлем. Принято было говорить о "звуке вообще" и о "свете вообще". Аналогия эта заключалась в следующем: отдельные тона и звуки рассматривались как особо модифицированные колебания воздуха, и объективное в звуке - как некое состояние колебания воздуха. При этом исключалось переживаемое человеком ощущение звука. Аналогично мыслился и свет. То, что разыгрывается вне человека, когда он воспринимает явление, вызванное благодаря свету, определялось как колебание в эфире. Отсюда делали вывод о том, что цвета суть особо организованные колебания эфира. Для моей душевной жизни эта аналогия была тогда поистине мучительна. Ибо мне было совершенно ясно, что понятие "звук" есть лишь абстрактное обобщение отдельных явлений мира звуков, тогда как "свет" - это само по себе нечто конкретное в отношении явлений освещенного мира.

"Звук" был для меня обобщенным абстрактным понятием, "свет" - конкретной действительностью. Свет, говорил я себе, вовсе не воспринимается чувственно; воспринимаются "цвета" посредством света, который всегда проявляет себя при восприятии цвета, но сам не воспринимается чувственно. "Белый" - это не свет, а уже цвет.

Свет стал для меня реальной сущностью в чувственном мире, но сущностью внечувственной. Вместе с тем моей душе предстала противоположность номинализма и реализма, как она была выражена в схоластике. Реалисты утверждали, что понятия суть нечто наличествующее, живущее в вещах и извлекаемое оттуда человеческим познанием. Номиналисты, напротив, рассматривали понятия лишь как придуманные людьми названия для обобщения многообразия в вещах, но сами не имеющие бытия в них. Я чувствовал, что переживания звука нужно рассматривать номиналистически, а переживания, возникающие благодаря свету, - реалистически.

С подобной ориентацией подошел я к оптике физиков. Многое в ней я должен был отвергнуть. Здесь я пришел к воззрениям, проложившим мне путь к гетевскому учению о цвете, и мне открылись врата к гетевским естественнаучным трудам. Сначала я принес Шрёэру небольшие статьи, написанные мной исходя из моих естественнаучных взглядов. Однако Шрёэра они не заинтересовали. Ибо они еще не были проработаны в духе гетевских воззрений; лишь в заключении приводилось краткое замечание: когда придут к тому, чтобы мыслить о природе представленным здесь мною образом, тогда только найдет в науке справедливую оценку гетевское исследование природы. Шрёэр искренне радовался, слушая мои суждения, но дальше этого не шел. Положение, в котором я тогда оказался, можно охарактеризовать, приведя следующий случай. Шрёэр рассказал мне однажды, что как-то ему пришлось беседовать со своим коллегой-физиком. "Да, - сказал этот последний, - Гете восставал против Ньютона, но ведь Ньютон был "такой гений". На это Шрёэр возразил: "Но ведь Гете тоже был гений". Я чувствовал, что вновь стою перед загадкой, которую мне придется решать одному.

Приобретенные мной воззрения на физическую оптику являлись, как мне казалось, мостом, перекинутым от прозрений духовного мира к прозрениям, исходящим из естественнаучного исследования. Я ощущал тогда потребность проверить на чувственном опыте, через самостоятельное проведение оптических экспериментов, сформированные мной мысли о сущности света и цвета. Приобрести приборы, необходимые для подобных экспериментов, было непросто, ибо зарабатываемые частными уроками средства были весьма скромными. Я делал все возможное, чтобы наладить постановку опытов по теории света, которые действительно могли бы привести к непредвзятому взгляду на факты природы в этой области.

Благодаря работам в физической лаборатории Рейтлингера я был знаком с постановкой физических опытов. Математическая обработка данных физики не представляла для меня затруднений, так как я обстоятельно изучал именно эту область. Несмотря на все возражения против гетевского учения о цвете со стороны физиков, я все больше - благодаря собственным опытам - отходил от общепринятых физических воззрений в сторону Гете. Я обнаружил, что всякое подобное экспериментирование есть лишь получение фактов, употребляя выражение Гете, - "сопутствующих свету", а не экспериментирование с самим "светом". Цвет, говорил я себе,

вопреки образу мыслей Ньютона, не извлекается из света; он выявляется, когда свободному проявлению света ставятся препятствия. Я полагал, что это вытекает непосредственно из опыта.

Но тем самым свет исключался для меня из ряда собственно физических реальностей. Он становился переходной ступенью между реальностями, воспринимаемыми органами чувств, и реальностями, зримыми в духе.

Я не был расположен подходить к этим вещам только при помощи философских размышлений. Для меня было очень важно правильно читать факты природы. И мне становилось все понятнее, что сам свет не вступает в область чувственно созерцаемого, а остается вне его, в то время как цвет возникает тогда, когда чувственно созерцаемое вносится в область света.

Отныне я ощущал потребность подойти к естественно-научным познаниям с различных сторон. Это вновь привело меня к изучению анатомии и физиологии. Я изучал строение членов человеческого, животного и растительного организмов. Благодаря этому я по-своему подошел к гетевскому учению о метаморфозе. И я все больше убеждался в том, что картина природы, доступная пониманию при помощи органов чувств, приближается к тому, что раскрывалось мне духовно.

Когда я с духовных позиций рассматривал душевную деятельность человека: мышление, чувствование, воление, - то "духовный человек" представал передо мной во всей своей образной наглядности. Я не мог останавливаться на абстракциях, которые обычно приходят на ум, когда говорят о мышлении, чувствовании, волении. Я видел в этих внутренних откровениях жизни созидающие силы, являвшие мне в духе "человека как духа". И когда я наблюдал проявление человека в чувственном мире, оно дополнялось для созерцающего взора духовной формой, действующей в чувственно зримом.

Я подошел к чувственно-сверхчувственной форме, о которой говорит Гете и которая, согласно как истинно естественнонаучному, так и чисто духовному воззрению, лежит между чувственно воспринимаемым и духовно зримым.

Анатомия и физиология шаг за шагом вели к этой чувственно-сверхчувственной форме. И здесь мой взор впервые обратился - пока еще несовершенным образом - к трехчленности человеческого существа, о которой я заговорил публично в своих "Загадках души" лишь после того, как на протяжении тридцати лет в тиши предавался ее изучению. Сначала мне стало ясно, что в той части человеческой организации, в которой формирование более всего ориентировано на нервы и на органы чувств, чувственно-сверхчувственная форма сильнее всего проявляется в чувственно зримом. Организация головы представлялась мне такой, где чувственно-сверхчувственное также сильнее всего выявляется в чувственной форме. Организацию конечностей я должен был рассматривать как такую, в которой чувственно-сверхчувственное наиболее скрыто, так что в ней проявляются, формируя человека, силы, действующие во внечеловеческой природе. Между этими полюсами человеческой организации находилось, по моему мнению, все, что проявляет себя ритмически: дыхательная система, кровообращение и т. д.

Мне не с кем было делиться этими воззрениями. И если я все же пытался сделать это, то в них видели результат какой-то философской идеи, тогда как я был убежден, что они открылись мне благодаря непредвзятому опытному познанию анатомии и физиологии.

В этом настроении идейного одиночества, которое гнетом ложилось на мою душу, я находил внутреннее освобождение только тогда, когда снова и снова перечитывал текст беседы между Шиллером и Гете, состоявшейся после собрания Общества естествоиспытателей в Йене. Оба они были согласны в том, что природу нельзя рассматривать по частям, как это делал в то время что прослушанном ими докладе ботаник Батч. Несколькими штрихами Гете воссоздал перед глазами Шиллера свое "перворастение". Оно представляло через чувственно-сверхчувственную форму растение в целом, из которого развиваются, подражая в отдельности целому, лист, цветок и т. д. Шиллер же мог видеть в этом "целом" - в силу еще не преодоленной им кантовской точки зрения - лишь "идею", образованную человеческим разумом через наблюдение отдельных частей. Гете с этим не соглашался. Он духовно "видел" целое, как видел чувственно отдельные части. Он не допускал принципиального различия между духовным и чувственным воззрением, но видел лишь переход от одного к другому. Ему было ясно, что оба они могут претендовать на существование в основанной на опыте действительности. Однако Шиллер настаивал на том, что перворастение - это не опыт, а идея. На это Гете исходя из своего образа мышления ответил, что в таком случае он видит свои идеи глазами.

Проникнувшись этими словами Гете, душа моя после долгой борьбы обрела покой. Взгляд Гете на природу предстал моей душе как находящийся в согласии с духовным.

Побуждаемый внутренней необходимостью, я принялся за тщательную проработку естественнонаучных трудов Гете. Я не пытался тогда дать их объяснение, как это мне довелось сделать позднее, во введении к этим трудам, опубликованным в серии "Немецкая национальная

литература" Кюршнера*. Я скорее предполагал самостоятельно воссоздать какую-либо область естественной науки в том виде, в каком эта наука отныне представлялась мне как "сообразная с духом".

Однако моя "внешняя" жизнь в этот период вовсе не предрасполагала к подобным исследованиям. Я вынужден был давать частные уроки по самым разным предметам. "Педагогические" ситуации, с которыми мне приходилось сталкиваться, были весьма разнообразны. Так, однажды в Вене появился прусский офицер, который по какой-то причине должен был оставить германскую военную службу. Он хотел подготовиться к вступлению в австрийскую армию в качестве офицера инженерных войск. Судьба распорядилась так, что я стал его учителем по математическим и естественнонаучным предметам. "Преподавание" это доставляло мне глубочайшее удовлетворение, ибо мой "ученик" оказался чрезвычайно милым человеком. После занятий математикой и механикой, необходимых для его подготовки, он искал человеческого общения со мной. В других случаях, как, например, со студентами-выпускниками, готовившимися к экзамену на степень доктора, я должен был сообщать им именно математические и естественнонаучные знания.

Благодаря этой постоянно возникающей необходимости в проработке современных естественных наук мне представлялось достаточно случаев вживаться в современные воззрения в этой области. В преподавательской деятельности я вынужден был руководствоваться только этими воззрениями; самое же важное для меня в отношении природопознания приходилось, замкнувшись, носить в себе самом.

Моя деятельность в качестве преподавателя частных уроков - в то время единственный источник средств существования - защищала меня от односторонности. Многое приходилось изучать самостоятельно, чтобы суметь затем преподать это ученикам. Так, мне пришлось освоить "тайны" бухгалтерии, ибо представился случай давать уроки и в этой области.

Я получал от Шрёэра плодотворнейшие импульсы и в области педагогического мышления. В течение многих лет он был директором евангелических школ в Вене и полученный опыт изложил в интереснейшей книге "Вопросы преподавания". Прочитанное мной я мог обсуждать с ним. В отношении воспитания и преподавания он высказывался против простого сообщения знаний, но за всестороннее развитие человеческого существа.

Глава шестая

В педагогической области судьба уготовила мне особую задачу. Я был рекомендован в качестве воспитателя в одно семейство, в котором было четыре мальчика. С тремя из них я должен был заниматься по курсу народной школы, а затем подготовить их для поступления в среднюю. Четвертый же, десятилетний мальчик, был полностью передан мне на воспитание. Ребенок этот являлся предметом постоянных забот родителей, особенно матери. К моменту моего появления в их доме он едва владел первейшими навыками чтения, письма и счета. Он считался столь отсталым в своем телесном и душевном развитии, что в семье сомневались в его способности к получению образования. Мышление его протекало медленно и вяло. Малейшее духовное напряжение влекло за собой головные боли, понижение жизненной деятельности, поблуднение, внушающие опасение за душевное состояние.

Когда я познакомился с этим ребенком, у меня сложилось мнение, что соответствующее этому физическому и душевному организму воспитание должно привести к пробуждению дремлющих способностей; и я предложил родителям предоставить мне воспитание этого ребенка. Мать мальчика отнеслась к этому предложению с доверием, и я мог приняться за решение этой особой педагогической задачи.

Мне предстояло найти доступ к душе, находившейся как бы в сонном состоянии, и постепенно привести ее к господству над телом. Сначала нужно было некоторым образом включить деятельность души в тело. Я был убежден в том, что мальчик обладает хотя и скрытыми, но весьма значительными духовными способностями. Эта моя уверенность сильно вдохновляла меня. Вскоре я добился того, что ребенок неясно привязался ко мне. Благодаря этому уже простое общение с ним приводило к пробуждению дремлющих душевных способностей. Для преподавания приходилось измышлять особые методы. Даже четверть часа сверх уделенного преподаванию времени влекли за собой ухудшение состояния здоровья. Некоторые предметы давались мальчику с большим трудом. Эта воспитательная задача стала для меня богатым источником обучения. Благодаря применявшейся мной учебной практике мне открылась связь между духовно-душевым и телесным в человеке. Здесь я проходил настоящую школу физиологии и психологии; мне стало ясно, что воспитание и преподавание должны стать искусством, в основе которого лежит истинное

познание человека. Я должен был тщательно придерживаться принципа экономии. Для получасового урока мне часто приходилось готовиться целых два часа, чтобы уложить материал преподавания в наименьшее количество времени и при наименьшем напряжении духовных и физических сил мальчика добиться от него наибольшей производительности. Нужно было тщательно продумывать очередность предметов преподавания, правильно распределять порядок дня. Я был доволен тем, что мальчик в течение двух лет сумел наверстать курс народной школы и выдержать экзамен на аттестат зрелости в гимназии. Здоровье его также существенно улучшилось. Имевшаяся у него гидроцефалия значительно уменьшилась. Я предложил родителям мальчика отдать его в общественную школу. Я считал, что его жизненное развитие должно проходить в общении с другими детьми. Воспитателем в этой семье я был несколько лет и посвятил себя в особенности этому мальчику, которого я направлял таким образом, чтобы его обучение в школе не мешало его домашним занятиям, проводимым в том духе, в котором они были начаты. Тогда-то и представился мне упомянутый выше случай расширить мои познания по греческому и латинскому языкам, ибо мне приходилось репетиторствовать по гимназическому курсу еще и другого мальчика в этой семье.

Я должен быть благодарен судьбе за то, что она столкнула меня с такой жизненной ситуацией. Ибо я приобрел живое знание о человеческом существе, знание, которое, как мне кажется, я не смог бы приобрести на ином пути. Кроме того, в этой семье ко мне относились с необычайным радушием; между нами установились прекраснейшие отношения. Отец мальчика служил агентом по торговле индийским и американским хлопком. Я имел возможность ознакомиться с ходом торгового дела во многих его аспектах и благодаря этому многому научился. Я составил себе представление о работе чрезвычайно интересного отдела импортных операций, мог наблюдать отношения между компаньонами, связь между коммерческой и промышленной деятельностью.

Мой воспитанник получил возможность пройти курс гимназии; я оставался с ним до первого старшего класса. В дальнейшем он уже не нуждался во мне. По окончании гимназии он поступил на медицинский факультет, стал врачом и уже как врач пал жертвой мировой войны. Мать его, относившаяся ко мне, благодаря моим заботам о нежно любимом ею сыне, как верный друг, вскоре последовала за ним. Отец еще раньше покинул землю.

Добрая часть моей юности тесно связана с этой выпавшей на мою долю задачей. В течение нескольких лет каждое лето ездил я с семьей моих воспитанников на озеро Аттерзе, расположенное в горах Зальцкаммергута, и благодаря этому познакомился с чудесной альпийской природой Верхней Австрии. Продолжавшиеся в начале этой моей воспитательной деятельности частные уроки с другими учениками мне пришлось прекратить, и у меня оставалось много времени для личных занятий.

До того, как я поселился в этой семье, мне редко приходилось принимать участие в детских играх. Случилось так, что "пора игр" наступила для меня только тогда, когда мне было уже около двадцати лет. Я должен был научиться играть, чтобы уметь руководить играми. И я делал это с большим удовольствием, и думаю даже, что в своей жизни играл не меньше других людей. Однако то, что в этом направлении обычно совершается до десятилетнего возраста, я прошел в период от двадцати трех до двадцати восьми лет.

На это же время приходятся мои занятия философией Эдуарда фон Гартмана*. Я изучал его "Теорию познания", которая вызывала во мне непрекращающийся протест. Для меня было совершенно неприемлемым мнение, согласно которому истинная действительность, как бессознательное, лежит по ту сторону переживаний сознания, а эти последние суть не что иное, как нереальное, образное отражение действительности. Этому я мог противопоставить мнение, что благодаря внутреннему усилению душевной жизни переживания сознания могут проникать в истинную действительность. Мне было ясно, что в человеке раскрывается божественно-духовное, если человек благодаря своей внутренней жизни делает возможным это откровение.

Пессимизм Эдуарда фон Гартмана казался мне результатом неверной постановки вопроса о человеческой жизни. Я воспринимал человека как существо, цель которого почерпнуть из своего внутреннего источника то, что наполняет жизнь, принося ему при этом удовлетворение. Если бы человеку, говорил я себе, с самого начала была предуготована мировой порядком "лучшая жизнь", как мог бы он дать этому источнику в себе излиться в поток? Внешний мировой порядок достигает такой стадии развития, при которой вещи и факты наделяются им добром и злом. И тогда существо человека пробуждается к самосознанию и продолжает ведущее к свободе развитие не от вещей и фактов, а только от источника бытия. Уже сама постановка вопроса о пессимизме и оптимизме была направлена, как мне казалось, против свободного существа человека. Как мог бы стать человек, часто говорил я себе, свободным творцом своего высшего счастья, если внешним мировым порядком ему была бы предопределена некая мера счастья?

В то же время "Феноменология нравственного сознания" Гартмана привлекала меня. Я увидел, что нравственное развитие человечества рассматривается в ней при помощи эмпирического наблюдения. Умозрительная мысль направлена здесь не на лежащее за сознанием неизвестное бытие, как это происходит в гартмановской теории познания и метафизике, а на то, что может переживаться в его проявлении как нравственность. Мне было ясно, что никакое философское умозрительное рассуждение, если оно желает приблизиться к истинно действительному, не вправе выходить за пределы явленного. Явления мира сами раскрывают это истинно действительное, как только сознательная душа подготовит себя к их пониманию. Тот, кто доводит до сознания лишь чувственно воспринимаемое, может искать истинно сущее по ту сторону сознания; тот же, кто постигает духовное в созерцании, говорит о нем в познавательно-теоретическом смысле как о лежащем по сю сторону, а не как о потустороннем. Взгляды Гартмана на нравственный мир вызвали у меня симпатию, потому что, оттесняя потустороннюю точку зрения на задний план, он придерживается здесь наблюдаемого. Я стремился достичь такого познания сущего, когда сами феномены раскрывают свою духовную сущность именно через углубление в них, а не при помощи размышления о том, что лежит "за" феноменами.

Так как я всегда стремился воспринимать всякое человеческое деяние с позитивной стороны, философия Эдуарда фон Гартмана приобрела для меня важное значение. Многие в явлениях она объясняла довольно убедительно, хотя именно основное ее направление и жизневоззрение были неприемлемы для меня. Но и в тех сочинениях "философа бессознательного", к которым я в принципе относился отрицательно, было немало чрезвычайно интересного. Это относится и к популярным трудам Гартмана, в которых обсуждаются культурно-исторические, педагогические и политические проблемы. Я находил у этого пессимиста "здоровое" жизневосприятие, не встречавшееся даже у многих оптимистов. Именно по отношению к нему я ощущал то, в чем нуждался: уметь уважать мнение, которое несовместимо с моим собственным.

Немало поздних вечеров провел я на озере Аттерзе за изучением "Феноменологии нравственного сознания" и "Религиозного сознания человечества в его поступательном развитии". Предоставив моих питомцев самим себе и налюбовавшись с балкона звездным миром, я принимался за чтение этих сочинений, которые еще более укрепляли мою уверенность в собственных теоретико-познавательных точках зрения.

По рекомендации Шрёера в 1882 году я был приглашен Йозефом Кюршнером принять участие в издании естественнонаучных трудов Гете с введением и комментариями, включенных в задуманную им серию "Немецкая национальная литература". Первый из редактируемых мной томов должен был содержать предисловие Шрёера, который взял на себя издание драм Гете. В предисловии он говорил о месте Гете как поэта и мыслителя в Современной духовной жизни. В мировоззрении, которое принесла с собой следующая после Гете естественнонаучная эпоха, Шрёер видел как бы падение с той духовной высоты, на которой находился Гете. В этом предисловии исчерпывающим образом была охарактеризована задача, выпавшая на мою долю в связи с изданием естественнонаучных трудов Гете.

Для меня эта задача заключалась в следующем: с одной стороны, нужно было представить проблемы естествознания, с другой, - все гетевское мировоззрение. С этой работой я должен был предстать перед общественностью, и это вынуждало меня довести до известной степени завершенности все то, что было выработано мной до сих пор как мировоззрение.

До этого времени мне приходилось выступать в роли писателя лишь в немногих газетных статьях. Мне было нелегко излагать то, что жило в моей душе, таким образом, чтобы я считал это достойным опубликования. Во мне всегда жило чувство, что внутренне проработанное мной приобретает какой-то жалкий вид, когда я пытаюсь довести его до готового к печати изложения. Все писательские попытки становились поэтому для меня постоянным источником внутреннего недовольства.

Образ мышления, господствовавший в естествознании с того времени, как началось его сильное влияние на цивилизацию XIX столетия, казался мне непригодным для понимания того, к чему стремился Гете в природо-познании и чего он в значительной степени достиг.

В Гете я видел личность, которая ставила человека в особое, сообразное с духовным отношение к миру и благодаря этому была в состоянии вернуть природопознание на присущее ему место в общей сфере человеческого творчества. Образ мышления, присущий нашему времени, казался мне пригодным лишь для развития идей о неживой природе. Он был неспособен познавательно приблизиться к живой природе. Чтобы достичь идей, которые могли бы способствовать познанию органического, говорил я себе, необходимо сначала оживить понятия, пригодные для неорганической природы. Ибо они представлялись мне мертвыми и поэтому были способны лишь на то, чтобы постигать неживое.

В пояснениях к гетевскому воззрению на природу я пытался показать, как идеи оживали в Духе Гете, как они обретали форму, становясь идее-образами.

О чем в частности размышлял Гете и что он разработал в той или иной области природопознания, не имело, на мой взгляд, столь важного значения в сравнении с центральным открытием, которое следует приписать ему. Это последнее заключается в том, что он нашел, как следует мыслить органическое, чтобы познавательным образом приблизиться к нему.

Я считал, что механика удовлетворяет потребность в познании в силу того, что она рациональным образом создает в человеческом уме понятия, которые затем осуществляются в чувственном опыте в области неорганического. Гете предстал предо мной как основатель органики, которая подобным же образом относится к живому. Остановливаясь при обозрении новейшей истории духовной жизни человечества на Галилее, я не мог не заметить, что, разработав понятия для неорганического, он придал новейшему естествознанию его облик. То, что он сделал для неорганического, Гете стремился сделать для органического. Гете стал для меня Галилеем органики.

Для первого тома естественнонаучных трудов Гете мне предстояло прежде всего обработать его идеи о метаморфозе. Мне было трудно выразить то, как относится живой идее-образ, при помощи которого может быть познано органическое, к безобразной идее, применяемой для постижения неорганического. Дать наглядное объяснение этому казалось мне наиболее важным во всей моей задаче.

При познании неорганического одно понятие должно следовать за другим, чтобы обозреть взаимную связь сил, порождающих некое действие в природе. В случае же органического одно понятие должно вырастать из другого таким образом, чтобы в поступательном живом превращении понятий возникали образы того, что явлено в природе в виде оформленных существ. Гете пытался достичь этого путем удержания в духе идее-образа листа растения, но не в виде застывшего безжизненного понятия, а такого, которое может представляться в самых различных формах. Если этим формам мысленно дать развиваться друг из друга, то таким образом можно воссоздать все растение. В душе идеально воспроизводят тот процесс, посредством которого природа реально создает растение.

Стараясь понять подобным образом сущность растений, человек духовно подходит к природе гораздо ближе, чем при постижении неорганического с помощью безобразных понятий. В неорганическом постигается лишь духовный призрачный облик того, что бездуховным образом существует в природе. Но в процессе становления растения живет нечто, имеющее отдаленное подобие с тем, что в человеческом духе возникает как образ растения. Можно заметить, как природа, создавая органическое, приводит в себе в действие духоподобную сущность.

В введении к ботаническим трудам Гете я хотел указать на то, что своим учением о метаморфозе Гете положил начало направлению, суть которого состоит в том, чтобы мыслить органические действия природы сообразно с духовным.

Еще более сообразной с духовным являлась для образа мышления Гете деятельность природы в царстве животных и в подосновах человеческого существа.

В отношении животнo-человеческого начала Гете исходил из прозрения в одно заблуждение, обнаруженное им у своих современников. Органической основе человеческого существа они хотели отвести особое место в природе и выискивали отдельные отличительные признаки у людей и животных. Один из таких признаков у животных они видели в межчелюстной кости, в которой расположены верхние резцы. У человека, как они утверждали, не существует такой особой промежуточной кости в верхней челюсти. Она состоит из целого куска.

Гете казалось это заблуждением. Для него человеческая форма образуется путем перехода животной формы на более высокую ступень. Все, что явлено в животной форме, должно быть и у человека - но только в более совершенном виде, чтобы человеческий организм мог стать носителем самосознающего духа.

В возвышении всей человеческой формы, а не в частностях усматривает Гете различие между человеком и животным.

Переходя от рассмотрения растения к рассмотрению различных животных форм, можно увидеть, как органические созидательные силы делаются все более духоподобными. В органическом строении человека принимают участие духовные созидательные силы, вызывающие высшую метаморфозу животной организации. Эти силы присутствуют в процессе становления человеческого организма; и они, в конце концов, проявляют себя как человеческий дух, предварительно создав себе в природной основе сосуд, который может их принять в их свободной от природной формы бытия.

Это воззрение Гете на человеческий организм предвосхищало, на мой взгляд, все то справедливое, что было сказано позднее исходя из основ дарвинизма о родстве человека и

животного. Но этим же было отвергнуто и все необоснованное. Материалистическое понимание того, что нашел Дарвин исходя из родства человека с животным, ведет к образованию представлений, которые отрицают дух там, где в земном бытии он проявляется в своей высшей форме - в человеке. Гетевское "се понимание ведет к узрению в животной организации творения духа, которое пока еще не достигло той ступени, на которой дух, как таковой, может жить.

То, что в человеке живет как дух, творит в животной форме на предыдущей ступени; и преобразуется в человеке в такую форму, что человек может проявляться не только как созидатель, но и как самопознающий дух.

Проследивая последовательное развитие природы от неорганического к органическому, воззрение Гете на природу ведет тем самым к постепенному превращению естественной науки в науку духовную. Именно это я прежде всего хотел выразить при проработке первого тома естественнонаучных трудов Гете. Мое введение завершалось поэтому пояснением того, как материалистически окрашенный дарвинизм образует одностороннее воззрение, которое оздоравливается через гетевский образ мышления.

Рассмотрением гетевской органики я хотел показать, как следует познавать, чтобы суметь проникнуть в жизненные явления. Вскоре я почувствовал, что это рассмотрение нуждается в подкрепляющей основе. Сущность познания, как ее представляли мои современники, была далека от гетевского воззрения на нее. Специалисты по теории познания видели естествознание таким, каким оно было в ту эпоху. То, что они говорили о сущности познания, было пригодно лишь для понимания неорганической природы. Между сказанным мной о методе познания Гете и общепринятыми теориями познания того времени не было никакого созвучия.

Поэтому мои рассуждения, связанные с органикой Гете, вновь привели меня к теории познания. Воззрения современников в этой области, к примеру, Отто Либмана, в различных формах выражали следующее положение: человеческое сознание никогда не может выйти за пределы самого себя, оно должно довольствоваться имеющимся и жить в том, что посылает для него действительность в человеческую душу и что выражается в нем в духовной форме. Подобный взгляд, в отличие от гетевского метода, не допускает возможности найти в органической природе нечто родственное духу. Согласно этому воззрению, дух следует искать в пределах человеческого сознания, а созвучное с духовным познание природы является недопустимым.

Я пришел к заключению, что для гетевского метода познания отсутствует теория познания. Это привело меня к попытке изложить таковую, хотя бы в общих чертах. И прежде чем приняться за проработку дальнейших томов естественнонаучных трудов Гете, я написал, исходя из внутренних побуждений, мою "Теорию познания Гетевского мировоззрения". В 1886 году книга была готова.

Глава седьмая

Идеи "Теории познания Гетевского мировоззрения" я начал записывать в то время, когда судьба привела меня в одну семью, в кругу которой я провел прекраснейшие часы моей жизни. Эта была счастливая пора. Среди моих друзей уже давно выделился один, которого я любил за его жизнерадостность, за его меткие суждения о жизни и людях, открытость и преданность. Он ввел меня вместе с другими общими друзьями в свой дом. Мы встретили там двух его сестер* и одного господина, который, как мы узнали позднее, был женихом старшей дочери.

На заднем плане жизни этой семьи таилось нечто неизвестное. Это был их отец, которого мы так никогда и не увидели. Он был здесь и вместе с тем его здесь не было. Отовсюду приходилось слышать об этом незнакомом нам человеке. Судя по разговорам о нем, это была примечательная личность. Сестры и брат сначала ничего не рассказывали о своем отце, который, по-видимому, всегда находился в соседней комнате. Лишь постепенно мы кое-что узнали о нем. Каждое их слово об отце было проникнуто истинным почтением. Мы чувствовали, что они почитают в нем значительного человека. Но нам казалось, они очень боятся, что случайно мы можем увидеть его.

Наши беседы в кругу этой семьи в основном касались литературы. Развивая ту или иную тему, кто-то из сестер или брат приносил нужную книгу из отцовской библиотеки. И обстоятельства складывались так, что постепенно я ознакомился со многим из того, что читал этот человек в соседней комнате, хотя никогда я его не видел.

В конце концов я уже не мог скрыть интереса к тому, что имело отношение к незнакомцу. И таким образом благодаря хотя и сдержанному, но все же выдающимся многим высказываниям сестер и брата в моей душе возник образ этой замечательной личности. Я полюбил этого человека, который уже и мне казался весьма значительным. Я почитал в нем человека, которого тяжелые жизненные испытания привели к тому, что он погрузился в свой собственный мир и избегал всяких сношений с людьми.

И вот однажды нам сказали, что этот человек заболел, и вскоре после этого мы узнали о его смерти. Мне было поручено произнести речь у его могилы. Я сказал об этой личности, которую знал только описанным выше образом, то, что внушало мне сердце. На похоронах присутствовали только семья умершего, жених одной из дочерей и мои друзья. Сестры и брат признались мне, что в своей речи я верно передал образ их отца. И по их словам, по их слезам я мог почувствовать, что они действительно так думают. К тому же я знал, что человек этот духовно был столь близок мне, будто я общался с ним многие годы.

Между младшей сестрой и мной постепенно сложились прекрасные дружеские отношения. В ней было нечто от прообраза немецкой девушки. Она не несла в своей душе заученной образованности, а выражала себя благородно-сдержанно с какой-то первозданной, пленительной естественностью. И эта ее сдержанность нашла отклик и во мне. Мы любили друг друга и ясно сознавали это, но не могли преодолеть робости и признаться в нашей любви. И любовь эта жила между словами, которые мы друг другу говорили, но не в них самих. Я чувствовал, что душевные отношения наши были самыми нежными, но за пределы душевного они никогда не переходили.

Эта дружба приносила мне радость; подруга была для меня как солнечный свет в жизни. Однако жизнь разлучила нас. От часов радостных встреч осталась лишь короткая переписка, затем грустное воспоминание о той прекрасной поре. Воспоминание, которое все вновь и вновь всплывало из глубин моей души в течение всей последующей жизни.

На это же время приходится одно из моих посещений Шрёэра. Он весь был переполнен впечатлениями от только что прочитанных произведений Марии Ойген делле Грации*. К тому времени она уже опубликовала томик стихотворений, эпическую поэму "Герман", драму "Саул" и рассказ "Цыганка". Шрёэр говорил об этих сочинениях с энтузиазмом. "И все это написано молодой девушкой, не достигшей еще шестнадцати лет", - заметил он. И затем продолжил: "Роберт Циммерман сказал, что это единственный истинный гений, которого довелось ему встретить в своей жизни".

Энтузиазм Шрёэра побудил и меня сразу же прочесть эти произведения. Я опубликовал статью об этой поэтессе. А возможность посетить ее доставила мне большую радость. Мы беседовали с ней, и эта беседа в моей дальнейшей жизни часто вставала перед моей душой. В то время она уже приступила к более крупному сочинению, к эпической поэме "Робеспьер". Она говорила со мной об основных идеях этого произведения. Уже тогда в ее речах преобладал пессимистический настрой. Мне казалось, что на примере такой личности, как Робеспьер, она хотела изобразить трагизм всякого идеализма. Идеалы возникают в человеческом сердце, но они не имеют власти над безыдейной, жестокой, разрушительной деятельностью природы, которая бросает навстречу всему идеальному свой безжалостный вызов: "Ты только иллюзия, мое призрачное создание, которое я снова и снова отбрасываю в ничто".

Это было ее убеждение. Затем она говорила со мной еще об одном поэтическом замысле, о "Сатаниде". Она хотела изобразить как противоположность Бога первозданное существо, которое в жестокой, безыдейной, разрушительной природе открывается человеку как власть. С истинной гениальностью говорила она об этой силе, действующей из бездны бытия и господствующей над этим бытием. Я ушел от нее глубоко потрясенный. Величие ее речей не отпускало меня, содержание ее идей было противоположно всему тому, что сложилось во мне как духовное мировоззрение. Но я никогда не был склонен к тому, чтобы не интересоваться или не восхищаться всем тем, что казалось мне великим, даже если по содержанию оно и отталкивало меня. Я считал, что подобные существующие в мире противоположности должны где-то приходиться к гармонии. Это позволяло мне относиться к противоположному с полным пониманием, как если бы оно принадлежало к направлению деятельности моей собственной души.

Вскоре после этого я был приглашен к делле Грации. Перед небольшим кругом слушателей, среди которых были Шрёэр, его жена и одна его близкая знакомая, она прочитала отрывки из своего "Робеспьера". Мы услышали сцены, свидетельствовавшие о высоком поэтическом полете, но в целом пессимистического тона, пропитанные ярким натурализмом: здесь описывались ужасающие стороны жизни. Возникали обманутые судьбой человеческие образы и низвергались, охваченные трагизмом. Таким было мое впечатление. Шрёэр был возмущен. Он считал, что искусство не должно опускаться в такие бездны "ужасного". Дамы удалились. Они были близки к нервному срыву. Я не мог согласиться со Шрёэром. Мне казалось, он был насквозь пронизан чувством, что никакое ужасное душевное переживание человека, если даже это ужасное переживается искренне и правдиво, никогда не может стать поэзией. Вскоре после этого появилось еще одно стихотворение делле Грации, в котором природа воспевалась как высшая сила, но так, что она противоречила всем идеалам, которые она вызывает к бытию только для того, чтобы обольстить человека, и отбрасывает их снова в небытие, как только это обольщение достигнуто.

В связи с этим стихотворением я написал статью "Природа и наши идеалы", которую не опубликовал, а только отпечатал в небольшом количестве экземпляров. В этой статье я говорил о кажущейся правомочности воззрения делле Грацие. Я писал о том, что воззрение, которое не ограждается от того враждебного, что заложено в природе в противовес к человеческим идеалам, имеет для меня большую ценность, чем "плоский оптимизм", не желающий заглядывать в бездны бытия. Но я говорил также и о том, что внутреннее свободное существо человека творит из себя самого то, что дает жизни смысл и содержание, и что это существо не могло бы полностью развиться, если бы извне, как дар природы, к нему приходило то, что должно возникать в нем самом.

Из-за этой статьи мне пришлось пережить сильную боль. Прочитав статью, Шрёэр прислал мне письмо, в котором сообщал, что, должно быть, мы никогда не понимали друг друга, если я могу так думать о пессимизме. И кто подобным образом говорит о природе, тот показывает этим, что не воспринял достаточно глубоко слова Гете: "Познай себя и живи с миром в мире".

Я был поражен до самой глубины души, получив такие строки от человека, к которому был бесконечно привязан. Шрёэр приходил в страшное возбуждение, когда замечал, что восстают против гармонии, проявляющейся в искусстве как красота. Он отвернулся от делле Грацие, посчитав, что она грешит этим. На преклонение, испытываемое мной перед делле Грацие как поэтессой, он смотрел как на отход от него и в то же время от Гете. Он не видел в моей статье того, что я говорил о человеческом духе, побеждающем из собственного внутреннего существа препятствия, чинимые природой; он был оскорблен моим утверждением о том, что внешний природный мир не может дать человеку истинное внутреннее удовлетворение. Я хотел указать на незначительность пессимизма, несмотря на его правомочность в пределах известных границ; в каждом уклоне в сторону пессимизма Шрёэр видел то, что он называл "шлаком выжженных умов".

В доме Марии Ойген делле Грацие я провел прекрасные часы моей жизни. Она принимала вечером, по субботам. Здесь собирались представители самых разных духовных направлений. Средоточием этих собраний была сама поэтесса. Она читала из своих произведений, твердо и определенно излагала мысли в духе своего мировоззрения и освещала с помощью этих идей человеческую жизнь. Это был далеко не солнечный свет, а скорее мрачный, лунный. Грозное небо, покрытое тучами. Но из людских обителей вставало в этом мраке огненное пламя, как бы неся страсти и иллюзии, пожирающие людей. И все это по-человечески трогательно, всегда увлекательно - горечь, овеянная благородным очарованием одухотворенной личности.

Рядом с делле Грацие всегда находился Лауренц Мюллернер* - католический священник, учитель писательницы, а позднее и заботливый благородный друг. Он был тогда профессором христианской философии на богословском факультете университета. В его лице, во всем его облике отражались результаты душевно-аскетического духовного развития. Скептик в вопросах философии, он был глубоко образован во многих областях искусства, литературы, философии. Он писал интересные статьи об искусстве и литературе для католически-клерикальной газеты "Фатерланд". Пессимистическое миро-и жизневоззрение писательницы звучало и в его речах.

Делле Грацие и Мюллернера объединяла сильнейшая антипатия к Гете; интересы их были направлены в сторону Шекспира и писателей нового поколения, порожденного тяготами жизни или натуралистическими извращениями человеческой природы. Достоевский всецело пользовался их любовью. В Леопольде фон Захер-Мазохе они видели блестящего, не пугающегося никакой правды выразителя того, что в болоте современности прорастает как достойное уничтожения слишком человеческое. У Лауренца Мюллернера антипатия к Гете носила окраску католического богословия. Он восхвалял монографию Баумгартнера о Гете, выставившую Гете противником достойных человека устремлений. У делле Грацие же антипатия к Гете носила как бы глубоко личный характер.

Вокруг делле Грацие и Мюллернера собирались профессора богословского факультета, католические священники высочайшей учености. Среди них выделялся, всегда вызывая интерес, священник ордена цистерцианцев Св. Креста Вильгельм Нейман*. Мюллернер справедливо уважал его за всеобъемлющую ученость. Когда однажды в отсутствие Неймана я с энтузиазмом и восхищением говорил о его всепроникающем знании, Мюллернер заметил: "Да, профессор Нейман знает весь мир, и еще три деревни". Я с удовольствием присоединялся к нему, когда мы уходили от делле Грацие. Мы часто беседовали с этим "идеалом" ученого и вместе с тем "верным сыном своей церкви". Я хотел бы здесь упомянуть о двух таких беседах. Одна из них касалась Сущности Христа. Я изложил свое воззрение на то, как Иисус из Назарета благодаря внезапному действию воспринял в себя Христа и что Христос как Духовное Существо со времени Мистерии Голгофы живет в человеческом развитии. Эта беседа глубоко запечатлелась в моей душе и неоднократно всплывала в ней. Ведь это было для меня очень важно. Беседа эта происходила, собственно говоря, между тремя лицами - профессором Нейманом, мной и невидимым третьим,

персонификацией католической догматики. Зрима для духовного ока, она, как бы угрожая, сопровождала профессора Неймана и укоризненно хлопала его по плечу, если тонкая логика ученого слишком смело соглашалась со мной. Станным было в нем то, что часто конец его фразы по смыслу оказывался противоположным началу. Мне противостоял один из лучших представителей католического образа жизни; благодаря ему мне удалось, сохраняя полное уважение к его взглядам, основательно изучить особенности католического непонимания жизни.

Другой раз мы говорили о повторяемости земных жизней. Профессор выслушал меня, говорил о книгах, в которых можно найти сообщения об этом; часто он покачивал головой, но не собиравшись, очевидно, углубляться в содержание темы, казавшейся ему странной. Но и эта беседа была для меня важна. Глубоко в память врезалось мне то чувство неловкости, с которым Нейман ощущал свои не произнесенные суждения в ответ на мои слова.

Обычными посетителями суббот были историки церкви и теологи. Здесь можно было встретить философа Адольфа Штёра*, Гозвине фон Берлепш, Эмилию Матайя* (писавшую под псевдонимом Эмиль Марриот) - писательницу, наделенную глубоким чутьем, поэта и писателя Фрица Лемермайера*, композитора Штресса*. С Фрицем Лемермайером, с которым впоследствии нас связала тесная дружба, я познакомился именно на вечерах у делле Грации. Это был удивительный человек. Обо всем том, что его интересовало, он говорил с внутренне выверенным достоинством. Внешностью он напоминал пианиста Рубинштейна и актера Левинского одновременно. Геббель был для него почти что культом. Его взгляды на жизнь и искусство, рожденные из мудрого, идущего из сердца знания, сидели в нем весьма крепко. Он был автором интересного, содержательного романа "Алхимик" и многих других прекрасных и глубоких по мысли произведений. Самые мелкие жизненные факты он умел рассматривать с точки зрения их важности. Помню, как однажды я зашел к нему с друзьями в его уютную комнатку в одном из венских переулков. Он готовил себе еду в скороварке: два яйца всмятку, а к ним кусок хлеба. "Это будет восхитительно", - произнес он с пафосом, кипятя воду, чтобы сварить нам яйца. О нем будет идти речь и в связи с более поздним периодом моей жизни.

Альфред Штресс, композитор, был гениальный, но глубоко пессимистичный человек. Когда он садился у делле Грации за рояль и играл этюды, возникало чувство, что музыка Антона Брукнера растворяется в звуках, уносящихся за пределы земного бытия. Штресса понимали мало; Фриц Лемермайер безгранично любил его.

Фриц Лемермайер и Штресс были очень дружны с Робертом Гамерлингом*. Они побудили меня вступить с ним в короткую переписку. Об этом поэте еще многое будет сказано. Кончил Штресс тяжелой болезнью, повлекшей за собой помутнение рассудка.

У делле Грации можно было встретить и скульптора Ганса Брандштеттера.

В этом обществе незримо присутствовал историк богословия Вернер*, о котором я слышал восторженные речи, чуть ли не гимны. Делле Грации любила его больше всех. Сам он никогда не показывался на субботах, которые я посещал. Но его почитательница не переставала раскрывать все с новых сторон образ этого человека, биографа Фомы Аквинского, образ доброго, преисполненного любви, оставшегося наивным до глубокой старости ученого.

Перед нами предстал человек столь самоотверженный, столь преданный той материи, о которой ему как историку приходилось говорить, столь пунктуальный, что невольно вырывались слова: "Ах, побольше бы таких историков!".

Эти субботние собрания были овеяны истинным очарованием. Когда темнело, зажигалась завешенная красным потолочная лампа, и все общество, благодаря такому освещению, приобретало торжественный вид. Когда удалялись менее близкие люди, делле Грации становилась особенно разговорчивой. Ее слова раздавались как вздохи, как отзвуки тяжелых дней, ниспосланных судьбой. Но здесь можно было услышать и хороший юмор по поводу превратностей жизни, раздавались голоса возмущения против развращения печати и коррупции. Звучали саркастические, часто едкие замечания Мюльнера на темы философии, искусства...

Дом делле Грации был местом, где пессимизм раскрывался с непосредственной жизненной силой, местом анти-гетеанства. Мои речи о Гете выслушивались всегда, но, по мнению Лауренца Мюльнера, я приписывал ему вещи, которые имели мало общего с министром Великого герцога Карла Августа. Но несмотря на это каждое посещение этого дома - а я знал, что там рады были меня видеть, - было для меня тем, чему я невыразимо обязан: я находился в поистине благодатной для меня духовной атмосфере. И для этого мне не нужно было согласия в идеях, нужна была только открытая для духовного человечность.

Итак, мне приходилось выбирать между столь охотно посещаемым мной домом и моим учителем и заботливым другом, Карлом Юлиусом Шрёэром, который после первого посещения никогда более не показывался у делле Грации. Жизнь моих чувств, относившаяся к обеим сторонам с истинной любовью и уважением, давала настоящую трещину.

Но как раз в это время начали созревать первые мысли для моей появившейся позднее "Философии свободы"*. Упомянутое выше послание к делле Грации - статья "Природа и наши идеалы", содержит в себе ключевые мысли этой книги: "Наши идеалы не столь плоски, чтобы удовлетворяться часто столь бесцветной, столь пустой действительностью. И все же я не могу допустить, чтобы невозможно было возвыситься над глубоким пессимизмом, вытекающим из такого познания. Это возвышение происходит тогда, когда я созерцаю внутренний мир человека, когда я ближе подхожу к сущности нашего идеального мира. Это замкнутый, совершенный в себе самый мир, ничего не приобретающий и ничего не теряющий от преходимости внешних вещей. Разве наши идеалы, если они действительно живые индивидуальности, не являются сами по себе существами, независимыми от благосклонности или неблагосклонности природы? Пусть безжалостный порыв ветра сорвет лепестки прелестной розы, - она уже выполнила свою миссию, ибо она радовала сотни человеческих глаз; пусть завтра беспощадной природе благогорассудится уничтожить все звездное небо: тысячелетия люди взирали на него с почитанием, и этого уже достаточно. Не временное бытие, нет, внутренняя сущность вещей делает их совершенными. Идеалы нашего духа - это мир для себя, который должен проявиться во всей полноте и который ничего не может получить от содействия благожелательной природы.

Каким достойным сожаления существом был бы человек, если бы он не мог достичь удовлетворения в пределах своего собственного мира идеалов, а нуждался бы в содействии природы? Что стало бы с божественной свободой, если бы природа, ведя нас, как малых детей, на помочах, лелеяла бы и опекала нас? Нет, она должна нам во всем отказывать, дабы, если нам выпадет счастье - оно явилось бы только результатом деятельности нашего свободного Я. Пусть природа изо дня в день разрушает то, что мы строим, чтобы каждый новый день мы могли радоваться предстоящему созиданию! Мы ничем не хотим быть обязанными природе, мы хотим всем быть обязанными только самим себе!

Но эта свобода, сказали бы многие, она ведь только сон! Воображая себя свободными, мы повинемся железной необходимости природы. И самые возвышенные мысли, которые являются нам, - это лишь результат слепо действующей в нас природы.

Но должны же мы, наконец, согласиться с тем, что существо, познающее самого себя, не может быть несвободным! . . Мы видим ткань законов, которые действуют в вещах, и это создает необходимость. Обладая в нашем познании силой высвободить закономерности вещей природы из них самих, мы должны - несмотря на это - оставаться безвольными рабами этих законов?".

Эти мысли развивались мной не из духа противоречия: то, что говорило мне узрение духовного мира, я хотел противопоставить тому, что должен был рассматривать как противоположный по отношению к моему собственному полюс непонимания, к которому я также относился с невыразимым уважением, ибо при истинном душевном углублении он раскрывался мне.

В это же время, когда мне было дано пережить столько интересного в доме делле Грации, мне представилась возможность вступить в кружок молодых австрийских поэтов. Мы встречались каждую неделю для свободного обмена мнениями и взаимного обсуждения наших новых сочинений. Это было собрание людей самых различных характеров и умонастроений - от оптимистов, наивно изображающих жизнь, до закоренелых свинцовых пессимистов. Душой кружка был Фриц Лемермайер. Здесь царили настроения натиска на "старое", начало которому в духовной жизни того времени было положено в Германии братьями Гарт, Карлом Генкелем и другими. Но все это было окутано австрийской "любезностью". Много говорилось о том, что настало время, когда во всех областях жизни должны зазвучать новые голоса, но всегда - со свойственным австрийцам отрицательным отношением к радикализму.

Одним из самых молодых членов кружка был Иозеф Китир*. Он стремился к лирике, образцом для которой служило творчество Мартина Грейфа. Он не хотел выражать субъективные чувства, он стремился запечатлеть конкретное событие, ситуацию, опираясь не на собственные ощущения и эмоции, а на "объективные" чувства. Он не желал говорить о своем восхищении чем бы то ни было; событие должно быть изображено, а восхищение уже возникнет у слушателя или читателя, хотя поэт и не говорил о нем прямо. В этом направлении Китиру удалось создать поистине прекрасные вещи. Это была простодушная натура. Некоторое время он поддерживал со мной дружеские отношения.

В этом же кругу с необыкновенным восторгом отзывались об одном немецко-австрийском поэте, с некоторыми произведениями которого я недавно познакомился. Они произвели на меня сильное впечатление. У меня возникло желание познакомиться с самим поэтом. Я спросил Фрица Лемермайера, который его хорошо знал, и других, нельзя ли пригласить поэта на наши собрания. Но мне ответили, что его не сдвинуть с места никакими силами. Он чужак и не желает быть на людях. Однако я настаивал, и однажды вечером все наше общество направилось туда, где "знающие" могли его найти. Это был небольшой винный погребок на улице, параллельной

Кертнерштрассе. Он сидел там в углу со стаканом красного вина перед собой. Казалось, будто он провел здесь уже целую вечность и собирался еще столько же провести. Это был уже довольно пожилой господин, но с юношески сияющими глазами и лицом, тонкие выразительные черты которого свидетельствовали о поэте и идеалисте. Сначала он не заметил нас. Ибо в благородно очерченной голове его возникало, по-видимому, какое-то стихотворение. Фрицу Лемермайеру пришлось коснуться его руки, и тогда он повернулся и посмотрел на нас. Мы помешали ему - этого не смог скрыть его смущенный взгляд, однако он повел себя самым любезным образом. Мы окружили его. В тесной комнате не хватало мест для сидения. Замечательно было то, что человек, слышавший чудачком, через несколько минут проявил себя остроумнейшим собеседником.

Мы почувствовали, что с тем, что начало возникать между нашими душами, мы не можем оставаться в этой тесной комнате. И нам не понадобилось много усилий, чтобы увести этого "чудака" в другой "погребок". Мы все были молоды, кроме него и одного его знакомого, уже давно вращавшегося в нашем кругу, но вскоре выяснилось, что никогда еще мы не были так молоды, как в тот вечер с этим старым господином, ибо он-то и был среди нас самым молодым.

Обаяние этой личности полностью захватило меня. Я сразу понял, что человек этот написал более значительные произведения, чем уже опубликованные им, и я смело спросил его об этом. Он ответил почти что робко: "Да, дома у меня есть еще несколько космических вещей". И мне удалось добиться от него обещания принести их в следующий раз на наше собрание.

Так познакомился я с Ферхером фон Штейнвандом*. Этот крепкий, полный идей, ощущавший себя идеалистом поэт был родом из Каринтии. Сын бедных родителей, он перенес в юности множество лишений. Его заметил известный анатом Гиртль; он обеспечил ему существование, благодаря чему тот мог жить, всецело занимаясь своими мыслями, чувствами, поэзией. Мир долго почти ничего не знал о нем. Роберт Гамерлинг признал его сразу после появления его первого произведения "Графиня Зееленбранд".

Отныне нам не приходилось ходить за "чудаком". Почти регулярно он сам появлялся на наших вечерах. Я испытал большую радость, когда однажды он принес свои "космические вещи". То были "Хор первоизданных желаний" и "Хор первоизданных снов" - поэзия, в звучных ритмах которой жили ощущения, проникавшие, казалось, к источнику мировых творческих сил. Здесь словно живые витали в величественном созвучье идеи, действующие как образы мировых первоизданных сил. Знакомство с Ферхером фон Штейнвандом я рассматриваю как одно из важных событий в моей молодости. Ибо его личность была личностью мудреца, открывающего свою мудрость в истинной поэзии.

Я все бился над загадкой повторяемости земных жизней человека. Многое в этом направлении раскрывалось мне, когда я сближался с людьми, в образе жизни, в отпечатке личности которых легко обнаруживались следы сущностного содержания, которое не следует искать в том, что унаследовано и испытано ими с момента рождения. В мимике, в каждом жесте Ферхера проявлялась душевная сущность, которая могла сформироваться только в эпоху начала христианского развития, когда еще были сильны отзвуки греческого язычества. К подобному созерцанию невозможно прийти через размышление над явно выраженными проявлениями той или иной личности; оно пробуждается благодаря как бы сопровождающим эти проявления, в действительности же безгранично их углубляющим, проникающим в интуицию, характерным чертам индивидуальности. Оно не приобретает и в момент общения с личностью, но только тогда, когда после общения остается сильное впечатление, переходящее как бы в живое воспоминание, в котором стирается то, что является существенным во внешней жизни, и начинает ясно звучать голос обычно "несущественного". Кто "наблюдает" людей, чтобы разгадать их предыдущие земные жизни, тот, конечно, не достигнет цели. Подобное наблюдение должно восприниматься как оскорбление, наносимое наблюдаемому. Здесь можно только надеяться, что благодаря как бы идущему из духовного внешнего мира благоволению судьбы давнее прошлое человека раскроется в настоящем.

Именно в описываемую эпоху моей жизни мне удалось достичь определенных воззрений на повторяющиеся земные жизни человека. Они и прежде не были чужды мне, но тогда они носили неопределенный характер и не слагались в четкие впечатления. Теории о таких вещах, как повторяемость земных жизней, в своих мыслях я не создавал; хоть я и знакомился с ними из литературы или из иных источников и воспринимал их как нечто очевидное, я никогда не теоретизировал их. Только благодаря истинным воззрениям на эти вещи мог я вести вышеупомянутый разговор с профессором Нейманом. Конечно, нельзя осуждать людей, если в повторяемости земных жизней они убеждаются только через познание, достижимое на сверхчувственном пути; и все же полное убеждение относительно этого возможно и для непредвзятого здравого человеческого ума далее в том случае, если человек не достиг созерцания. Однако путь теоретизирования в этой области - это не мой путь.

В этот период, когда во мне все более утверждался конкретный взгляд на повторяемость земных жизней, я познакомился с теософским движением, основанным Е. П. Блаватской*. Через одного моего друга, с которым я говорил об этих вещах, ко мне в руки попала книга Синнетта "Эзотерический буддизм". Эта первая для меня книга из области теософии не произвела на меня никакого впечатления. Я был рад, что не прочитал ее до появления у меня воззрений, сложившихся из моей собственной душевной жизни. Ибо в ней было нечто отталкивающее, и антипатия к такому способу представления сверхчувственного, наверное, помешала бы мне продвигаться дальше по предназначенному мне пути.

Глава восьмая

В этот период, около 1888 года, моя внутренняя душевная жизнь, с одной стороны, побуждала меня к сильной духовной концентрации, а с другой, - я был вовлечен жизнью в широкий круг знакомств. Работа над обстоятельным предисловием ко второму тому естественнонаучных трудов Гете внутренне побудила меня представить мое воззрение на духовный мир в форме прозрачного по мыслям изложения. Для этого требовалась внутренняя отрешенность от всего того, с чем я был связан во внешней жизни. Многим я обязан тому обстоятельству, что эта отрешенность была для меня достижима. Я мог сидеть тогда за столиком в оживленном кафе и ощущать, несмотря на это, внутреннюю тишину, продумывая и набрасывая то, что затем перешло в упомянутое выше предисловие. Таким образом, моя внутренняя жизнь совершенно не была связана с внешним миром, с которым вновь тесно переплетались мои интересы.

Это происходило в то время, когда в Австрии подобные интересы были обращены на кризисные явления, заявившие о себе в общественной жизни. Многие из тех, с кем я общался, посвящали свои силы и деятельность разрешению конфликтов, возникавших между народностями Австрии. Другие занимались социальным вопросом. Кто-то жил стремлениями к обновлению жизни искусства.

Однако благодаря моим переживаниям в духовном мире у меня часто возникало ощущение, что все эти стремления к цели останутся бесплодными, ибо они избегают приблизиться к духовным силам бытия. Осознавать эти духовные силы - вот что казалось мне самым важным. Однако в духовной жизни, которая меня окружала, я не находил относительно этого ясного понимания.

Именно в этот период была опубликована сатирическая поэма Роберта Гамерлинга "Гомункул". В ней, как в зеркале, отображалась современность, в намеренно карикатурных образах был показан ее материализм, ее направленность в сторону внешних жизненных отношений. Человек, который в состоянии жить лишь в механистически-материалистических представлениях и занятиях, заключает брак с женщиной, существо которой пребывает не в действительном, а в фантастическом мире. Гамерлинг хотел показать два ложных направления, по которым развивается цивилизация. С одной стороны, перед ним вставало бездуховное устремление, когда мир представляют в виде механизма и хотят создать жизнь, подобную механизму, с другой, - бездушная фантастика, вовсе не заинтересованная в том, чтобы ее духовная призрачная жизнь по-настоящему соприкоснулась с действительностью.

Гротескные образы, рисуемые Гамерлингом, оттолкнули от него многих поклонников его прежних произведений. Появление этой поэмы заставило призадуматься даже завсегдатаев дома делле Грацие, где Гамерлинг всегда вызывал восхищение.

И все же "Гомункул" произвел на меня очень глубокое впечатление. Он выявил, как мне казалось, силы, действующие в современной цивилизации духовно-затемняющим образом. Я видел в этом произведении серьезное предостережение от этих сил. Однако я испытывал и затруднения, связанные с правильной оценкой Гамерлинга. С появлением "Гомункула" затруднения эти в моей душе возросли. Я видел в Гамерлинге личность, которая в некотором роде сама была откровением времени. Я обращался к той эпохе, когда Гете и его последователи вознесли идеализм на достойную человека высоту. Я осознавал необходимость проникновения сквозь врата этого идеализма в истинный мир духа. Этот идеализм, который казался мне чудесным отблеском, падающим во внутреннее существо человека не из чувственного, а из духовного мира, ставил требование достичь того мира, отблеск которого мы ощутили.

Я любил Гамерлинга, обрисовавшего в столь могучих образах этот идеалистический отблеск. Но я был глубоко разочарован тем, что он остановился на этом, что взгляд его был меньше направлен вперед, на прорыв к новой форме истинного духовного мира, а все больше назад, на тень разбитой материализмом духовности.

И все же "Гомункул" привлекал меня. Он не показывал, как проникать в духовный мир, но зато описывал, куда приходит человек, если он желает действовать лишь в мире, лишенном духа.

Размышления над "Гомункулом" совпали для меня с тем временем, когда я начал задумываться над сущностью художественного творчества и красоты. То, что проходило тогда через мою душу, было изложено мной в небольшой книжке "Гете как отец новой эстетики"*; составленной на основе моего доклада в Венском Гетевском обществе. Я хотел найти причины того, что идеализм такой смелой философии, выражавшей себя столь убедительно в трудах Фихте и Гегеля, не мог все же проникнуть до живого духа. Одним из путей, которым я шел, чтобы выявить эти причины, было размышление над заблуждениями чисто идеалистической философии в области эстетики. Гегель и мыслившие подобно ему находили содержание искусства в чувственном проявлении "идеи". Когда "идея" проявляется в чувственной материи, она раскрывается как прекрасное. Таков был их взгляд. Но следующая за этим идеализмом эпоха не хотела более признавать реальность "идеи". И поскольку идея идеалистического мировоззрения, как она жила в сознании идеалистов, не указывала на духовный мир, то она не могла утвердиться у последующего поколения как нечто, имеющее реальную ценность. Так возникла "реалистическая" эстетика, видевшая в художественном произведении не проявление идеи в чувственном образе, а только чувственный образ, принимающий в художественном произведении, исходя из запросов человеческой природы, нереальную форму.

Существенным в художественном произведении я хотел видеть то, что явлено органам чувств. Но путь, по которому истинный художник идет в своем творчестве, является для меня путем к истинному духу. Художник исходит из чувственно воспринимаемого, но преобразует его. При этом он руководствуется не только субъективным стремлением, но старается придать чувственно явленному форму, которая выразит это чувственное так, будто здесь присутствует само духовное. Прекрасное есть не проявление идеи в чувственной форме, говорил я себе, но представление чувственного в форме духа. В бытии искусства я усматривал внедрение мира духа в чувственный мир. Истинный художник более или менее бессознательно признает себя причастным к духу. Необходимо только - снова и снова говорил я себе в то время - преобразить действующие в художнике и направленные на чувственную материю душевные силы в свободное от чувственного, чисто духовное созерцание, чтобы достичь познания духовного мира.

Истинное познание, проявление духовного в искусстве и нравственное воление в человеке соединились для меня в одно целое. В человеческой личности я видел некий центр, в котором личность непосредственно соединяется с изначальной сущностью мира. Из этого центра истекает воление. И если в нем действует ясный свет духа, то воление становится свободным. И тогда человек действует в согласии с духовностью мира, которая становится творческой не в силу необходимости, но через осуществление собственного существа. В этом центре человека рождаются - не из темных порывов, но из "моральных интуиции" - цели действий, из интуиции, которые сами по себе столь же прозрачны, как прозрачайшие мысли. Вот таким образом при помощи созерцания свободного воления хотел я найти дух, благодаря которому человек как индивидуальность существует в мире. Через ощущение истинно прекрасного я хотел узреть дух, действующий в человеке, когда он проявляет свою деятельность в чувственном таким образом, что его собственное существо не только выражается духовно, как свободное действие, но это его духовное существо изливается в мир, который хоть и происходит из духа, но не проявляет его непосредственно. Через созерцание истинного я хотел переживать дух, который раскрывается в своем собственном существе, чьим духовным отблеском является нравственный поступок, и к которому стремится художественное творчество через посредство чувственной формы.

Перед моей душой витала "Философия свободы", жизненное воззрение на жаждущий духа, стремящийся к красоте чувственный мир, духовное восприятие живого мира истины.

Это было в том же 1888 году, когда я был введен в дом евангелического пастора в Вене Альфреда Формея*. Раз в неделю здесь собирался круг артистов и писателей. Сам Альфред Формей выступал как поэт. Однажды Фриц Лемермайер дружески охарактеризовал его так: "Мечтательный, опьяненный верой в Бога и в высшее счастье, сердечно, с задушевным ощущением природы творит Альфред Формей в мягких и звучных аккордах. Кажется, он не касается твердой земли, но грезит и мечтает высоко в облаках". Таким был Альфред Формей и как человек. Придя в этот дом и застав сначала только хозяев дома, чувствуешь себя далеким от всего земного. Пастор был по-детски благодушен, но это благодушие естественным образом переходило в его нежной душе в лирическое настроение. Стоило ему произнести несколько слов, как тотчас же тебя окутывала атмосфера сердечности. Хозяйка дома сменила сценическое призвание на пасторский дом. В приветливой пасторше, с очаровательной грацией выступавшей навстречу гостям, никто не мог бы узнать прежней актрисы. За пастором она ухаживала прямо-таки по-матерински; в каждом ее слове, обращенном к нему, звучала материнская забота. Они оба обладали внушительным видом, который составлял контраст с их очаровательной душевной грацией. Гости вносили в отрешенное от мира настроение этого пасторского дома "мир"

всевозможных веяний духа. Время от времени здесь появлялась вдова Фридриха Геббеля*. Ее появление всякий раз означало праздник. Несмотря на преклонный возраст, она все еще владела искусством декламации, которое переполняло сердце восхищением и блаженством. Когда же Христина Геббель начинала что-то рассказывать, вся комната наполнялась душевным теплом.

На этих же вечерах у Формеев я познакомился с актрисой Вилльборн, интереснейшей личностью, обладавшей как декламатор отличным голосом. "Три цыгана" Ленау в ее исполнении каждый раз можно было слушать с новым удовольствием.

Вскоре случилось так, что круг, собиравшийся у Формея, стал собираться иногда и у Вилльборн. Но здесь все было по-другому. Те, кто в пасторском доме держались серьезно, здесь становились веселыми, жизнерадостными, откликались на юмор Фридриха Шлёгля*, когда этот "венский народный поэт" читал свои веселые рассказы. Однажды появилась его "статья" по поводу того, что в одном венском узком кругу ввели в обычай сжигать трупы умерших. В ней он рассказывал о том, как муж, несколько грубовато любивший свою жену, кричал ей всякий раз, когда ему что-то не нравилось: "Старуха, чтоб ты сгорела!". У Формея мы бы услышали по этому поводу рассуждения культурно-исторического толка, у Вилльборн же хохотали так, что трещали стулья. Формей, бывая у Вилльборн, имел вид светского человека; Вилльборн у Формея казалась аббатисой. Здесь можно было подробнейшим образом изучать способность человека меняться вплоть до выражения лица.

Бывала у Формея также и Эмилия Матайя, писавшая под псевдонимом Эмиль Марриот свои насыщенные убедительными жизненными наблюдениями романы. Чарующая личность, которая по-своему гениально, очень наглядно раскрывала, задевая за живое, все трудности человеческого бытия. Художник, умеющий изображать жизнь, которая ставит загадки в повседневности и обрушивает на людей трагическую судьбу.

Здесь часто выступал австрийский женский квартет Чемпас; не раз здесь Фриц Лемермайер мелодизировал геббелевского "Степного мальчика" под горячий аккомпанемент Альфреда Штрасса.

Я любил этот пасторский дом, где проявлялась благороднейшая человечность и где можно было найти столько тепла.

В этот лее период мне пришлось самым тщательным образом заниматься общественными делами Австрии. В 1888 году на короткое время мне было поручено редактирование "Дойче вохеншрифт"*. Журнал этот был основан историком Генрихом Фридьюнгом. Моя недолгая редакторская работа пришлась на то время, когда расхождения среди народностей Австрии приняли особо острый характер. Мне нелегко было каждую неделю писать статью о процессах в обществе. Ибо, в сущности говоря, я был так далек от какого-либо партийного понимания жизни, как это было только возможно. Меня интересовал ход развития культуры в прогрессе человечества. И вытекающую отсюда точку зрения приходилось разрабатывать так, чтобы, сохраняя ее в полной мере, не казаться все же в своих статьях "чуждым миру идеалистом". К этому прибавлялось то обстоятельство, что введенную тогда в Австрии министром Гаучем "реформу преподавания" я считал пагубной для интересов культуры.

Мои замечания в этой области показались однажды сомнительными даже Шрёэру, питавшему, однако, большие симпатии к различным партийным воззрениям. В противовес непедагогичным мероприятиям Гауча, я похвально высказался о порядках, еще в 50-х годах введенных для австрийских гимназий католически-клерикальным министром Лео Туном. Прочитав мою статью, Шрёэр сказал: "Вы что же, снова хотите иметь в Австрии клерикальную политику образования?"

Эта краткая редакционная деятельность все же имела для меня большое значение. Она обратила мое внимание на стиль, принятый тогда в Австрии при обсуждении общественных процессов. Стиль этот был мне глубоко несимпатичен. Мне хотелось внести в обсуждение этих вопросов нечто, заключающее в себе черты великих духовных и человеческих целей. Я ощущал их отсутствие в тогдашней прессе. И говорить об этом стало ежедневной моей заботой. Это доставляло мне много хлопот, ибо во мне не было сил, которые мог бы дать богатый жизненный опыт в этой области. Я был вовлечен в эту редакционную деятельность совершенно неподготовленным. Мне казалось, что я видел те направления, по которым должны развиваться различные области общественной жизни, но я не мог овладеть такой их формулировкой, которая была бы понятна читателям газет. И поэтому составление каждого еженедельного номера было для меня трудным испытанием.

Я почувствовал себя как бы освобожденным от тяжелой ноши, когда эта деятельность наконец подошла к концу благодаря какой-то коммерческой тяжбе, завязавшейся между тогдашним владельцем этого еженедельника и его основателем.

Эта работа привела меня, однако, к довольно близким отношениям с людьми, деятельность которых была связана с различными областями общественной жизни. Я познакомился с Виктором

Адлером*, непревзойденным лидером австрийских социалистов. В этом хилого сложения скромном человеке таилась энергичная воля. Когда он беседовал, к примеру, за столиком в кафе, у меня всегда возникало чувство: содержание того, о чем он говорит, незначительно, обыденно, но так говорит воля, которую ничем не сломить. Я познакомился также с Пернерсторфером*, пребывавшим в стадии перехода из немецкой национальной партии в социалистическую. Сильная личность, обладавшая обширными познаниями. Резкий критик недостатков общественной жизни, он издавал тогда ежемесячник "Дойче врте". От чтения этого журнала я получал очень многое. В обществе этих лиц я встречался и с людьми, которые стремились выдвинуть социализм на первый план как в научном, так и в партийном отношениях. Они побудили меня заняться Карлом Марксом, Фридрихом Энгельсом, Родбертусом и другими писателями социально-экономического направления. Но я никак не мог внутренне приблизиться к ним. Мне было больно выслушивать речи о том, что истинным двигателем истории человечества являются материально-экономические силы, а духовное есть лишь идеальная надстройка этого "реального" основания. Ибо я знал о реальности духовного. Утверждения теоретизирующих социалистов были для меня закрыванием глаз перед истинной действительностью. Но при этом мне было ясно, что социальный вопрос сам по себе имеет огромное значение. И трагизм времени виделся мне в том, что этим вопросом занимались лица, всецело захваченные материализмом современной цивилизации. Я считал, что правильная постановка именно этого вопроса возможна только из духовного миропонимания.

Итак, в двадцать семь лет я был полон "вопросов" и "загадок" относительно внешней жизни человечества, в то время как сущность души и ее отношение к духовному миру представляли перед моей душой как замкнутое в себе воззрение, принимающее все более определенные формы. Духовно я мог работать только исходя из этого воззрения. И работа эта все более принимала такое направление, которое несколько лет спустя привело меня к изложению моей "Философии свободы".

Глава девятая

На это же время (1889 год) приходится мое путешествие в Германию. Оно было вызвано приглашением участвовать в работе над веймарским изданием Гете, которую взял на себя по поручению Великой герцогини Саксонской Софии Гетевский архив. За несколько лет до этого умер внук Гете - Вальтер фон Гете; он завещал рукописное наследие Гете великой герцогине. Это наследие и было положено ею в основание Гетевского архива, а затем вместе с группой исследователей творчества Гете, во главе которых стояли Герман Гримм*, Густав фон Лепер* и Вильгельм Шерер*, было решено осуществить издание Гете, в котором все его известные сочинения были бы объединены с еще не опубликованным наследием.

Мои изыскания в сфере творчества Гете послужили поводом к тому, что мне предложили обработать для этого издания некоторую часть естественнонаучных трудов Гете. Для ознакомления с естественнонаучным наследием и подготовки меня к работе я и был приглашен в Веймар.

Мое продолжавшееся несколько недель пребывание в городе Гете стало праздником в моей жизни. В течение многих лет я жил в мире мыслей Гете, и вот теперь я находился в тех местах, где эти мысли возникли. Я провел эти недели, находясь под возвышенным впечатлением этого чувства.

День за днем я мог просматривать рукописи, содержащие дополнения к тому материалу, который мне довелось обработать для юршнеровского издания Гете в серии "Национальная литература".

Благодаря работе над этим изданием в моей душе возникла картина гетевского мирозерцания. Теперь же предстояло выяснить, насколько выдержана эта картина с учетом рукописей из еще не опубликованного наследия Гете в области естественных наук. С большим усердием я стал осваивать эту часть гетевского наследия.

И вскоре я смог убедиться, что еще не опубликованное является значительным подспорьем для более точного понимания гетевского познавательного метода.

В моих опубликованных до того времени трудах я рассматривал этот метод познания следующим образом. Я утверждал, что, согласно Гете, человек со своим обычным сознанием сначала далек от истинной сущности окружающего его мира. И отсюда вырастает стремление развить сначала в душе, до познания мира, познавательные силы, которые отсутствуют в обычном сознании.

С этой точки зрения для меня имело большое значение встретить в рукописях Гете пояснения в виде следующих: "Чтобы сколько-нибудь ориентироваться в этих различных родах (Гете подразумевает различные роды знания в человеке и его отношения к внешнему миру), разделим их на: пользующихся, познающих, созерцающих и объемлющих.

1. Пользующиеся, ищущие пользу, требующие ее являются первыми, которые как бы очерчивают область науки, берутся за практическое; сознание, основанное на опыте, дает им уверенность, потребность - известную широту.

2. Познающие нуждаются в спокойном, бескорыстном взгляде, в неутолимой жажде нового знания, в ясном рассудке; они всегда находятся в связи с первыми. Обрабатывают же они в научном смысле также лишь то, что им встречается.

3. Созерцающие проявляют уже продуктивность, и знание, само себя повышая, требует, незаметно для себя, созерцания и переходит в него; и как бы знающие ни отрешивались и ни зарекались от фантазии, они все же вынуждены, не успев спохватиться, прибегнуть к помощи продуктивного воображения.

4. Объемлющие, которых можно было бы назвать в более высоком смысле созидателями, проявляются в высшей степени продуктивно; тем именно, что они исходят из идеи, они уже высказывают единство целого, и до известной степени делом природы является подчиниться в дальнейшем этой идее".

Из подобных замечаний ясно: Гете придерживается взгляда, что человек с обычной формой сознания стоит вне сущности внешнего мира. Он должен перейти к другой форме сознания, если он стремится познавательным соединиться с этой сущностью. Во время моего пребывания в Веймаре во мне все решительнее вставал вопрос: как на познавательной основе, заложенной Гете, строить далее, чтобы, исходя в мышлении из его созерцательного метода, перейти к такому, который мог бы воспринять в себя духовный опыт как он открывался мне?

Гете исходил из того, что достигается на низших ступенях познания: это "ищущие пользу" и "познающие" знания. Эти знания в душе Гете наполнялись светом "созерцающих" и "объемлющих" знаний, которые благодаря продуктивной душевной силе могут бросить свет на содержание низших ступеней познания. Вступая с низшим знанием в душе в свет высшего созерцания и постижения, он чувствовал себя соединенным с сущностью вещей.

Но этим, конечно, еще не дано познавательное переживание в духе, но лишь указан к нему путь с одной стороны - с той, которая проистекает из отношения человека к внешнему миру. Мне было ясно, что удовлетворение может принести только постижение другой стороны, проистекающей из отношения человека к самому себе.

Может ли сознание, когда оно становится продуктивным, то есть прибавляет нечто от себя к ближайшим образам действительности, продолжать оставаться в реальном - или же ускользает от него, чтобы затеряться в нереальном? Необходимо понять, что же противостоит в "созданном" при помощи сознания - этому сознанию. Сначала нужно достичь согласия человеческого сознания с самим собой, и только после этого можно найти оправдание чисто духовного переживания. Такими путями текли мои мысли, принимая все более ясную форму, когда я сидел над рукописями Гете в Веймаре.

Было лето. Современная художественная жизнь в Веймаре не привлекала к себе внимания. Можно было спокойно предаваться искусству, которое являлось здесь как бы памятником деятельности Гете. Мы жили не в настоящем, мы были перенесены в гетевские времена. Настоящее же характеризовалось тогда в Веймаре временем Листа, однако его представителей в Веймаре тогда не было.

Время после работы я проводил с людьми, работавшими в архиве. Среди них были сотрудники, приехавшие сюда на короткое или на длительное время. Чрезвычайно любезно я был принят директором архива Бернардом Зуфаном*, а в лице Юлиуса Вале*, постоянного сотрудника архива, приобрел хорошего друга. Однако все это приняло более конкретные формы год спустя, когда я поступил в архив на более продолжительное время; об этом будет сказано позже, при описании этого периода моей жизни.

Более всего я стремился к личному знакомству с Эдуардом фон Гартманом, с которым мы уже несколько лет обменивались письмами на философские темы. Встреча произошла во время моего кратковременного посещения Берлина, сразу после пребывания в Веймаре.

Я имел возможность долго беседовать с ним о философии. Он полулежал, вытянув ноги, на диване. В таком положении, из-за болезни колена, он провел большую часть своей жизни. Взор мой остановился на его челе, на котором лежал отчетливый отпечаток ясного острого ума. Глаза его свидетельствовали о внутренне прочувствованной уверенности в знании. Густая борода обрамляла лицо. Его слова выражали уверенность, которая давала понять, что он обладает некоторыми основополагающими мыслями о всеобщей картине мира, которую он по-своему и

освещал. Подвергалось критике все, что исходило из других воззрений. Я сидел напротив него, когда он резко критиковал меня, однако внутренне он меня не слушал. Сущность вещей лежала для него в бессознательном и должна была навсегда остаться там, скрытая от человеческого сознания; для меня же бессознательное было тем, что усилиями душевной жизни может быть поднято и доведено до сознания. В ходе беседы я сказал: "Все же не следует заранее видеть в представлении нечто отдельное от реального и представляющее в сознании лишь нереальное. Подобный взгляд не может быть исходной точкой теории познания, ибо он закрывает доступ ко всякой реальности, и остается только верить, что человек живет в представлениях и что к реальности можно приблизиться лишь через гипотетические представления, то есть нереальным образом. Скорее здесь прежде всего следует проверить, имеет ли подобный взгляд на представление, как на нечто нереальное, какую-либо значимость, или же он вытекает только из предвзятости". Эдуард фон Гартман возразил на это: "Об этом нечего и говорить, уже само слово "представление" говорит о том, что в нем не дано ничего реального". Меня охватил какой-то душевный озноб, когда я услышал это. Серьезнейшая исходная точка жизневоззрений выводится просто из объяснения слова! Я ощутил, как все же я далек от современной философии. Этот душевный озноб повторился, когда я уже сидел в вагоне, отправляясь в дальнейшее путешествие, и предавался мыслям и воспоминаниям об этом все же ценном для меня посещении. И так не раз было впоследствии.

За исключением визита к Эдуарду фон Гартману, мои короткие посещения Берлина и Мюнхена во время путешествия по Германии после Веймара были насыщены художественными впечатлениями. Расширение моего кругозора в этом направлении я ощущал как особое обогащение моей душевной жизни. И это первое большое путешествие, которое мне удалось совершить, имело большое значение и для моих взглядов на искусство. Во мне жило множество впечатлений, когда вскоре после этого путешествия я остановился на несколько недель в Зальцкаммергуте, в семье моих учеников, которым я преподавал уже много лет. Моя внешняя деятельность и далее часто состояла в репетиторстве. Внутренне ее поддерживало еще и то, что мне хотелось довести до определенного пункта жизненного развития того мальчика, воспитание которого мне было поручено и совершенно дремавшую душу которого мне удалось пробудить.

После возвращения в Вену мне вскоре представилась возможность общаться в кругу людей, группировавшихся вокруг одной дамы, душевный мистически-теософский настрой которой производил на всех участников этого круга глубокое впечатление. Часы, проведенные мной в доме этой дамы, Марии Ланг*, были для меня очень ценными. Присущая ей серьезность в понимании и ощущении жизни проявлялась в ней благородно и красиво. Ярко и проникновенно говорила она о своих глубоких душевных переживаниях. В мистических исканиях, во внутренней борьбе с собой и с миром она пыталась найти некоторое, пусть даже и не полное, удовлетворение. Она была словно создана для того, чтобы стать душой круга ищущих. В круг этот проникала теософия, исходившая в конце прошлого столетия от Е. П. Блаватской. Франц Гартман*, ставший знаменитым в широких кругах благодаря своим многочисленным теософским сочинениям и отношениям с Е. П. Блаватской, ввел теософию и в этот круг. Многие из нее было воспринято Марией Ланг. Мысли, которые она находила в теософии, во многих отношениях соответствовали ее душевному строю. Однако все, что воспринимала она с этой стороны, лишь внешне касалось ее. В себе самой она несла мистическое благо, которое естественным образом поднималось к сознанию из выдержавшего жизненные испытания сердца.

Архитекторы, литераторы и другие лица, которых я встречал в доме Марии Ланг, едва ли заинтересовались бы теософией в изложении Франца Гартмана, если бы не проявила интерес к теософии сама Мария Ланг. Меньше всего заинтересовался бы я сам. Ибо то отношение к духовному миру, которое выражалось в сочинениях Франца Гартмана, было совершенно противоположно моему духовному направлению. Я не мог согласиться с тем, что оно проникнуто действительной внутренней истиной. Меня занимало не столько его содержание, сколько то, как оно влияло на действительно ищущих людей.

Через Марию Ланг я познакомился с Розой Майредер*, с которой та была дружна. Роза Майредер принадлежит к тем людям, к которым я питал в своей жизни глубочайшее почтение и к ходу развития которых проявлял живой интерес. Я отлично представляю себе, что все, о чем я буду здесь говорить, едва ли принесет ей удовлетворение, но именно таким образом я ощущаю то, что благодаря ей вошло в мою жизнь. Из сочинений Розы Майредер, которые впоследствии произвели столь большое и вполне оправданное впечатление на множество людей и которые несомненно отводят ей выдающееся место в литературе, в момент нашего знакомства еще ничего не было опубликовано. Однако то, что раскрывалось в ее произведениях, жило в самой Розе Майредер в духовной форме, к которой я относился с огромной внутренней симпатией. Эта женщина производила на меня впечатление, как если бы каждым из отдельных человеческих

душевных даров она обладала в той мере, чтобы в своем гармоничном совместном действии они давали истинное выражение человеческого. Различные художественные способности соединяются в ней со способностью свободного, пронизательного наблюдения. Ее живопись отличается индивидуальным подходом к жизни и вместе с тем глубоким проникновением в объективный мир. Рассказы, которыми она начала свою литературную карьеру, это законченная гармония, сплетенная из внутренней борьбы и объективного наблюдения. Ее последующие сочинения все более носят подобный характер. Яснее всего проступает это в ее двухтомном сочинении, появившемся позднее, - в "Критике женственности". Те часы, которые я провел с Розой Майредер в годы ее исканий и душевной борьбы, я считаю прекрасным приобретением моей жизни.

Здесь я вновь должен обратиться к тем отношениям, которые возникали у меня с людьми - по ту сторону содержания мыслей и, в известном смысле, совершенно независимо от них - и которые переживались мной очень интенсивно. Ибо мое мировоззрение, а еще более направление моего восприятия отличались от мировоззрения Розы Майредер. Ее не может привлекать то, как исходя из современной признанной научности я поднимаюсь к переживанию духовного. Она пытается применить эту научность для обоснования идей, нацеленных на полное развитие человеческой личности, не позволяя развиваться в этой личности познанию чисто духовного мира. То, что относительно этих вещей является для меня необходимостью, не говорит ей ничего. Она полностью отдается требованиям непосредственно человеческой индивидуальности и не обращает внимания на действующие в этой индивидуальности духовные силы. Этот метод позволил ей достичь значительного уровня изображения женщины и выразить ее жизненные запросы.

Мое отношение к искусству, как Роза Майредер его себе представляла, ее никогда не удовлетворяло. Она считала, что я недооцениваю собственно художественный элемент, тогда как, напротив, я именно стремился понять это специфически художественное посредством того, что возникало в моей душе при переживании духовного. Она полагала, что я не способен достаточно вникать в откровения чувственного мира и поэтому не могу приблизиться к настоящему искусству, в то время как я именно стремился проникнуть в истинность чувственных форм.

Однако все это отнюдь не умаляло искреннего дружеского участия, которое я питал к этой личности; я обязан ей ценнейшими часами моей жизни, и участие это не уменьшилось и до сих пор.

В доме Розы Майредер я часто мог участвовать в беседах, на которые собирались люди, отличавшиеся благородством и умом. Здесь тихо присутствовал Гуго Вольф*, который, казалось, был больше углублен в себя, чем прислушивался к другим. Розу Майредер связывала с ним тесная дружба. Он говорил мало, но душа внимала ему. Ибо то, что он переживал, таинственным образом передавалось тем, кто общался с ним.

С искренней любовью относился я к мужу Розы Майредер, Карлу Майредеру* - чрезвычайно тонкому человеку с развитым художественным вкусом, а также к его брату Юлиусу, энтузиасту в искусстве. Часто здесь можно было встретить Марию Ланг и ее круг, а также Фридриха Экштейна*, всецело поглощенного теософским духовным течением и мировосприятием.

В этот период в моей душе все более определенные формы принимала моя "Философия свободы". Роза Майредер - это та личность, с которой я больше всего говорил об этих формах в период становления моей книги. Она сняла с меня часть внутреннего одиночества, которое я тогда переживал. Она стремилась к узрению непосредственной человеческой личности, я же - к откровению мира, к которому может душевно стремиться эта личность через посредство раскрывающегося духовного ока. Между тем и другим существовало много мостов. И часто в дальнейшей жизни в моей благодарной памяти духовно вставала та или иная картина переживаний, такая, как, например, наша прогулка по чудесным альпийским лесам и наш разговор об истинном смысле человеческой свободы.

Глава десятая

Когда я оглядываюсь на пройденный мной путь, первые три десятилетия моей жизни представляются мне законченным в себе отрезком. В конце этого периода я переселился в Веймар и в продолжение почти семи лет работал в Гете-Шиллеровском архиве. Время, проведенное мной в Вене между описанным путешествием в Веймар и переездом в город Гете, внутренне побудило меня до известной степени завершенности то, к чему в то время стремилась моя душа. Речь идет о работе над моей "Философией свободы".

Существенной особенностью круга идей, через которые я выражал тогда мои воззрения, было то, что для меня чувственный мир не являлся истинной действительностью. В опубликованных мной статьях и книгах я высказывал мысль, что человеческая душа, осуществляющая мышление, которое она извлекает не из чувственного мира, но развивает его в свободной, выходящей за пределы чувственного восприятия деятельности, предстает как истинная действительность. Это "свободное от чувственного" мышление я представлял как то, с чем душа пребывает в духовной сущности мира.

Но я особо подчеркивал, что человек, живущий в этом свободном от чувственного элемента мышлении, пребывает, реально осозная это, в духовных подосновах бытия. Разговоры о границах познания не имели для меня никакого смысла. Познавать - значило для меня вновь находить в воспринимаемом мире пережитое душой духовное содержание. Если кто-то говорил о границах познания, то я видел в этом лишь признание невозможности духовно пережить в себе истинную действительность, а, следовательно, и невозможности вновь обрести ее и в воспринимаемом мире.

При изложении собственных воззрений самым главным для меня являлось поэтому опровержение воззрения о границах познания. Я отвергал тот путь познания, который, рассматривая чувственный мир, стремится затем проникнуть сквозь него наружу - к некой истинной действительности. Я хотел указать на то, что истинную действительность следует искать, не пробиваясь вовне, а погружаясь во внутреннее существо человека. О границах познания говорит тот, кто пытается пробиться вовне и видит затем, что это невозможно. Но невозможно это не потому, что ограничена человеческая способность познания, а потому что ищут чего-то, о чем при надлежащем осознании невозможно даже говорить. Желая затем далее углубиться в чувственный мир, за воспринимаемым ищут как бы продолжение чувственного. Это похоже на то, как если бы живущий в иллюзиях искал в дальнейших иллюзиях причины своих иллюзий.

Смысл моих представлений был таков: человек, развиваясь в своем земном бытии от момента рождения и далее, подходит к миру познавательно. Сначала им достигается чувственное восприятие. Но это лишь преддверие познания. В этом восприятии открывается еще не все, что существует в мире. Мир - это нечто сущностное; но человек не может с самого начала достичь этой сущности. Он еще замкнут в себе. Он составляет себе картину мира, в которой отсутствует сущность, потому что он еще не противопоставляет миру свое собственное существо. Такая картина мира в действительности является иллюзией. Воспринимая чувственно, человек стоит перед миром как перед иллюзией. Но когда к чувственному восприятию присоединяется из его внутреннего существа свободное от чувственного элемента мышление, тогда иллюзия пропитывается действительностью и перестает быть иллюзией. И тогда происходит встреча переживающего себя в своей внутренней сущности человеческого духа с Мировым духом, который для человека отныне не сокрыт за чувственным миром, но пребывает и творит в этом чувственном мире.

Обретение духа в мире - это было для меня не фактом логического заключения или продолжением развития чувственного восприятия, а результатом того, что человек развивается от восприятия мышления, свободного от чувственного элемента, до его переживания.

Подобными воззрениями проникнуто то, что я писал в 1888 году во втором томе осуществленного мной издания естественнонаучных трудов Гете: "Кто признает за мышлением присущую ему способность восприятия, выходящую за пределы чувственного, тот должен с необходимостью признать за ним и объекты, находящиеся за пределами одной лишь чувственной действительности. Но объекты мышления суть идеи. Мышление, овладевая идеей, сливается с первоосновой мирового бытия; то, что действует вовне, входит в дух человека: он соединяется с объективной действительностью в ее высшей потенции. Узрение идеи в действительности есть истинное причастие человека. Мышление по отношению к идее имеет то же значение, что глаз по отношению к свету, ухо по отношению к звуку. Оно есть орган восприятия" (ср. Введение к естественнонаучным трудам Гете в юршнеровской "Немецкой национальной литературе", т. 2).

Изображать духовный мир таким, каким он является, когда свободное от чувственного элемента мышление через переживание самого себя развивается до духовного восприятия, казалось мне тогда менее важным. Скорее мне хотелось показать, что сущностью природы, данной в чувственном восприятии, является духовное. Природа поистине духовна, - вот что стремился я выразить.

Основанием для этого служило то, что судьба сталкивала меня со специалистами по теории познания современной мне эпохи. В предпосылках этих последних природа представлялась лишенной духа. Их задачей было поэтому выяснить, вправе ли человек создавать в своем духе духовный образ природы. Я же противопоставлял этому совершенно иную теорию познания. Я

хотел показать, что, мысля, человек не создает образы о природе, как некто, находящийся вне ее, но что познание - это переживание и человек, познавая, пребывает в сущности вещей.

Связать мои собственные воззрения с воззрениями Гете было моей дальнейшей судьбой. И хотя это дает многократную возможность указать на духовность природы, ибо Гете сам стремился к духовному воззрению на нее, однако не представляется возможности говорить о чисто духовном мире как таковом, ибо духовное воззрение на природу не доведено у Гете до непосредственного узрения духа.

Далее мне было важно выразить идею свободы. Человек, действующий из инстинктов, порывов, страстей и т. д., несвободен. Импульсы, которые он осознает таким же образом, как впечатления чувственного мира, определяют затем его поступки. Но здесь также действует не его истинное существо. Человек находится на той ступени, на которой еще не проявляется это его истинное существо. Как человек он раскрывается при этом столь же мало, как мало раскрывается простому чувственному наблюдению сущность чувственного мира. Но в действительности чувственный мир не является иллюзией, это человек делает его таковым. Своими поступками человек может реализовать иллюзии чувственных порывов, вожделений и т. д.; тогда он дает действовать в себе иллюзорному, но действует здесь не он сам. Он дает действовать недуховному. Его духовное начало проявляет свое действие только тогда, когда в области свободного от чувственного элемента мышления он находит импульсы для своих поступков в виде моральных интуиции. Тогда он действует сам, а не что-либо иное. Тогда он - свободное, действующее из самого себя существо.

Я хотел показать, что тот, кто отрицает свободное от чувственного элемента мышление как чисто духовное начало в человеке, никогда не может прийти к понятию свободы; но это понимание наступает тотчас же, как только прозревают реальность мышления, свободного от чувственного элемента.

В этой области я также исходил не столько из желания представить чисто духовный мир, в котором человек переживает свои моральные интуиции, сколько из того, чтобы подчеркнуть духовный характер самих этих интуиции. Если бы мне было важно первое, я должен был бы начать главу "Моральная фантазия" в моей "Философии свободы" следующим образом: "Свободный дух действует, следуя своим импульсам; это суть интуиции, которые переживаются им вне природного бытия в чисто духовном мире, причем этот духовный мир не осознается им в обыкновенном сознании". Но тогда для меня было важно охарактеризовать лишь чисто духовный характер моральных интуиции. Поэтому я указывал на существование этих интуиции в совокупности с миром человеческих идей. "Свободный дух, - говорил я, - действует, следуя своим импульсам; это суть интуиции, выбранные мышлением из всего мира его идей". Тот, кто не прозревает чисто духовный мир, кто не мог бы, следовательно, написать первое положение, тот не может полностью признать и правильность второго. В моей "Философии свободы" молено найти достаточно указаний на первое положение, например: "Высшей ступенью индивидуальной жизни является понятийное мышление, не считающееся с определенным содержанием восприятия. Мы определяем содержание какого-либо понятия при помощи чистой интуиции, исходя из идеальной сферы. Подобное понятие не имеет сначала никакого отношения к определенным восприятиям". Здесь речь идет о "чувственных" восприятиях. Если бы я имел тогда намерение писать о духовном мире, а не только о духовном характере моральных интуиции, то я должен был бы принять во внимание противоположность между чувственным и духовным восприятием. Но мне важно было подчеркнуть лишь нечувственный характер моральных интуиции.

В таком направлении развивался мир моих идей, когда вступлением в Веймарский период заканчивалась на тридцатом году первая эпоха моей жизни.

Глава одиннадцатая

В конце первого периода моей жизни в моей душе возникла необходимость найти ясно выраженное отношение к определенным направлениям деятельности человеческой души. Одним из таких направлений была мистика. Но в том виде, в каком она являлась моему душевному зрению в различные эпохи духовного развития человечества: в восточной мудрости, в устремлениях каббалы, в неоплатонизме, в христианском средневековье, - мне было довольно трудно, в силу моей особой предрасположенности, выработать к ней отношение.

Мистик казался мне человеком, который не может ориентироваться в мире идей, в котором живет духовное. Я ощущал это как недостаток истинной духовности, когда для достижения душевного удовлетворения хотят погрузиться вместе с идеями в свое лишенное идей внутреннее существо. Я не мог видеть в этом путь к свету, а видел скорее путь к духовной тьме. Если душа

стремится достигнуть духовной реальности (которая хотя и не действует сама в идеях, но позволяет человеку переживать себя через идеи) и при этом избегает идей - это казалось мне проявлением бессилия в познании.

И все же в мистических устремлениях человечества было для меня нечто привлекательное - это род внутреннего переживания мистиков. Они хотят жить в своем внутреннем существе вместе с источниками человеческого бытия, а не взирать на них как на нечто внешнее при помощи наблюдений, опирающихся на идеи. Но мне было также ясно, что подобного рода внутреннее переживание достигается тогда, когда человек вместе с полным, ясным содержанием мира идей погружается в подосновы души, а не отбрасывает это содержание при этом погружении. Я стремился внести свет мира идей в теплоту внутреннего переживания. Мистик представлялся мне таким человеком, который не в состоянии узреть дух в идеях. И поэтому он внутренне застывает, соприкасаясь с ними. Холод, переживаемый им от соприкосновения с идеями, вынуждает его искать теплоту, в которой нуждается душа, через избавление от идей.

Для меня же внутренняя теплота душевного переживания возникала тогда, когда я запечатлевал неопределенное сначала переживание духовного мира в определенных идеях. Я часто говорил себе: как могут не признавать мистики ту теплоту, ту душевную интимность, которую ощущает человек при общении с пропитанными духом идеями! Для меня эта совместная жизнь с идеями всегда была как бы личным общением с духовным миром.

Мистик укрепляет позицию материалистически настроенного наблюдателя природы, а не ослабляет ее. Этот последний отвергает рассмотрение духовного мира, потому что он либо вообще не признает его, либо полагает, что человеческое познание пригодно лишь для чувственно зримого. Он ставит границы познанию там, где таковыми характеризуется чувственное восприятие. В отношении человеческого познания посредством идей обычный мистик является единомышленником материалиста. Он утверждает, что идеи не достигают духовного и потому человек, прибегающий в познании к идеям, всегда остается вне духовного. Но поскольку он все же стремится прийти к духу, то он и обращается к свободному от идей внутреннему переживанию. И ограничивая такое идее-познавание познанием лишь природных явлений, он тем самым как бы признает правоту материалистического наблюдателя природы.

Но если человек углубляется в свое душевное существо, не допуская туда идеи, то он достигает лишь внутренней области чувствования. И тогда начинают говорить о том, что духовного невозможно достичь на том пути, который в обычной жизни называют путем познания, что для переживания духовного нужно из сферы познания погрузиться в сферу чувств.

Материалистический наблюдатель природы может согласиться с подобными воззрениями, если, конечно, он не рассматривает все эти разговоры о духе как некую фантастическую игру слов, не обозначающих ничего реального. Он видит тогда в своем мире идей, направленном на чувственно воспринимаемое, единственно справедливую основу познания, а в мистическом отношении человека к духу - нечто сугубо личностное, к которому либо склоняются, либо нет, в зависимости от предрасположения, но о чем, во всяком случае, нельзя говорить как о содержании некоего "достоверного познания". И отношение человека к духовному он всецело приписывает "субъективному чувству".

Проводя все это перед своим душевным оком, я все более укреплял в своей душе силы, находившиеся во внутренней оппозиции к мистике. Созерцание духовного во внутреннем душевном переживании было для меня гораздо достовернее созерцания чувственно воспринимаемого; ставить границы познания этому душевному переживанию было для меня невозможно. Простой путь к духовному через чувства я решительно отвергал.

И все же, рассматривая способ переживания мистика, я всегда ощущал нечто отдаленно родственное моему собственному отношению к духовному миру. Я искал общения с духом при помощи освещенных духом идей таким же образом, как это делает мистик без их посредства. О своем воззрении я мог бы сказать, что оно также покоится на "мистическом" переживании идей.

Придать этому душевному конфликту ясность в собственном внутреннем существе, разрешающую его окончательно, не представляло особого затруднения, ибо истинное узрение духовного бросает свет на область значимости идей и указывает личностному его границы. Наблюдатели духовного знают, что в человеке перестает действовать личностное, когда сущность души превращается в орган видения духовного мира.

Здесь, однако, возникло затруднение, ибо мне нужно было найти для моих книг форму выражения моих созерцаний. Ведь невозможно тотчас же найти новую форму, чтобы выразить наблюдения, столь необычные для читателя. Я стоял перед выбором: или придать тому, что я считал необходимым выразить, форму, применяемую обычно в сфере естествознания, или использовать ту форму, к которой прибегают писатели, склоняющиеся к мистическим восприятиям. Мне казалось, что при использовании последней эти затруднения не исчезнут.

Я пришел к выводу, что формы выражения, применяемые в естествознании, отличаются богатым содержанием идей, даже если это содержание сначала материалистическое. Я хотел создавать идеи, которые указывали бы на духовное таким же образом, как естественнонаучные идеи указывают на чувственно воспринимаемое. Благодаря этому мне удалось бы сохранить характер идей для всего того, что я должен был выразить. В случае использования мистических форм подобное казалось мне невозможным, ибо эти последние не указывают на то, что реально существует вне человека, а лишь описывают субъективные переживания в человеке. Я же стремился описывать не человеческие переживания, а показать, как благодаря духовным органам в человеке раскрывается духовный мир.

Из таких подоснов создавались образы тех идей, которые впоследствии взрастили мою "Философию свободы". Создавая эти идеи, я не хотел дать действовать в себе каким-либо мистическим порывам, хотя мне было ясно, что переживание того, что должно раскрыться в идее, во внутреннем существе души подобно внутреннему восприятию мистика. Различие здесь в том, что при моем способе представления человек как бы отрекается от себя и приводит внешний духовный мир к объективному проявлению в себе, тогда как мистик усиливает собственную внутреннюю жизнь и вследствие этого гасит истинный образ объективно духовного.

Глава двенадцатая

Изложение естественнонаучных идей Гете для предисловий к изданиям кюршнеровской "Немецкой литературы" заняло много времени. Я начал эту работу в начале 80-х годов, и она не была еще завершена, когда я вступил во второй период своей жизни, переехав из Вены в Веймар. Причина этого лежала в упомянутых выше затруднениях, касающихся естественнонаучного и мистического способов выражения.

Работая над приданием правильной формы мыслям, поясняющим гетевскую точку зрения на естествознание, я должен был найти форму выражения также для тех духовных переживаний, которые представали перед моей душой при созерцании мировых процессов. От Гете меня постоянно влекло к изложению своего собственного мировоззрения, а затем снова к нему, чтобы при помощи приобретенных мыслей лучше изложить мысли самого Гете. Я ощущал, что самым существенным у Гете было его нежелание удовлетворяться каким-либо теоретически легко обозрешимым мысленным построением относительно познания неизмеримо богатой действительности. Гете становится рационалистичным, когда он описывает разнообразные формы растений и животных. Желая постичь геологическое строение Земли или явления метеорологии, он стремится к идеям, действенным в процессе становления природы. Но его идеи - это не абстрактные мысли, а живущие в душе на мыслительный лад образы.

Когда я схватывал то, что Гете в своих естественнонаучных трудах вкладывал в эти образы, передо мной вставало нечто, удовлетворявшее меня до самой глубины души. Я взирал на некое идее-образное содержание, которое приводило меня к мысли, что оно - взятое в дальнейшем осуществлении - выражает истинное отражение природных свершений в человеческом духе. Мне стало ясно, что господствующий естественнонаучный образ мыслей должен возвыситься до гетевского.

Однако в подобном восприятии гетевского природо-познания заключалось и требование дать представление о самом существе этого содержания идей-образов в отношении к духовной действительности. Идеи-образы правомерны только тогда, когда они указывают на такую духовную действительность, которая лежит в основе чувственной. Однако Гете - в благоговении перед неизмеримым богатством действительности - избегает подходить к изображению духовного мира и после того, как чувственное он довел в своей душе до одухотворенного образа.

Теперь я должен был показать, что если Гете и мог жить душевно, пробиваясь с помощью познания от чувственной природы к духовной, то другой человек лишь тогда сможет вполне постичь душевную жизнь Гете, если сам, превзойдя его, доведет познание до восприятия духовного мира в идеях.

Говоря о природе, Гете пребывал в духе. Он боялся стать абстрактным, если после этого живого пребывания в духе он перешел бы затем к жизни в мыслях об этом пребывании. Он желал ощущать себя в духе, но не желал мыслить себя в духе.

У меня часто возникало ощущение, что я как бы изменяю гетевскому образу мыслей, излагая мысли о его мирозерцании. И для каждой подробности, связанной с интерпретацией Гете, мне всякий раз приходилось овладевать новым методом, чтобы говорить о Гете в духе самого Гете.

Мое изложение гетевских идей явилось итогом многолетней борьбы за лучшее понимание Гете при помощи его же собственных мыслей. И, оглядываясь назад на эту борьбу, я должен

признаться, что обязан ей многим в развитии моих духовных познавательных переживаний. Развитие это протекало гораздо медленнее, чем в том случае, если бы судьба не уготовила на моем жизненном пути работу над изданием Гете. Я следовал бы тогда за своими духовными переживаниями и излагал бы их именно так, как они вставали передо мной. В духовный мир я был бы вовлечен раньше, но у меня не было бы повода погружаться, прилагая усилия, в собственное внутреннее существо.

Так, благодаря работе над изданием трудов Гете я пережил различие между душевной организацией, которой духовный мир открывается некоторым образом как благодать, и такой, которая сначала шаг за шагом в своем внутреннем существе уподобляется духу, чтобы затем, когда душа будет переживать себя как истинный дух, оказаться в самой духовной сущности мира. Только тогда человек начинает ощущать, как тесно в человеческой душе могут срастись человеческий дух и мировая духовность.

Когда я работал над моей интерпретацией Гете, он в духе всегда был рядом со мной, как бы предупреждая меня и беспрестанно взывая: кто слишком быстро продвигается на духовном пути, тот хотя и может достичь узко ограниченного переживания духа, но он вступает в содержание действительности обедненным и оказывается за пределами богатств жизни.

В связи с моей работой над Гете я имел возможность наглядно наблюдать, "как действует карма в человеческой жизни". Судьба слагается из двух факторов, срастающихся в человеческой жизни в одно целое. Один из них проистекает из устремления души изнутри вовне, другой подступает к человеку из внешнего мира. Мои собственные душевные стремления были направлены к узрению духовного; внешняя духовная жизнь мира уготовила мне работу над трудами Гете. Мне нужно было оба этих течения, которые сталкивались в моем сознании, привести в нем к гармонии. Последние годы первого периода моей жизни я провел, попеременно оправдывая себя - то перед Гете, то перед самим собой.

Задача, поставленная мной в работе на степень доктора "О достижении согласования человеческого сознания с: самим собой", была пережита внутренне. Ибо я видел, что человек лишь тогда в состоянии понять, чем является истинная действительность во внешнем мире, когда он прозреет эту истинную действительность в самом себе.

Эта встреча истинной действительности внешнего мира с истинной действительностью внутри души должна быть завоевана для познающего сознания при помощи живой духовной внутренней деятельности; последняя всегда налицо для волящего и деятельного сознания, если человек ощущает свою свободу в действии.

То, что свобода живет в непредвзятом сознании как факт и, несмотря на это, является загадкой для познания, основано на том, что человеку с самого начала не дано его собственное истинное бытие, истинное самосознание; оно должно быть завоевано им после достижения согласия его сознания с самим собой. Наибольшая ценность человека - свобода - может быть постигнута только после соответствующего приготовления.

Моя "Философия свободы" основана на переживании, состоящем в согласовании человеческого сознания с самим собой. В волеии упражняют свободу, в чувстве она переживается, в мышлении она познается. Но только для достижения этого не следует утрачивать жизнь в мышлении.

Во время работы над "Философией свободы" моей постоянной заботой было сохранить при изложении моих мыслей живое, бодрствующее внутреннее переживание, охватывающее эти самые мысли. Это придает им мистический характер внутреннего созерцания, а также делает это созерцание подобным внешнему чувственному созерцанию мира. При достижении такого внутреннего переживания более не ощущается разницы между природо-познанием и духо-познанием. И тогда приходят к пониманию того, что второе есть лишь метаморфизированное продолжение первого.

Благодаря пониманию этого я мог впоследствии выставить на заглавном листе моей "Философии свободы" следующее мотто: "Результаты душевных наблюдений по естественнонаучному методу". Ибо если в области духа тщательно придерживаться естественнонаучного метода, то в процессе познания он непременно приведет в эту область.

Большое значение имело для меня в этот период тщательное изучение гетевской сказки о "Зеленой змее и прекрасной лилии", которой заканчиваются его "Беседы немецких эмигрантов". Эта "загадочная сказка" имела много толкователей. Для меня не было важным разъяснение содержания сказки, которое я просто принимал в его поэтически-художественной форме. Распылять творческую фантазию рассудочными объяснениями мне всегда казалось малопривлекательным.

Я видел, как создавалось это произведение Гете из его духовного общения с Шиллером. Шиллер в период создания своих "Писем об эстетическом воспитании человека" переживал философскую эпоху своего духовного развития. "Согласование человеческого сознания с самим собой" - это та

задача души, которая более всего занимала его. Он видел, что человеческая душа, с одной стороны, всецело отдается деятельности разума. Он чувствовал, что душа, действующая в сфере чистого разума, не зависит от телесно-чувственного. Но подобного рода сверхчувственная деятельность все же не удовлетворяла его. Душа пребывает "в духе", когда она отдается "логической необходимости" разума, но при этом она не является ни свободной, ни внутренне духовно подвижной. Она отдается абстрактному теневому образу духа, но в жизни и бытии духа она не проявляет деятельности. С другой стороны, Шиллер замечал, как душа, развивая противоположную деятельность, всецело отдается телесному началу - чувственным восприятиям и инстинктивным побуждениям. И тогда в ней утрачивается влияние духовного теневого образа и она отдается закономерностям природы, ничего не значащим для ее существа.

Шиллер пришел к воззрению, что в обоих случаях человек не является "истинным человеком". Однако он может сам достичь того, что не дано ему ни природой, ни разумной, проявляющейся без его участия тенью духа. В чувственную деятельность он может внести разум; и он может возвысить чувственное до более высокой сферы сознания, так что оно будет действовать как духовное. Так достигает он срединного настроя между логическим и природным принуждением. Шиллер видит, что человек находится в подобном настрое, когда он занимается искусством. Эстетическое постижение мира обращено на чувственное, но таким образом, что оно находит в нем дух. Оно живет в тени духа, но придает духу в процессе творчества чувственный облик, так что дух утрачивает свое теневое бытие.

Задолго до этого стремление Шиллера к узрению "истинного человека" вставало перед моей душой; теперь же, когда гетевская "сказка-загадка" стала загадкой для меня самого, оно снова возникло передо мной. Я видел, как воспринял Гете шиллеровское представление об "истинном человеке". Его не менее, чем его друга, волновал вопрос: как теневое отображение духовного в душе находит чувственно-телесное и как природное в физическом теле возвышается до духовного?

Переписка между друзьями - Гете и Шиллером - и все, что можно знать об их духовном общении, свидетельствует о том, что шиллеровское решение было для Гете слишком абстрактным, слишком односторонне-философским. Он противопоставил ему очаровательные образы реки, разделяющей два мира, блуждающих огней, ищущих путь из одного мира в другой, змеи, которая должна пожертвовать собой, чтобы образовать мост между обоими мирами, "прекрасной лилии" по "ту сторону" реки, которую жители "этой стороны" предощущают как пребывающую в духе, и многое другое. Шиллеровскому философскому решению он противопоставил сказочно-поэтическое воззрение. Гете чувствовал, что приближение к воспринятой Шиллером загадке души при помощи философских понятий обедняет человека в его поисках своего истинного существа; он хотел приблизиться к этой загадке в сфере душевных переживаний.

Сказочные образы Гете указывают на имажинации, встававшие перед искателями духовных переживаний души еще задолго до Гете. Некоторое подобие трем королям сказки можно найти в "Химической свадьбе Христиана Розенкрейца"*. Другие образы - это повторение образов, которые в прежние времена являлись человеку, идущему по пути познания. Но у Гете эти образы даны в прекрасной и благородной художественно-поэтической форме, тогда как в прошлом им не доставало этого.

В этой сказке Гете довел творческое воображение до той границы, за которой оно переходит во внутренний душевный процесс, который является познавательным переживанием истинных духовных миров. Мне казалось, что, углубляясь в это произведение, можно глубже заглянуть в душу Гете.

Для меня было важно не объяснение сказки, а побуждения к душевному переживанию, исходившие из моей работы над сказкой. Эти побуждения оказали влияние на мою дальнейшую душевную жизнь, вплоть до формы созданных мной позже драм-мистерий*. Однако для моих работ, связанных с Гете, в сказке я мог почерпнуть немного. Ведь я придерживался мнения, что, создавая это произведение, Гете, как бы побуждаемый внутренней силой полубессознательной душевной жизни, в своем мировоззрении превзошел самого себя. И здесь у меня возникло серьезное затруднение. Мое толкование Гете для юршнеровской "Немецкой национальной литературы" я мог продолжить лишь в том духе, в каком оно было начато, но меня самого оно уже не удовлетворяло. Ведь Гете, как говорил я себе, в период создания своей "Сказки" как бы заглянул сквозь границу духовного мира в сам духовный мир. А то, что он пишет о процессах природы, вновь отвлекает внимание от этого прозрения. Поэтому нельзя толковать его, не принимая во внимание это его прозрение в духовный мир.

И хотя из углубления в сказку сначала я для моих посвященных Гете работ ничего не приобрел, оно все же вызвало множество душевных побуждений. То, что вливалось в душу в связи со

сказкой, стало для меня важным материалом для медитаций. Я постоянно возвращался к нему. Эти занятия подготовили тот настрой, с которым я приступил к моей веймарской работе.

Глава тринадцатая

Именно в этот период моя внешняя жизнь была до предела насыщена общением с людьми. Часто я встречался и со старыми друзьями. Насколько ограниченной была для меня возможность говорить об упомянутых здесь вещах, настолько интенсивными были духовные и душевные узы, связывавшие меня с друзьями. Мне часто вспоминаются те бесконечные беседы, которым мы предавались в то время в одном из знаменитых кафе* на Михаэльплац в Вене. Я вспоминал их в особенности в то время, когда после мировой войны старая Австрия была разрушена. Ибо предпосылки ее распада уже тогда были налицо. Однако никто не хотел в этом признаваться. У каждого был наготове тот или иной рецепт, в зависимости от его национальных или культурных наклонностей. И если возвышенны идеалы, живущие в зарождающихся течениях, то не менее возвышенны в своем трагизме идеалы, возникающие во времена упадка и желающие задержать его. Подобные трагические идеалы жили тогда в душах лучших венцев и австрийцев.

Я часто вызывал у этих идеалистов дурное настроение, когда высказывал убеждения, навеянные мне увлечением эпохой Гете. В эту эпоху, говорил я, была достигнута высшая точка западного культурного развития, которую не удалось удержать в последовавшее за этой эпохой время. Естественнонаучная эпоха с ее последствиями для жизни человека и народа означает упадок. Для дальнейшего развития нужен совершенно новый импульс - с духовной стороны. Если следовать по уже проложенным в духовном направлении путям, то невозможно будет продвижение вперед, придется возвращаться. В Гете эпоха достигает высочайшего развития, но это не начало ее, а конец. Гете извлекает выводы из предыдущего развития, которое именно в нем находит свое полное выражение, но не может далее продолжаться, не коснувшись более глубоких истоков духовного переживания, чем те, которые содержатся в этом развитии. В таком настрое писал я последние части моей работы, посвященной Гете.

Именно в этом настрое я впервые познакомился с сочинениями Ницше. "По ту сторону добра и зла" была первой из его книг, прочитанных мной. Метод его захватил меня, но в нем было и нечто отталкивающее. Ницше мне давался с трудом. Мне нравился его стиль, нравилась его смелость, но мне совершенно не нравилась его манера говорить о глубочайших проблемах, не погружаясь в них душой в сознательном духовном переживании. И все же мне казалось, что он говорит о многом, бесконечно близко мне по духовному переживанию. Я чувствовал, что близок ему в его борьбе, и ощущал потребность выразить эту близость. Ницше был для меня одним из самых трагических людей современности. И этот трагизм глубоко ощущающей человеческой души вытекал, по моему убеждению, из общей духовной атмосферы естественнонаучной эпохи. В таких переживаниях провел я последние годы моей венской жизни.

Незадолго до окончания первого периода моей жизни мне представился случай посетить Будапешт и Трансильванию. Один из моих друзей, родом из Трансильвании, который все эти годы относился ко мне с редкой преданностью (о нем я уже упоминал), познакомил меня со многими своими земляками, проживающими в Вене. И вот к моему и так уже обширному кругу знакомых прибавился и круг трансильванцев. Среди последних были супруги Брейтенштейн*, с которыми я подружился в то время и которые до сих пор относятся ко мне самым сердечным образом. Уже давно они занимают руководящее положение в Венском Антропософском обществе.

Благодаря общению с трансильванцами мне выпала возможность совершить путешествие в Будапешт. Столица Венгрии с ее столь отличным от Вены характером произвела на меня глубокое впечатление. Особую прелесть этому путешествию придавали очаровательная природа и встречи с полными темперамента и музыкально восприимчивыми людьми. Если смотреть из окна вагона, создается впечатление, что сама природа здесь по-особому поэтична и что люди, не обращая особого внимания на эту привычную для них поэзию природы, живут в ней под лад собственной, внутренней музыки сердца. И уже в Будапеште перед вами открывается мир, на который другие европейские народы взирают с большим участием, но который они не могут понять до конца. Темный фон, освещаемый мерцанием красок. Когда я стоял перед памятником Францу Деаку*, сущность этого народа предстала моему взору как бы сконцентрированная в этом человеке. В голове создателя той Венгрии, которая существовала с 1867 по 1918 годы, жила твердая, гордая воля, действующая смело и без хитрости, но со стихийной непосредственностью. Я почувствовал, как субъективно верен для каждого венгра часто слышанный мной девиз: "Вне Венгрии нет жизни, а если и есть, то это уже другая жизнь".

Ребенком, живя у венгерской западной границы, я замечал, как ощущали немцы эту твердую, гордую волю; теперь же, в центре Венгрии, я узнал, как эта воля приводит мадьяра к замкнутости, которая с известной наивностью напускает на себя естественный для нее лоск и скорее открывается скрытому взору природы, чем открытому взору людей.

Через полгода после этой поездки мои трансильванские друзья пригласили меня прочитать лекцию в Германштадте*. Был канун Рождества. Путь проходил по широким равнинам, среди которых раскинулся город Арад. В сердце моем звучали полные душевного томления стихи Ленау, когда взор скользил по этим равнинам; всюду ширь, которой не видно конца. Мне пришлось переночевать в пограничном местечке между Венгрией и Трансильванией. Полночи я просидел за столиком в комнате для приезжающих. За другим столом сидели карточные игроки. Здесь были представлены все национальности, которые можно было встретить тогда в Венгрии и Трансильвании. Люди эти играли со страстью, переходящей через край чуть ли не каждые полчаса и выражавшей себя как бы в душевных облаках, которые, вздымаясь над столом, боролись между собой, как демоны, и совершенно поглощали людей. Какое различие в проявлении страстности у разных народов!

В Германштадт я приехал в день Рождества и был введен в общество трансильванских саксонцев, которые жили здесь среди румын и мадьяр. Благородная народность, желающая достойно сохранить себя, несмотря на упадок, который она не хотела замечать. Занесенная столетия тому назад на восток, но хранящая еще воспоминания о прежней жизни, эта немецкая народность желала сохранить верность своим первоисточкам, однако это придавало ее душевной организации черту отчужденности от мира, которая выражалась в жизни как привитая воспитанием веселость. Я провел прекрасные дни среди немецкого духовенства евангелической церкви, среди учителей немецких школ и других немцев-трансильванцев. Сердце мое с теплотой раскрывалось навстречу этим людям, развивавшим в заботе о своей самобытности культуру сердца, обращенную прежде всего к другим сердцам.

Теплота эта жила в моем сердце и тогда, когда я, закутанный в толстую шубу, ехал на санях в лютый мороз по хрустящему снегу со своими старыми и новыми друзьями в сторону юга, к Карпатам (Трансильванским Альпам). Издалека - это черный, лесистый, почти отвесный склон горы. Вблизи же перед нами раскрылся дикий, ущелистый, порой навевающий ужас горный ландшафт.

Средоточием всех моих тогдашних переживаний был мой старый друг*. Он все время придумывал что-то новое, чтобы я ближе познакомился с трансильванскими саксонцами. Он и теперь делил свое время между Веной и Германштадтом. Чтобы сохранить трансильванское саксонское население, он основал еженедельную газету в Германштадте. Предприятие это, в котором принимали участие почти все представители саксонства, целиком основывалось на идеализме и не содержало в себе ничего практического. Через несколько недель газета закрылась.

Благодаря таким событиям, как это путешествие, посылаемым мне судьбой, я мог выработать отношение к внешнему миру, которое давалось мне нелегко, в то время как жизнь в духовном элементе была для меня чем-то совершенно естественным.

В Вену я возвращался с грустными воспоминаниями. Вскоре после приезда мне в руки попала книга, о "духовном богатстве" которой говорили в самых широких кругах: "Рембрандт как воспитатель". Эта книга обсуждалась повсеместно, и при этом всегда говорили о появлении совершенно новой духовности. Но именно на этом явлении я убедился, насколько же я был одинок со своей душевной организацией среди современной мне духовной жизни.

Эта столь превозносимая всем миром книга ощущалась мной так: некто в течение нескольких месяцев решил проводить каждый вечер в хорошем кафе, прислушиваясь ко всем "остроумным" суждениям, высказываемым сидящими за своими столиками "выдающимися личностями", и записывать все это в афористичной форме. После этой продолжительной "предварительной" работы он бросил все эти записки с изречениями в сосуд, сильно встряхнул его и затем извлек их обратно. Потом он их соединил как попало, и таким образом возникла книга. Критика эта, конечно, преувеличена. Но мое восприятие жизни вынуждало меня отклонять все то, что современный "дух времени" превозносил как величайшее достижение. "Рембрандт как воспитатель" - это книга, которая держалась на поверхности лишь благодаря остроумно поданным мыслям, не имеющим никакого отношения к истинным глубинам человеческого души. Мне было больно, что она почиталась моими современниками как творение глубокой личности, в то время как я должен был полагать, что подобное барахтанье мыслей в мелких заводях духа лишь изгоняет из душ все глубоко человеческое.

Частные уроки я начал давать с четырнадцати лет, и моя судьба была связана с этой деятельностью целых пятнадцать лет - до начала второго, проведенного в Веймаре, периода моей

жизни. Развитие многих человеческих душ в детском и юношеском возрасте связалось с моим собственным развитием. Я имел возможность наблюдать, как по-разному "врастают" в жизнь представители мужского и женского пола. Ведь наряду с мальчиками и юношами мне приходилось заниматься и с девочками. Одно время я даже преподавал геометрию матери того мальчика, воспитание которого вследствие его патологического состояния было поручено мне. Этой женщине и ее сестре я читал также лекции по эстетике.

В семье этого мальчика* я чувствовал себя в течение многих лет как в родном доме, откуда я направлялся на занятия и в другие семьи. Благодаря близким дружеским отношениям с матерью этого мальчика я полностью делил все радости и горести этой семьи. Женщина эта отличалась редкой красотой души. Она всецело была поглощена заботами о развитии и судьбе своих четырех мальчиков. На ее примере можно было изучать великую материнскую любовь. Совместная работа с ней в области воспитания придавала жизни прекрасное содержание. В сфере искусств она обладала способностями к музыке и занималась ею с воодушевлением. Музыкальные занятия со своими мальчиками, пока они были малы, частично она проводила сама. Со мной она говорила о самых разных жизненных проблемах, относясь ко всему с полным пониманием и глубочайшим интересом. Огромное внимание проявляла она и к моим научным и другим работам. В то время я ощущал глубочайшую потребность обсуждать с ней все, что было мне близко. Когда я говорил о моих духовных переживаниях, она прислушивалась ко мне довольно своеобразно. Рассудку ее эти вещи казались привлекательными, что не мешало ему относиться к ним с известной сдержанностью; душа же воспринимала все. При этом она обладала некоторым натуралистическим воззрением на человеческое существо. Моральная душевная организация всецело мыслилась ею в связи со здоровым и больным состояниями тела. Если можно так выразиться, о людях она инстинктивно мыслила по-медицински и при этом с натуралистическим оттенком. В высшей степени интересно было беседовать с ней об этих вещах. Во внешней жизни эта женщина с сильнейшим чувством долга переносила все то, что выпадало на ее долю, но внутренне она ко многому относилась как к чему-то, не имеющему к ней никакого отношения. На свою судьбу она смотрела как на нечто, тяготившее ее. От жизни она ничего не требовала и принимала ее такой, как она есть, - если только это не касалось ее сыновей. Все связанное с ними она переживала в сильнейших душевных эмоциях.

Все это - душевная жизнь женщины с ее трогательной любовью к сыновьям, жизнь этой семьи с ее обширным кругом родных и знакомых - переживалось и мной. Однако не обходилось и без затруднений. Семья эта была еврейская. В своих воззрениях она была совершенно свободна от каких-либо расовых или религиозных предрассудков, однако отец семейства, к которому я был очень расположен, обладал известной чувствительностью ко всем суждениям, высказываемым неевреем о евреях. Это было следствием вспыхнувшего тогда антисемитизма.

Я принимал тогда живое участие в той борьбе, которая велась австрийскими немцами за свое национальное существование. Занимался я также историческим и социальным положением еврейства. Особенно интенсивными стали эти занятия после появления "Гомункула" Гамерлинга. Большинство журналистов сразу же объявило этого выдающегося немецкого поэта антисемитом, а немецкие национал-антисемиты не преминули причислить его к своим. Я был мало затронут всем этим, но написал статью о "Гомункуле", в которой высказался о положении еврейства, как мне казалось, совершенно объективно. Человек, в доме которого я жил и с которым был дружен, считал это за особый род антисемитизма. Его дружеские чувства ко мне отнюдь не пострадали, но его охватила глубокая печаль. Прочитав статью, он с болью в сердце пришел ко мне и сказал: "То, что Вы пишете о евреях, невозможно истолковать в дружеском смысле; но не это смущает меня, а то, что повод писать именно так, а не иначе, дали Вам ваши близкие отношения к нам и нашим друзьям". Человек этот заблуждался, ибо я судил с духовно-исторической точки зрения; в моих суждениях не было ничего личного. Но он не мог видеть этого. "Человек, который воспитывает моих детей, судя по этой статье, не друг евреям", - заметил он в ответ на все мои объяснения. Переубедить его было невозможно. Но он не допускал и мысли о том, что нечто может измениться в моем отношении к его семье. На это он смотрел как на необходимость. Я, со своей стороны, тоже не видел в этом событии повода к каким-либо переменам, ибо к воспитанию его сына я относился как к задаче, которую послала мне судьба. Однако мы оба не могли не думать, что на наши отношения наложился какой-то трагический отпечаток.

Ко всему этому прибавилось еще и то, что взгляды многих моих друзей на еврейство, вследствие национально-освободительной борьбы того времени, приобрели антисемитский оттенок. Они неблагоприятно смотрели на мое положение и работу в еврейской семье, а глава этой семьи, в свою очередь, видел в моих дружеских отношениях с этими людьми лишь подтверждение впечатления, полученного им от моей статьи.

К кругу семьи, в которой я жил, принадлежал также автор "Золотого Креста" Игнаций Брюль*, к которому я испытывал глубочайшую привязанность. Тонкая натура, постоянно погруженная в себя, он как бы чурался мира. Интересы его не были исключительно музыкальными; они касались многих сторон духовной жизни. Он мог предаваться этим интересам лишь как "баловень судьбы" в лоне семьи, которая не позволяла заботам повседневности прикасаться к нему и охраняла развитие его творчества известным благосостоянием. Он вырос, зная только музыку, но отнюдь не жизнь. Здесь я не буду касаться того, имеет ли ценность его музыкальное творчество. Но как очаровательны были встречи с ним на улице, когда при обращении к нему он как бы пробуждался из своего мира звуков! Пуговицы его жилета обычно были застегнуты неверно. Взор его был нежно задумчив, походка нетвердая, но выразительная. С ним можно было говорить о многом, для всего у него находилось чуткое понимание, но о чем бы ни шла речь, он тотчас же переводил разговор в область музыки.

В этой же семье я познакомился с одним замечательным врачом, доктором Брейером*, который вместе с доктором Фрейдом стоял у истоков психоанализа. Но доктор Брейер разделял это воззрение только вначале, позже он не был согласен с тем, как его разработал доктор Фрейд. Это была чрезвычайно привлекательная личность. Я восхищался его отношением к своему призванию врача. Но и к другим областям он проявлял многосторонний интерес. Он говорил о Шекспире так, что пробуждал в слушателях сильнейшие импульсы. Чрезвычайно интересно было слушать его пронизанные медицинским образом мышления суждения об Ибсене или о "Крейцеровой сонате" Толстого. Я всегда с величайшим интересом следил за его беседами с моей подругой, матерью моих учеников. Психоанализ тогда еще не родился, но проблемы в этом направлении уже существовали. Особенную окраску медицинское мышление приобретало благодаря явлениям гипнотизма. Моя подруга еще с юности была дружна с доктором Брейером. Здесь передо мной вставал факт, о котором я много размышлял. Эта женщина мыслила гораздо более по-медицински, чем этот выдающийся врач. Разговор зашел однажды об одном наркомане, которого лечил д-р Брейер. "Подумайте, что сделал д-р Брейер, - сказала моя подруга, - он заставил пациента обещать ему под честное слово, что тот никогда больше не притронется к морфию. Он думал чего-то достичь этим и был возмущен, когда пациент не сдержал своего слова. Он даже сказал: "Как я могу лечить человека, не сдержавшего своего слова?". Трудно представить, - заметила она, - чтобы такой превосходный врач мог быть столь наивным. Как можно лечить обещаниями то, что коренится так глубоко в "природе". Она, конечно, была не совсем права, на ход лечения могли также повлиять и взгляды врача на терапию внушением. Но нельзя отрицать, что эти слова моей приятельницы свидетельствуют о чрезвычайной энергии, в которой своеобразно отражался дух, царивший в венской медицинской школе.

Женщина эта в своем роде была весьма значительна, и встреча с ней - крупное явление в моей жизни. Ее давно уже нет в живых. Среди причин, омрачивших мой отъезд из Вены, была и разлука с этой женщиной.

Оглядываясь на содержание первого периода моей жизни и стараясь внешне охарактеризовать его, я прежде всего ощущаю, что судьба вела меня так, что, достигнув тридцатилетнего возраста, я все еще не был связан никакой внешней "службой". В Гете-Шиллеровский архив в Веймаре я также поступил не на службу, а как свободный сотрудник издания Гете, выходившего при Архиве по поручению Великой герцогини Софии. В отчете, опубликованном директором Архива в двенадцатом томе гетевского ежегодника, записано: "С осени 1890 года к постоянным сотрудникам присоединился Рудольф Штайнер из Вены. Ему поручена вся область "Морфологии" (за исключением остеологической части), пять или, возможно, шесть томов "второй части", дополненные весьма важным материалом из рукописного наследия".

Глава четырнадцатая

В течение некоторого времени мне снова пришлось решать задачу, которая проистекала не из какого-либо внешнего события, а была следствием внутреннего становления моего миро- и жизневоззрения. И таким образом экзамен на доктора мне пришлось держать в Ростоке, представив для этого мое сочинение "Согласование человеческого сознания с самим собой". Внешние обстоятельства повлияли лишь на то, что я не мог держать этот экзамен в Вене. Официально я окончил реальное училище, а не гимназию, приобретя гимназическое образование благодаря частным занятиям с учениками по гимназической программе и самостоятельному обучению. Однако это не давало в Австрии права на докторский экзамен. Предметом моих углубленных занятий была философия, но официальное мое образование более всего преграждало мне путь к ее изучению.

В конце первого периода моей жизни мне в руки попала книга, которая чрезвычайно заинтересовала меня: "Семь книг платонизма" Генриха фон Штейна*, читавшего тогда в Ростове курс философии. Это обстоятельство привело к тому, что свою работу я подал этому милому старому философу, которого впервые увидел на экзамене.

Личность Генриха фон Штейна предстает предо мной как живая, словно нас связывало множество переживаний. "Семь книг платонизма" являются выражением четко очерченной философской индивидуальности. Философия как содержание мышления берется в этом сочинении не как нечто самостоятельное. Платон же всесторонне рассматривается как философ, который искал философию, опирающуюся на саму себя. То, что нашел на этом пути Платон, Генрих фон Штейн изображает весьма тщательно. С первых же глав этого сочинения читатель полностью вживается в платоновское мировоззрение. Затем Штейн говорит о внесении Христова Откровения в развитие человечества. Это реальное внедрение духовной жизни рассматривается им как нечто высшее по сравнению с разработкой мыслительного содержания посредством только философии.

От Платона к Христу как к исполнению некоего устремления - так можно было бы охарактеризовать то, что содержится в изложении Штейна. Далее он прослеживает влияние платонизма на развитие мировоззрений в эпоху христианства.

По мнению Штейна, откровение вносит в человеческое мировоззрение свое содержание извне. Здесь я не мог с ним согласиться. Для меня фактом переживания было то, что человеческое существо может иметь откровение, когда оно приводит себя к согласованности с самим собой в живом духовном сознании, и что это откровение через переживание идей может обрести в человеке бытие. Но в книге было нечто, что привлекало меня. Реальная жизнь духа, скрытая за жизнью идей, пусть даже и в форме, которая не была моей, являлась здесь импульсом к всеобъемлющему историко-философскому изложению. Платон - это великий носитель мира идей, который жаждет осуществления через Импульс Христа, - таков был смысл книги Штейна. Несмотря на ряд мест, где я придерживался противоположной точки зрения, книга эта была мне ближе, чем все философии, вырабатывающие свое содержание из понятий и чувственного опыта.

У Штейна отсутствовало также сознание того, что мир идей Платона ведет назад к древнейшему откровению духовного мира. Это (дохристианское) откровение, столь интересно изложенное, например, в "Истории идеализма" Отто Вильмана, в воззрениях Штейна не проявляется. Он изображает платонизм не как сохранившийся в идеях остаток древнейшего откровения, который в христианстве вновь обретает, в более высокой форме, утерянное духовное содержание; платоновские идеи представлены у него как само из себя вытекающее содержание понятий, которое в дальнейшем обретает жизнь благодаря Христу.

И все же эта книга - одна из тех, которые написаны с философской теплотой; ее автор - это личность, пронизанная глубокой религиозностью и ищущая в философии выражение религиозной жизни. Каждая страница этого трехтомного сочинения носит отпечаток личности автора. Моя встреча со Штейном (после неоднократного прочтения книги, в особенности тех ее частей, где речь идет об отношении платонизма к христианству) стала для меня важным событием.

Во всей манере держать себя это был человек, освещенный спокойствием преклонного возраста, с кротким взглядом, который ненавязчиво, но вместе с тем и пылливо следил за ходом развития своих учеников; в его языке - в каждой фразе, в тоне слов - сквозила рассудительность философа. Таким предстал мне Штейн, когда я посетил его перед экзаменом. Он сказал: "Ваша диссертация не отвечает всем требованиям; видно, что Вы писали ее не под руководством профессора, но содержание Вашей работы позволяет мне охотно принять ее". Я очень хотел, чтобы на устном экзамене он спросил меня о чем-нибудь в связи с "Семью книгами платонизма". Но ни один из вопросов не касался их, все относилось к кантовой философии.

Образ Генриха фон Штейна навсегда запечатлелся в моем сердце. Мне было бы безгранично приятно встретиться с этим человеком еще раз. Но судьба больше никогда не привела ко встрече с ним. Мой докторский экзамен принадлежит к моим самым любимым воспоминаниям, ибо впечатление от личности Штейна превосходит все остальное, связанное с этим периодом моей жизни.

Настрой, с которым я приехал в Веймар, был окрашен содержанием моих тщательных занятий платонизмом. Он очень помог мне приспособиться к работе в Гете-Шиллеровском архиве. Как жил в мире идей Платон и как жил Гете? Этот вопрос занимал меня ежедневно всю дорогу в архив и обратно; об этом же я размышлял и тогда, когда сидел над рукописями гетевского наследия.

Вопрос этот был на заднем плане, когда в начале 1891 года я выразил свое впечатление от гетевского природо-познания в таких словах (в статье "Об обогащении наших воззрений благодаря опубликованию естественнонаучных работ Гете, хранящихся в Гетевском архиве"; т. XII Гетевского ежегодника): "Большинство людей не может представить себе, что нечто, для проявления чего

необходимы совершенно субъективные условия, все лее может обладать объективным значением, сущностью. Примером этого является перворащение. Оно есть объективно содержащееся во всех растениях сущностное; но чтобы оно получило проявленное бытие, его должен свободно построить человеческий дух". И далее: "Верное познание гетевского образа мышления дает также возможность решить: соотнобразится ли с воззрением Гете идентификация перворащения и пра-животного с какой-либо существовавшей в определенное время или будущей чувственно-реальной органической формой? На это можно только решительно ответить: "Нет". Перворащение содержится в каждом растении, оно может быть извлечено конструктивной силой духа из мира растений, но никакая отдельная, индивидуальная форма не может быть названа типической".

Так я стал сотрудником Гете-Шиллеровского архива. Это был филологический центр, взявший на себя в конце XIX столетия заботу о наследии Гете. Во главе архива стоял директор Бернард Зуфан. С ним у меня сложились личные отношения почти с первого дня веймарского периода моей жизни. Я мог часто посещать его дома.

Бернард Зуфан стал преемником Эриха Шмидта*, первого директора архива; этим он был обязан своей дружбе с Германом Гриммом.

Последний потомок Гете, Вальтер фон Гете* завещал гетевское наследие Великой герцогине Софии*, которая и основала архив, с тем чтобы наследие Гете заняло подобающее ему место в духовной жизни. И она, естественно, обратилась к тем людям, которые должны были знать, как обращаться с наследием Гете.

Таким человеком прежде всего был господин фон Лепер. Судьба предназначила ему стать как бы посредником между знатоками Гете и Веймарским двором, которому было поручено управление наследием Гете. Лепер достиг высокого служебного положения в прусском министерстве, благодаря чему стал близок к прусской королеве, сестре Веймарской Великой герцогини, и в то же время был самым важным сотрудником в самом известном тогда гемпелевском издании Гете.

Это была своеобразная личность, представлявшая собой чрезвычайно милое смешение светского человека и чудака. В область "исследования Гете" он пришел как любитель, а не как специалист, но стал в ней большим авторитетом. В своих суждениях о Гете, прекрасным образом обнаружившихся в его издании "Фауста", он был вполне самостоятелен. Этому он научился у самого Гете. И когда к нему обратились за советом, кому лучше всего поручить управление наследием Гете, он, конечно же, вспомнил о тех знатоках Гете, с которыми сблизился благодаря своей деятельности в этой области.

Прежде всего была рассмотрена кандидатура Германа Гримма, который подходил к Гете как историк искусства. В качестве такового он читал лекции о Гете в Берлинском университете, которые выпустил впоследствии отдельной книгой. Но в то же время он мог рассматривать себя как духовного потомка Гете - он вырос в тех кругах немецкой духовной жизни, где хранили живые традиции Гете и в некоторой степени могли мыслить себя в личной связи с ним. Женой Германа Гримма была Гизела фон Арним, дочь Беттины, автор книги "Переписка Гете с ребенком".

Герман Гримм судил о Гете как человек, вдохновленный искусством. Как историк искусства он был ученым лишь постольку, поскольку это было возможно для него, чтобы сохранить в себе личное отношение к искусству в качестве ценителя.

Я думаю, что с Лепером, с которым он, естественно, был дружен благодаря их общему интересу к Гете, у него не возникало никаких недоразумений. Мне кажется, что, когда они говорили о Гете, на первом плане у них было чисто человеческое отношение к гению, а научное - уже на втором.

Научный подход к Гете проявлял только Вильгельм Шерер, профессор истории немецкой литературы Берлинского университета. И Лепер, и Гримм должны были считаться с ним как с официальным знатоком Гете. Лепер относился к этому по-детски простоудушно, Герман Гримм - с известным внутренним сопротивлением, ибо филологический способ анализа, применяемый Шерером, был ему несимпатичен.

Этим трем людям и было, собственно, поручено управление гетевским наследием. Но вскоре оно полностью перешло в руки Вильгельма Шерера. Лепер и не мыслил свою работу иначе, как участие лишь извне, в качестве советчика; он был связан общественными делами благодаря своему положению при прусском дворе. Германа Гримма это также не тревожило. Благодаря занимаемому им положению в духовной жизни он был склонен лишь давать установки и сообщать работе общее направление; на частности его уже не хватало.

Совершенно иначе относился к делу Вильгельм Шерер. Для него творчество Гете составляло важнейшую главу в истории немецкой литературы. И поскольку в архиве обнаружились новые источники, имеющие чрезвычайное значение для пополнения этой главы, поэтому работа Гетевского архива должна систематически включаться в общую литературно-историческую работу.

Таким образом возник план издания Гете, верно составленного с филологической точки зрения. Шереру было поручено общее духовное руководство; управление же архивом было передано его ученику Эриху Шмидту, профессору истории новой немецкой литературы в Вене.

Благодаря всему этому работа в архиве приобрела особый отпечаток, отразившийся и на том, что происходило в архиве или в связи с ним. Все здесь носило характер присущего тому времени филологического способа мышления и работы.

Литературно-историческая филология у Вильгельма Шерера подражала современным естественнонаучным методам. Историко-филологические идеи были копиями популярных естественнонаучных идей. Откуда заимствовал писатель то или иное, как преобразилось в нем это заимствование - вот вопросы, ставившиеся в основу истории развития духовной жизни. Личность писателя исчезала при таком подходе; на первый план выступало развитие "мотивов", "сюжета" через конкретные персонажи. Этот способ анализа достиг кульминационного пункта в монографии Эриха Шмидта о Лессинге. Главным в этой монографии была не личность Лессинга, а очень подробное рассмотрение тем Минны фон Барнхельм, Натана и т. д.

Шерер умер вскоре после основания Гетевского архива. Учеников у него было множество. Эрих Шмидт был тотчас же отозван из архива на свое прежнее место в Берлин. Герману Гримму удалось настоять на том, чтобы управление архивом было поручено Бернарду Зуфану, а не одному из многочисленных учеников Шерера.

Зуфан занимал прежде место учителя гимназии в Берлине. В это же время он взял на себя труд по изданию сочинений Гердера. Именно этим было обусловлено его руководство изданием Гете.

Эрих Шмидт еще сохранял известное влияние, и благодаря этому дух Шерера все еще сказывался на работе над изданием Гете. Но и идеи Германа Гримма проявлялись теперь сильнее - если не в методе работы, то в атмосфере общения.

На долю Бернарда Зуфана, до моего приезда в Веймар и близкого знакомства с ним, выпали суровые испытания. Первая его жена, а следом за ней и вторая, приходящаяся ей сестрой, рано сошли в могилу. Он жил в Веймаре со своими двумя мальчиками, грустя об ушедших, не имея никакой радости в жизни. Единственной светлой точкой была та благожелательность, с которой относилась к нему Великая герцогиня София; к ней он питал искреннюю почтительность, в которой не было и тени низкопоклонства. Зуфан любил и почитал герцогиню как личность.

К Герману Гримму Зуфан относился с беззаветной преданностью. Еще в Берлине у Гриммов его принимали как члена семьи, и он с удовольствием погружался в духовную атмосферу, царившую в этом доме. Но в нем было нечто, не позволявшее ему примириться с жизнью. С ним можно было говорить о высочайших духовных проблемах, однако разговор скоро принимал какой-то кислый оттенок, исходивший из его ощущений. Эта кислотность прежде всего жила в его собственной душе; он боролся с ней при помощи холодного юмора. Трудно было отнестись к нему с теплотой. Он мог с симпатией отозваться на великое и в тот же миг без всякого перехода впасть в мелочно-тривиальное. Ко мне он относился с неизменной благожелательностью. Духовным интересам, жившим в моей душе, он не сочувствовал и подходил к ним иногда с точки зрения своего холодного юмора, но к моей работе в Гетевском архиве и к моей личной жизни он проявлял огромный интерес.

Я не могу отрицать, что многие его поступки, касавшиеся управления архивом, руководства изданием Гете, производили на меня очень неприятное впечатление. Я никогда не скрывал этого. Но когда я оглядываюсь на годы, проведенные с ним, верх берет глубокое внутреннее сочувствие к судьбе и личности этого пережившего так много тяжелых испытаний человека. Он страдал от жизни и от самого себя. Я видел, как его все более и более поглощали бездонные, пустые абстракции, которые вставали в его душе и губили его способности и лучшие стороны его характера. Когда Гете-Шиллеровский архив переехал в новый выстроенный для него дом на Ильме, Зуфан сказал, что видит в себе одну из тех человеческих жертв, которых в древности замуровывали у ворот священных зданий для блага дела. И постепенно он полностью вошел в роль жертвы, принесенной делу, к которому не чувствовал себя вполне расположенным. На этой работе, связанной с творчеством Гете, он чувствовал себя как вьючное животное, не ощущающее ни малейшей радости от дела, к которому другие отнеслись бы с величайшим воодушевлением. В подобном настроении я находил его всегда, когда встречался с ним уже после моего отъезда из Веймара. Он покончил с собой в помраченном сознании.

В момент моего поступления в Гете-Шиллеровский архив кроме Бернарда Зуфана там служил Юлиус Вале. Он был приглашен в архив еще Эрихом Шмидтом. Вале и я сблизились уже во время моего первого пребывания в Веймаре, и между нами сложились сердечные дружеские отношения. Вале работал над изданием дневников Гете. Архивариусом был Эдуард фон дер Хеллен, которому было поручено также издание писем Гете.

В подготовке "Сочинений Гете" принимали участие многие из германистов. Все время сюда приезжали и вновь уезжали профессора и приват-доценты филологии. С ними мы встречались во время их более или менее длительных приездов и вне архива; мы могли полностью вживаться в круг их интересов.

Кроме этих основных сотрудников гетевского издания, архив посещало множество лиц, интересовавшихся тем или иным собранием рукописей немецких писателей. Ибо архив постепенно становился местом хранения литературных наследий многих писателей. Приезжали и другие заинтересованные лица, которые почти не работали с рукописями, но хотели заниматься в библиотеке, находившейся в архиве. Было много посетителей, желающих лишь осмотреть литературные сокровища архива.

Большую радость для всех работников архива означали появления Лепера. Для каждого из них у него находилось приветливое слово. Он просил дать ему материал для работы и часами сидел за работой с такой концентрацией внимания, которую редко можно встретить в людях. Что бы ни происходило вокруг, он не поднимал глаз. Если бы мне пришлось искать олицетворение любезности, я выбрал бы г-на фон Лепера. Этой любезностью были пронизаны его гетевские исследования, она сквозила в каждом его слове, обращенном к каждому человеку. Особенно примечательным был тот отпечаток, который приняла вся его душевная жизнь благодаря постоянному размышлению над вопросом: как добиться того, чтобы мир по-настоящему понял Гете? Однажды в театре на представлении "Фауста" я оказался рядом с ним. Я заговорил о режиссуре представления, об игре актеров. Не слушая меня, он сказал: "Да, эти актеры употребляют иногда слова и выражения, которые не совсем согласуются с гетевскими". Еще более располагал к себе Лепер своей рассеянностью. Когда в антракте я говорил о чем-то, связанном с вычислением времени, Лепер сказал: "Итак, 1 час содержит 100 минут, минута - 100 секунд..." Я посмотрел на него и возразил: "60, Ваше превосходительство". Он посмотрел на свои часы, что-то проверил, улыбнулся приветливо, сосчитал и сказал: "Да, да, 60 минут, 60 секунд". Подобные образцы "рассеянности" я замечал у него часто. Однако эти проявления своеобразной душевной организации Лепера не вызывали во мне смеха, ибо они представлялись мне необходимым дополнением к той, я бы сказал, грациозной серьезности, которая, будучи лишенной какой-либо позы и сентиментальности, делала его образ столь привлекательным. Речь его состояла из скачущих фраз, произносимых почти без интонации, но сквозь бесцветную речь проступала отчетливость мыслей.

С появлением Германа Гримма в архиве установилась атмосфера духовного благородства. С тех пор как я прочитал в Вене его книгу о Гете, во мне жила глубокая симпатия к роду его духовности. Еще до моей первой встречи с ним в архиве я уже был знаком почти со всеми его работами. Благодаря Зуфану я вскоре сблизился с ним. Во время одного из своих посещений архива, когда Зуфана в Веймаре не было, Гримм пригласил меня на обед в свой отель. Мы были одни. Ему, наверно, было приятно мое понимание его взглядов на мир и жизнь. Он был необычайно разговорчив, рассказал мне о своей идее создать "Историю немецкой фантазии", которую вынашивал в душе. У меня тогда сложилось впечатление, что он намерен написать такую книгу. Но этого не случилось. Он очень красиво изложил мне, как непрерывно текущий поток исторического развития получает свои импульсы из недр творческой фантазии народа, которая в его изложении приобретала характер живого, деятельного сверхчувственного гения. Я был совершенно увлечен этими толкованиями Гримма, ведь мне было известно, как действует в людях сверхчувственная духовность. Передо мной был человек, душевный взор которого достигал творческой духовности, но не хотел познавательного охватить саму жизнь этой духовности, оставаясь в области, где духовное проявляет себя в человеке как фантазия.

Герман Гримм обладал особым даром обзирать большие и малые эпохи духовной истории и рассказывать о них в форме точных, умных, эпиграмматических характеристик. Описывая отдельные личности, такие как Микеланджело, Рафаэль, Гете, Гомер, он всегда изображал их на фоне обзорываемых эпох. Я часто перечитывал одну из его статей, где он дает особенно меткие характеристики таким эпохам, как греческая, римская и средневековая. Он весь был откровением единого, цельного стиля. Когда он отчеканивал свои прекрасные фразы в устной речи, у меня создавалось впечатление, что точно такие же фразы можно встретить и в какой-нибудь его статье, а когда уже после знакомства с ним я прочитал еще одну его статью, мне показалось, что я слышу его живую речь. Он не позволял себе никакой небрежности в устной речи, он чувствовал, что в литературно-художественном изложении нужно оставаться тем же человеком, каким являешься в повседневной жизни. Но повседневную жизнь Герман Гримм представлял себе несколько иначе, чем другие люди. Стилизация жизни была для него чем-то само собой разумеющимся.

Когда Герман Гримм появлялся в Веймаре и в архиве, сотрудникам архива казалось, что из хранилища, где находились архивные материалы, протягиваются невидимые духовные нити к

Гете. Иначе было в случае с Эрихом Шмидтом, у которого была своя связь с архивными материалами, но осуществлялась она не через посредство идей, а при помощи историко-филологического метода. Я никак не мог определиться в отношении Эриха Шмидта-человека и поэтому относился без всякого интереса ко всему тому, что вызывало такое большое уважение к нему в кругу лиц, работавших в архиве по линии шереровской филологии.

Особенно приятными были посещения архива Великим герцогом Карлом Александром*. Под внешней аристократической оболочкой этой личности жило внутреннее, истинное воодушевление всем, что было связано с Гете. Он производил благоприятное впечатление благодаря своему возрасту, своей постоянной связи со всем значительным в духовной жизни Германии, своей пленительной любезности. Большое удовлетворение доставляла сотрудникам сама лишь мысль о том, что он является опекуном архива.

Великая герцогиня София, владелица архива, появлялась только в особенно торжественных случаях. Чтобы сделать то или иное распоряжение, она вызывала к себе Зуфана. Посетителей, приехавших для работы в архиве, направляли к ней для представления. Она чрезвычайно заботилась об архиве и лично занималась подготовкой всего необходимого для постройки государственного здания - достойного хранилища литературных наследий.

Часто посещал архив и наследный принц Карл Август*, умерший до вступления на престол. Он не очень глубоко интересовался происходящим здесь, но любил беседовать с сотрудниками. Свой интерес к делам духовной жизни он рассматривал скорее как долг. Но зато наследная принцесса Паулина* относилась ко всему с горячим интересом. С ней мне случалось говорить о Гете, поэзии и т. д. По характеру своих общественных связей архив занимал среднее положение между научным и художественным обществом, с одной стороны, и Веймарским придворным обществом - с другой. Обе стороны придавали ему свою окраску. Не успевала закрыться дверь за каким-нибудь ученым, как снова приходилось ее распахивать перед высокопоставленным лицом, приехавшим в гости ко двору. В делах архива принимали участие люди, занимавшие самое разное общественное положение. В нем кипела жизнь, интересная во многих отношениях.

В непосредственной близости от архива находилась Веймарская библиотека. Главным библиотекарем был Рейнгольд Кёлер*, человек с детской душой и безграничной ученостью. Сотрудникам архива часто приходилось посещать эту библиотеку, ибо она располагала литературой, составлявшей важное дополнение к тому, что хранилось в архиве. Рейнгольд Кёлер обладал обширными, единственными в своем роде познаниями в области мифов, сказок и преданий; его знания в языковедении отличались изумительной универсальностью. Он помогал советом в подборе редкого литературного материала. При этом отличался трогательной скромностью, самой сердечной обходительностью. Собственноручно доставал нужные книги с полки, где они покоились, и сам же приносил их в кабинет при библиотеке, где работали посетители. Однажды я попросил для просмотра книгу, которой пользовался Гете во время своих занятий ботаникой. Рейнгольд Кёлер отправился за старой книжкой, которая почти десять лет без употребления лежала где-то наверху. Он долго не возвращался. Пошли выяснять причину его задержки. В поисках книги он упал с лестницы и сломал бедро. Этот милый, благородный, всеми уважаемый человек так и не оправился после падения. После долгой болезни он умер. Я страдал от горькой мысли, что это несчастье случилось из-за хлопот, связанных с доставкой нужной мне книги.

Глава пятнадцатая

Две лекции, прочитанные мной в начале веймарского периода моей жизни, связаны для меня с важными воспоминаниями. Первая лекция состоялась в Веймаре и носила название "Фантазия как созидательница культуры"*; эта лекция предшествовала упомянутой беседе с Германом Гриммом о его воззрениях на историю развития фантазии. Прежде чем прочитать лекцию, я попытался обобщить в своей в душе все то, что я мог сказать, исходя из своего духовного опыта, о бессознательных влияниях истинного духовного мира на человеческую фантазию. Я полагал, что из того, что живет в фантазии, лишь относящееся к ее содержанию вызвано переживаниями человеческих чувств. Собственно творческое в истинных созданиях фантазии являлось для меня отблеском находящегося вне человека духовного мира. Я хотел показать, что фантазия - это лишь врата, сквозь которые существа духовного мира через человека творчески влияют на развитие культур.

И поскольку, готовясь к этой лекции, я ориентировал свои идеи на подобную цель, высказывания Германа Гримма произвели на меня глубокое впечатление. У него не возникало потребности

исследовать сверхчувственно-духовные источники фантазии; все, что проявляется в человеческой душе как фантазия, он принимал как факт и затем прослеживал его развитие.

Сначала я представил один из полюсов проявления фантазии - жизнь во время сна. Я показал, что внешние чувственные восприятия познаются во сне приглушенной жизнью сознания не так, как в бодрственном состоянии, а в символическо-образном преображении: как переживаются внутренние телесные процессы в подобных символах, как возникают переживания не в будничном воспоминании, а некоторым образом в сознании, указывающем на активную работу пережитого в глубинах душевного бытия.

Во время сна сознание приглушено, ибо оно погружается в чувственно-физическую действительность и созерцает деятельность духовного в чувственном бытии, где духовное скрыто в чувственном восприятии и является полусонному сознанию лишь в виде игры красок, поднимающихся из глубин чувственного.

В фантазии душа поднимается над обычным состоянием сознания настолько, насколько во время сна она погружается ниже его. Здесь предстает не скрытое в чувственном бытии духовное, а влияние этого духовного на человека. Но человек не может охватить духовное в его изначальном виде, и он бессознательно преобразует его в наглядные образы посредством душевного содержания, взятого им из чувственного мира. Сознание не достигает созерцания духовного мира, но оно переживает его в образах, заимствующих свое содержание из чувственного мира. Вследствие этого истинные творения фантазии хотя и являются продуктами духовного мира, но сам духовный мир не проникает в сознание людей.

В этой лекции я хотел показать один из путей, на котором проявляется работа существ духовного мира над развитием жизни.

Я пытался найти средства, при помощи которых можно было бы дать представление о переживаемом мной духовном мире и каким-либо образом связать его с тем, что доступно обычному сознанию. Я придерживался мнения, что говорить о духе необходимо, но при этом нужно считаться с формами выражения, привычными для данной научной эпохи.

Вторую лекцию* я прочитал в Вене по приглашению "Научного клуба". Речь в ней шла о возможности монистического мировоззрения при сохранении истинного познания духовного. Я постарался дать представление о том, как человек извне при помощи органов чувств охватывает физическую сторону действительности, а "изнутри" через духовное восприятие - ее духовную сторону, так что все переживаемое выступает как единый мир, в котором чувственное отражает дух, а дух творчески раскрывается в чувственном.

Все это происходило тогда, когда Геккель в своей речи о "Монизме как связующем звене между религией и наукой" дал формулировку своего монистического мировоззрения. Зная о моем пребывании в Веймаре, он прислал мне оттиск своей речи. Я ответил на оказанное мне внимание тем, что переслал Геккелю номер журнала, в котором была напечатана моя венская лекция. Прочитав ее, можно убедиться в том, как отрицательно я относился к монизму Геккеля. Для меня важно было показать отношение к такому монизму со стороны человека, имеющего прозрение в духовный мир.

Однако существовало еще одно обстоятельство, в силу которого я считал необходимым рассмотреть монизм в геккелевском исполнении. Он предстал передо мной как явление естественнонаучной эпохи. Философы видели в Геккеле дилетанта-философа, который в действительности не знает ничего иного, кроме форм живых существ, к которым он применял дарвинистические идеи в той форме, в какой он их усвоил, смело утверждая при этом, что для выработки мировоззрения необходимо применять лишь то, что может представить себе дарвинистически образованный наблюдатель природы. Естествоиспытатели видели в Геккеле фантазера, выводящего из естественнонаучных наблюдений произвольные заключения.

В то время, как в моей работе нужно было дать представление о внутреннем состоянии господствовавшего в Йене столетие тому назад мышления о мире и человеке, о природе и духе: ведь Гете заронил в это мышление свои естественнонаучные идеи, - в случае Геккеля наглядно обрисовывалось то, что мыслили в этом направлении в тогдашней современности. Во время работы перед моим душевным взором во всех подробностях вставало отношение Гете к современному ему естествознанию. В той же Йене, где Гете почерпнул столь важные для него импульсы, послужившие формированию его идей о явлениях и существах природы, столетие спустя развивал свою деятельность Геккель, который посчитал себя вправе, исходя из познания природы, говорить о мировоззрении.

Кроме того на одном из первых заседаний Гетевского общества, которое я посещал в пору моей работы в Веймаре, Гельмгольц* прочитал доклад "Предвосхищения Гете относительно грядущих естественнонаучных идей". В этом докладе указывалось на то, как по счастливому вдохновению

Гете удалось "предвосхитить" многое из позднейших естественнонаучных идей, но говорилось также о его заблуждениях в этой области, выразившихся в его учении о цвете.

При взгляде на Геккеля* мне всегда хотелось иметь перед душой собственное суждение Гете о развитии естественнонаучных воззрений в последовавшее за их разработкой столетие; когда же я слушал Гельмгольца, моей душе представало суждение о Гете, вытекавшее из этого развития.

Я не мог не сказать себе, что если мыслить о сущности природы исходя из господствующего духовного настроения современной эпохи, то результатом будет то, что в полной философской наивности мыслит об этом Геккель; те же, кто спорит с ним, обнаруживают во всем, что они остановились на просто чувственном воззрении и не желают развивать это воззрение через мышление.

Сначала я не ощущал потребности лично познакомиться с Геккелем, о котором мне приходилось много размышлять. Но тут подошло его шестидесятилетие, и мне пришлось принять участие в блестящем празднестве, устроенном в Йене. Меня привлекал чисто человеческий аспект этого празднества. Во время обеда ко мне подошел сын Геккеля, с которым я познакомился в Веймаре, где он учился в школе живописи, и сказал, что его отец хотел бы, чтобы я представился ему. Сын и выполнил это поручение.

Так произошло мое личное знакомство с Геккелем. Это была обаятельная личность. Глаза его наивно и кротко взирали на мир, так кротко, что возникало ощущение: взор этот угаснет, если его пронзит острота мышления. Он мог переносить только впечатления органов чувств, но не мысли, раскрывающиеся в вещах и процессах. Каждое движение у Геккеля было направлено к выявлению того, что выражают органы чувств, а не к раскрытию господствующих в них мыслей. Я понял любовь Геккеля к живописи - он растворялся в чувственном созерцании.

Там, где ему приходилось размышлять, он переставал развивать душевную деятельность и предпочитал закреплять увиденное при помощи кисти. Такова была сущность Геккеля. Если бы ему удалось раскрыть ее до конца, то обнаружилось бы нечто необыкновенно привлекательное, истинно человеческое.

Однако в одном из уголков этой души таилось нечто, упрямо желавшее проявить себя как определенное мыслительное содержание. Нечто из совершенно иного направления, чем его обостренное чувство природы. То желала заявить о себе его прежняя земная жизнь, окрашенная фанатизмом и направленная на совсем иное, чем природа. В тайниках души изживала себя религиозная политика, прибегая для своего проявления к идеям о природе.

Так жили в Геккеле, находясь в противоречии друг с другом, два существа. Одно из них - это человек с кротким, любовным отношением к природе, и за ним, словно тень - другое существо с непродуманными, узкоограниченными идеями, дышавшими фанатизмом. Когда Геккель говорил, его кротость не допускала проявления фанатизма в слове: природная мягкость укрощала в разговоре скрытые демонические силы. Это была загадочная личность, встречаясь с которой нельзя было не любить ее, но часто можно было впасть в гнев, слушая ее суждения. Таким я видел Геккеля, когда он в 90-е годы прошлого столетия подготавливал то, что позднее привело к ожесточенной духовной борьбе, разыгравшейся на рубеже нового столетия по поводу его идейного направления.

Среди посетителей Веймара был также и Генрих фон Трейчке*. Я познакомился с ним на обеде у Зуфана. Этот человек, о котором так много спорили, произвел на меня глубокое впечатление. Трейчке был совершенно глухим. С ним изъяснялись при помощи записок, излагая на бумаге все, что хотели ему сказать. Это привело к тому, что он всегда был в центре внимания любого общества. Как только ему подавали записку, он начинал отвечать на нее, но настоящей беседы не получалось. Его присутствие было для других людей гораздо заметнее, чем присутствие других для него. И это отразилось на его душевном настрое. Он говорил, не считаясь с возражениями, с которыми обычно встречается человек, когда он делится своими мыслями с другими людьми. Было очевидно, что это укоренилось в его самосознании. Не встречая возражений со стороны других, он сильнее ощущал ценность того, что думал сам.

Первый вопрос, с которым обратился ко мне Трейчке, был: откуда я родом. Я написал, что я австриец. Трейчке ответил: австрийцы или очень хорошие и гениальные люди, или плуты. Возникло впечатление, что уединение, в котором жила его душа вследствие глухоты, заставляет его говорить парадоксы и находить в этом внутреннее удовлетворение. Гости, приглашенные к обеду, оставались у Зуфана обычно на целый вечер. Так было и на этот раз. Можно было увидеть, как проявляется его личность. В духовной индивидуальности этого широкоплечего человека присутствовало нечто, заставлявшее людей считаться с ним. Нельзя сказать, что Трейчке поучал, ведь все, что он говорил, носило личностный характер. В каждом его слове жило страстное желание выразить себя. Как повелителен был его тон, даже когда он просто о чем-то рассказывал! Он хотел, чтобы его слова брали слушателя за живое. Его утверждения озарялись странным

огнем, мерцавшим в его глазах. Разговор зашел о мировоззрении Мольтке*, как оно выражено в его воспоминаниях. Трейчке отвергал безличный, напоминающий математическое мышление метод, при помощи которого Мольтке рассматривал происходящие в мире события. Трейчке умел судить о вещах только с сильной личной симпатией или антипатией. Люди, которые, подобно Трейчке, сильно привязаны к личностному в себе, могут производить впечатление только в том случае, если личностное тесно и значительно связано с тем, что они излагают. Именно так было с Трейчке. Когда он говорил об исторических фактах, казалось, что они происходят в настоящее время и что он присутствовал при этих событиях, проявляя свою радость или огорчение. Слушая этого человека, можно было получить впечатление личностного во всей его безграничной силе, но никакого отношения к содержанию сказанного при этом не возникало. Близкие дружеские отношения сложились у меня и с другим посетителем Веймара. Это был Людвиг Лайстнер*, тонкая, гармоничная в себе, не чуждая духовных интересов личность. Он был литературным экспертом в книжном магазине при издательстве Котты и в этом же качестве работал в Гетевском архиве. Почти все свое свободное время мы проводили вместе. Его главное сочинение - "Загадка сфинкса" - было тогда уже опубликовано. Это своего рода история мифа. В истолковании мифов он шел своим собственным путем. Беседы наши часто касались той области, о которой идет речь в этой замечательной книге. Лайстнер отвергал всяческие толкования сказок, мифов, которые более или менее сознательно сводились к фантазии, основанной на символах. Происхождение у народов мифологического воззрения на природу он приписывал сновидениям, в частности, снам-кошмарам. Удушающий кошмар, встающий как мучительный вопрос перед видящим сон человеком, становится домовым, эльфом, демоном-мучителем; сонмы призраков, по мнению Лайстнера, вздымаются из видящего сон человека. Вопрошающий сфинкс есть другая метаморфоза "полудницы", которая является в поле спящему человеку и задает ему вопросы, на которые тот должен ответить. Людвиг Лайстнер выискивает все парадоксальные и исполненные смысла, мучительные и радостные образы, порождаемые сновидением, и доказывает их присутствие в сказках и мифах. При каждой такой беседе у меня возникало чувство: как легко удалось этому человеку найти путь от действующего в человеке во время сна подсознательного к сверхсознательному, которое принадлежит к реальному духовному миру. Он благожелательно и без возражений выслушивал мои объяснения относительно этих вещей, но внутреннего отношения к сказанному у него не возникало. Этому мешал свойственный эпохе страх потерять "научную почву" при приближении к духовному как таковому. Отношение Людвиг Лайстнера к искусству и поэзии отличалось той особенностью, что он относил миф к реальным переживаниям сна, а не к абстрактно творящей фантазии. Поэтому все творческое в человеке приобретало в его понимании мировое значение.

Это была тонкая поэтическая личность, отличавшаяся поразительным внутренним спокойствием и душевной замкнутостью. Его суждения - о чем бы ни заходила речь - всегда были поэтичны. Он, собственно, и не знал непоэтических понятий. Я пережил с ним в Веймаре, а затем и при посещении Штутгарта, где я у него останавливался, прекраснейшие часы. Рядом с ним всегда была его жена, совершенно поглощенная его духовным существом. Людвиг Лайстнер был для нее, собственно, всем, что связывало ее с миром. После посещения Веймара он жил недолго. Жена вскоре последовала за ним; мир опустел для нее, когда не стало в нем ее мужа. Это была на редкость деликатная и в этом своем качестве действительно замечательная женщина. Она умела всегда отсутствовать, если боялась помешать, и всегда была на месте, если нужно было о чем-то позаботиться. По-матерински охраняла она Людвиг Лайстнера, обладавшего при всей своей тонкой духовности весьма хрупким здоровьем.

С немногими я мог говорить так, как с Людвиг Лайстнером, об идеализме немецких философов - Фихте, Гегеля, Шеллинга. Он живо ощущал реальность идеального, присущую этим философам. Когда я однажды поделился с ним своим беспокойством по поводу односторонности естественнонаучного мировоззрения, он сказал: люди не имеют никакого представления о значении творческого начала в человеческой душе. Они не знают, что в этом творческом начале живет такое же содержание мира, как и в явлениях природы.

Однако занятия литературой и искусством не затемняли в Людвиг Лайстнере чисто человеческих качеств. Его манера держаться отличалась скромностью; кто понимал это, тот вскоре после знакомства с ним проникался значительностью его личности. Официальные исследователи мифа относились к его точке зрения отрицательно, почти не обращая на нее внимания. И этот человек, которому предназначалось по его внутренней значимости одно из первых мест в духовной жизни, остался почти незамеченным. Наука о мифе могла бы почерпнуть из его "Загадки сфинкса" совершенно новые импульсы, но книга эта не оказала почти никакого влияния.

Людвигу Лайстнеру было поручено "Библиотекой мировой литературы" издательства Котты издание полного собрания Шопенгауэра, а также избранных сочинений Жан-Поля. Он передал их мне. И к моим веймарским задачам прибавилась еще и полная проработка философа-пессимиста и гениально-парадоксального Жан-Поля. Обе эти работы представляли для меня глубочайший интерес, поскольку я любил переноситься в духовные организации, совершенно противоположные моей. Не внешние мотивы руководили Людвигом Лайстнером при передаче мне изданий Шопенгауэра и Жан-Поля - поручение это было результатом наших бесед об этих двух личностях. И мысль эта появилась у него именно во время одной из таких бесед.

В Веймаре жил тогда Ганс Ольден* со своей женой Гретой Ольден. Они собрали вокруг себя круг единомышленников, который хотел жить "в настоящем" в противовес всем тем, кто, как бы продолжая прошлое, видел в Гетевском архиве и Гетевском обществе средоточие духовной жизни. Я был принят в этот круг и с большой симпатией вспоминаю все, что было там мной пережито.

Идеи, застылавшие при сопереживании в архиве "филологического метода", становились свободными, живыми, как только попадали в дом Ольдена, где с интересом относились ко всем возникающим мыслям, чтобы новый образ мышления обрел в человечестве твердую почву; в то же время они болезненно ощущали предрассудки старой культуры и задумывались об идеалах будущего.

Свет знает Ганса Ольдена как автора легкомысленных театральных пьес, таких как "Официальная жена", - но в своем веймарском кругу он был другим. Его сердце было открыто высшим интересам современной духовной жизни. Что живет в драмах Ибсена, что будоражило дух Ницше, - об этом в его доме велись нескончаемые, но всегда интересные дискуссии.

Габриэль Рейтер, сочинявшая тогда роман "Из хорошей семьи", благодаря которому ей в одно мгновение удалось завоевать положение в литературе, также посещала ольденовский круг и вносила в него серьезные вопросы, касающиеся жизни женщины и волновавшие тогда человечество.

Ганс Ольден бывал очарователен, когда ироничной фразой обрывал разговор, грозивший принять сентиментальный оборот, но сам же мог стать сентиментальным, когда другие впадали в легкомыслие. В этом кругу желали развить в себе глубочайшее "понимание" всего "человеческого" и в то же время с беспощадной критикой относились к тому, что им не нравилось в том или ином человеке. Ганс Ольден был глубоко убежден в том, что для человека единственный смысл литературы, художественного творчества - это обращение к великим идеалам, о которых так много говорили в его кругу, но сам он слишком презрительно относился к людям, чтобы осуществлять эти идеалы в своих произведениях. Он считал, что идеалы могут жить только в маленьком кругу избранных. Только наивный человек может думать о том, чтобы нести эти идеалы в публику. Как раз в это время он попытался художественно осуществить свои идеи в пьесе "Умная Кэт". Пьеса имела в Веймаре лишь "почетный успех". Это укрепило его во мнении, что публике следует давать то, чего она требует, а свои высшие интересы следует оставлять для небольшого, понимающего в этом толк, круга.

В еще большей степени, чем Ганс Ольден, была проникнута этими воззрениями фрау Грета Ольден. Она была совершенным скептиком в оценке того, что может мир воспринимать из духовного. Все, что она писала, было внушено ей известным гением человекопрезрения.

Душевное настроение, царившее в ольденовском кругу, было пронизано атмосферой эстетического мироощущения, касавшегося самых серьезных вопросов, но не пренебрегавшего и легким юмором ко многому серьезному.

Глава шестнадцатая

К самым прекрасным мгновениям моей жизни я должен отнести переживания, возникшие у меня благодаря Габриэль Рейтер*, с которой я сблизился в ольденовском кругу. Личность, которая несла в себе глубокие проблемы человечества и подходила к ним с известным радикализмом сердца и чувства. Всей душой она переживала то, что в социальной жизни являлось ей как противоречие между укоренившимися предрассудками и исконными требованиями человеческой природы. Женщина в ее рассмотрении в силу условий жизни и воспитания внешне опутана этими предрассудками и ценой страданий на опыте знакомится с тем, что из глубин души просится в жизнь как "истина". Величие Габриэль Рейтер открывалось именно в этом спокойно и умно проявляемом радикализме сердца, исполненном художественного чувства и убедительной силы выражения. Необыкновенно увлекательными были наши беседы в пору ее работы над книгой "Из

хорошей семьи". Обращаясь в мыслях к прошлому, я вижу такую картину: мы стоим на углу улицы и под палящими лучами солнца долго обсуждаем волнующие ее вопросы.

Габриэль Рейтер умела с достоинством, не теряя ни на минуту спокойствия, говорить о вещах, которые других людей тотчас же приводят в заметное возбуждение. "Ликование до небес и смертельная печаль"* жили в ее чувствах, никогда не переходя в слова. Она резко подчеркивала то, что хотела выразить, но делала это не при помощи слов, а используя лишь душевные силы. Ей было присуще именно такое искусство выражения, в рамках собственно душевного, когда речь неизменно сохраняет мерность и спокойствие своего звучания. И мне кажется, что именно в творчестве эта ее особенность вылилась со временем в столь привлекательный стиль.

В том восхищении, которым пользовалась Габриэль Рейтер в ольденовском кругу, было нечто невыразимо прекрасное. "Сколько величия в этой женщине! - говорил мне не раз элегическим тоном Ганс Ольден. - Если бы и я мог столь же мужественно, - добавлял он, - представить внешнему миру то, что волнует меня в глубине души!".

В веймарских мероприятиях, посвященных Гете, этот круг принимал весьма своеобразное участие. Он усвоил себе иронический тон, никогда, впрочем, не переходивший во фривольность. Скорее это было эстетическое возмущение тем, что "прошлое" судит здесь "настоящее". После этих мероприятий Ольден целые дни проводил за пишущей машинкой, составляя заметки о пережитом, в которых, по его мнению, должны были отразиться суждения "мирянина" о пророках-толкователях Гете.

Этот же тон был усвоен и другим "мирянником", Отто Эрихом Гартлебенем*. Он не пропускал ни одного гетевского собрания, но я долго не мог понять цели этих посещений.

Я познакомился с Отто Эрихом Гартлебенем в кругу журналистов, артистов, писателей, которые собирались по вечерам после гетевских празднеств отдельно от "ученых знаменитостей" в отеле "Хемнициус". Мне сразу стало понятно его присутствие, ибо беседы, которые обычно происходили в отеле после заседаний, были его стихией. Он задерживался здесь надолго и никак не мог уйти. Один из таких вечеров я провел вместе с ним и другими участниками мероприятия. На следующее утро мы все "из чувства долга" пришли на гетевское заседание. Гартлебена не было. Но я уже испытывал к нему симпатию и был обеспокоен его отсутствием. Поэтому после собрания я отправился к нему в отель. Он еще спал. Я разбудил его и сказал, что главное собрание Гетевского общества уже закончилось. Я не понимал, зачем ему таким образом принимать участие в празднестве. Но из его ответа я понял, что для него совершенно естественно приехать в Веймар специально на гетевские заседания и спать во время этих заседаний. И он проспал большую часть того, ради чего приезжали другие.

Я сблизился с Отто Эрихом Гартлебенем особым образом. Однажды за ужином, после заседания, разговор зашел о Шопенгауэре. Было сказано много слов, выражавших отрицательное отношение к философу или восхищение им. Гартлебен долго молчал, но затем во время бурного обмена мнениями вдруг сказал: "Он возбуждает интерес в людях, но он ничего не значит для жизни". И при этом вопросительно, как-то по-детски беспомощно посмотрел на меня; он хотел, чтобы и я сказал что-нибудь, зная про мои занятия Шопенгауэром. И я сказал: "Шопенгауэра я считаю ограниченным гением". Глаза Гартлебена заблестели, он как-то забеспокоился, выпил вина, заказал себе еще стакан. С этого мгновения он заключил меня в свое сердце; основание его дружбы со мной было заложено. "Ограниченный гений!". Это ему понравилось. Я мог бы сказать так и о ком-нибудь другом, но для него это не имело значения. Его глубоко взволновало то, что и гений может быть ограниченным.

Гетевские заседания отнимали у меня много сил. Большая часть веймарского общества принадлежала по своим интересам либо к кругу филологов, которые беседуют или сидят за трапезой, либо к направлению Ольдена-Гартлебена. Я должен был присутствовать в обоих кругах. Мои интересы влекли меня к обеим сторонам. И это было вполне возможно, так как у одних собрания происходили днем, у других - ночью. Но мне нельзя было следовать образу жизни Отто Эриха. Я не мог спать во время дневных заседаний. Я любил жизнь во всем ее многообразии, и поэтому дни я с удовольствием проводил в кругу сотрудников архива, у Зуфана, который никогда не был знаком с Гартлебенем, ибо это ему не приличествовало, а вечера - с Гартлебенем и его единомышленниками.

В веймарский период моей жизни перед моей душой вставали мировоззренческие направления целого ряда людей. Это случалось во время непосредственных бесед с теми людьми, с кем были возможны беседы о мировых и жизненных вопросах. А таких людей приезжало тогда в Веймар немало.

Я находился тогда в том возрасте, когда душа склонна активно обращаться к внешней жизни, желая найти прочную связь с ней. Мировоззрения, которые открывались мне, были для меня частью внешнего мира. И я ощутил, как мало, по существу, я жил до сих пор во внешнем мире. И

только уходя от живого общения с кругом моих знакомых, я всякий раз обнаруживал, что родным для меня был лишь духовный мир, зримый мной внутренне. Связь с этим миром была для меня легка. И я часто вспоминал тогда, как труден был для меня в детстве и юности путь через чувства к внешнему миру. Мне всегда было трудно удерживать в памяти, к примеру, внешние данные, необходимые в области науки. Мне приходилось очень долго рассматривать какой-либо природный объект, чтобы запомнить, как он называется, к какому классу принадлежит и т. д. Чувственный мир был для меня чем-то тенеобразным. Он проносился перед моей душой в образах, в то время как связь с духовным носила вполне реальный характер.

Я почувствовал это более всего в начале 90-х годов в Веймаре. Тогда я заканчивал мою "Философию свободы". Я излагал - так ощущал я - мысли, которые давал мне духовный мир вплоть до моего тридцатилетия. Все, что приходило ко мне из внешнего мира, носило лишь характер побуждения.

Особенно я ощущал это в живом общении с веймарскими знакомыми, в беседах с ними о мировоззренческих проблемах. Я проникался их образом мышления и чувствования, но они нисколько не вникали в то, что я внутренне переживал. Я интенсивно вживался в то, что видели и думали другие, но не допускал в этот переживаемый мир мою внутреннюю духовную действительность. Мое собственное существо всегда оставалось замкнутым в себе. И это был действительно мой мир, отделенный как бы тонкой стеной от внешнего мира.

Душой своей я жил в мире, граничащем с внешним, и всякий раз должен был переходить некую границу, когда приходилось иметь дело с внешним миром. У меня было множество знакомых, но в каждом отдельном случае я должен был для общения с ними выходить из моего мира, как через какую-то дверь. Мне казалось, что, вступая во внешний мир, я наношу кому-то визит. Но это не мешало мне принимать живое участие во всем, что происходило в подобных случаях; я даже чувствовал себя совсем как дома.

Так это было с людьми, так было и с мировоззрениями. Я охотно бывал у Зуфана, а также и у Гартлебена. Зуфан никогда не был у Гартлебена, Гартлебен же - никогда у Зуфана. Ни тот, ни второй не входили в образ мышления и чувствования другого. Я же был и у Зуфана, и у Гартлебена как дома. Но ни тот, ни другой не могли, собственно, прийти ко мне. И даже если им это удавалось, они оставались "у себя дома". В моем духовном мире я не переживал никаких визитов.

Я видел самые разные мировоззрения, проходившие перед моей душой: естественнонаучные и идеалистические со множеством оттенков. Я ощущал стремление проникнуться ими, но они не освещали мой духовный мир. Это были лишь призраки, встававшие передо мной, но не действительность, в которой я мог бы жить.

Именно это происходило в моей душе, когда жизнь привела меня в непосредственное соприкосновение с мировоззрениями Геккеля и Ницше. Я ощущал их относительную правомочность. Моя душевная организация не позволяла мне сказать о них: это правильно, а это неправильно. Это могло бы произойти, если бы то, что живет в них, я ощущал как нечто чуждое мне. Однако для меня они были чуждыми одно не более другого, ибо родным для меня был созерцаемый мною духовный мир, а в любом другом мире я чувствовал себя "как дома".

Может показаться, что я безразлично относился к тому, о чем идет здесь речь. Но это вовсе не так. У меня было другое ощущение. Я относился с полным участием ко всему иному, и оно ни в коей мере не отчуждалось, когда я вносил в него собственные суждения и ощущения.

Бесчисленные беседы мне пришлось, например, вести с Отто Гарнаком*, остроумным автором книги "Гете в эпоху своего совершенства". Гарнак часто приезжал в Веймар, так как работал над трудами Гете по искусству. Мне нравился этот человек, на долю которого выпала впоследствии потрясающе трагическая судьба. Беседуя с ним, я сам становился Отто Гарнаком. Я воспринимал его мысли, чувствуя в них себя хотя и в гостях, но совсем "как дома". Однако мне никогда не приходило в голову приглашать его к себе. Он мог жить только у себя. Он так был поглощен своими мыслями, что все, что не было для него "своим", казалось ему чуждым. Если бы он услышал о моем мире, то отнесся бы к нему как к кантовой "вещи в себе", лежащей за "пределами сознания". Я же чувствовал себя духовно обязанным относиться к его миру не по-кантовски, а вносить в него сознание.

Однако подобная жизнь была не лишена духовных опасностей и затруднений. Кто отвергает все то, что не лежит в направлении его мышления, того не смущает относительная обоснованность различных мировоззрений. Он может безоговорочно воспринять заманчивые стороны того, что продумано в каком-то определенном направлении. Такой зачарованный интеллектуализм живет во многих людях. Они легко расправляются с тем, что другие мыслят иначе, чем они сами. Но кому открыт мир созерцаний, мир духовный, тот видит обоснованность различных "точек зрения"; и в

душе он всегда должен держаться настороже, чтобы не позволить той или иной точке зрения сильно увлечь себя.

"Сущность внешнего мира" постигается уже и тогда, когда ему отдаются с любовью, возвращаясь все снова и снова к внутреннему миру духа. При этом поистине учатся жить в духе.

Различные интеллектуальные "точки зрения" взаимно отрицают друг друга; духовное же воззрение видит в них именно "точки зрения". С каждой из них мир представляется совсем иным: как дом, который фотографируют с разных сторон. Картины различны, а дом - все тот же. Если обойти его кругом, получишь общее впечатление.

Если же действительно находишься внутри духовного мира, то будешь считаться с "правильностью" другой точки зрения. Фотографический снимок с какой-либо "точки зрения" рассматривается как нечто, имеющее право на существование. И тогда возникают вопросы об обоснованности и значимости той или иной точки зрения. Так должен был я подойти к Ницше и Геккелю. Я чувствовал, что Ницше "фотографирует" мир с такой точки зрения, к которой стремилось глубоко развитое человеческое существо во второй половине XIX столетия, если оно могло жить духовным содержанием лишь этой эпохи, если в его сознание не прорывалось созерцание духа, но воля подсознательно, с необычайной силой влекла его к нему. Так оживал в моей душе образ Ницше. В нем я видел личность, не узревшую дух, но в которой дух бессознательно восстает против бездуховных воззрений эпохи.

Глава семнадцатая

В этот период в Германии было основано отделение зародившегося в Америке "Общества этической культуры"*. Казалось бы, можно только приветствовать в наше материалистическое время стремление к этическому углублению. Однако стремление это исходило из мировоззрения, вызывавшего во мне сильнейшие сомнения.

Руководители этого движения рассуждали так: в настоящее время мы живем среди множества противоречащих друг другу миро- и жизневоззрений относительно познавательной жизни, религиозных и социальных восприятий. В рамках этих воззрений людей невозможно привести к взаимопониманию. И очень плохо, когда в область этих противоречащих друг другу мнений вовлекаются нравственные чувства, которые люди должны проявлять друг к другу. К чему приведет это, если люди, различные в социальном или религиозном проявлении либо придерживающиеся разных направлений в познании, начнут проявлять свое различие и строить свое моральное поведение в отношении тех, кто мыслит и чувствует по-иному, исходя из этого различия? Нужно поэтому выработать основные принципы чистой человеческой этики, которая была бы независима от всякого мировоззрения и которую мог бы признать каждый, как бы он ни мыслил о различных сферах бытия.

Это этическое движение произвело на меня сильное впечатление. Оно затрагивало самые важные для меня воззрения. Ибо передо мной зияла глубокая пропасть, порожденная образом мышления новейшего времени и разделявшая природные свершения и морально-духовное содержание мира.

Подобное воззрение на природу привело к представлению о мировом развитии, не обладающем морально-духовным содержанием. Предполагалось чисто материальное первобытное состояние мира; затем подбирались законы, согласно которым из этого первобытного состояния постепенно, вплоть до современных форм, могло бы образоваться все живое, одушевленное, одухотворенное. Развивая последовательно этот образ мышления - так я говорил себе, - духовно-моральное представляют не иначе, как результат природной деятельности. И тогда приходят к безразличным для духовно-морального фактам природы, побочным результатом развития которых является моральное, в конце концов погребенное ими же из-за их безразличного отношения к нему.

Я, конечно, принимал во внимание, что осторожные мыслители не выводили это конечное следствие, а просто брали то, что говорили, как им казалось, факты природы, полагая при этом, что не следует упоминать о мировом значении духовно-морального. Но не это казалось мне важным. Я не придавал значения тому, когда утверждали, что в плане природных свершений к моральному следует относиться безразлично, что все это только гипотезы и что о моральном каждый может мыслить по-своему. Я говорил себе: кто даже в малом мыслит о природе так, как это было тогда принято, тот не может приписать духовно-моральному самостоятельного, пребывающего в себе бытия. Если химия, физика, биология останутся такими, как они есть, в том виде, как они кажутся всем незыблемыми, то те существа, которые представляются здесь как действительность, поглощают всю действительность, и тогда духовно-моральное может являться лишь пеной, выступающей из этой действительности.

Я прозревал иную действительность. Такую, которая является духовно-моральной и одновременно несет в себе природное начало. В стремлении к познанию, в котором отсутствует воля пробиться к этой действительности, я видел проявление бессилия. Исходя из моего духовного созерцания я могу утверждать, что над природными фактами и духовно-моральным существует истинная действительность, проявляющая себя морально и обладающая в то же время силой превращаться в моральном действии в свершившийся факт, достигающий того же значения, что и природные свершения. Последние кажутся в отношении к духовно-моральному безразличными лишь по той причине, что они выпали из своей первоначальной связи с ним, подобно тому, как труп человека теряет связь с одушевленно-живым в человеке.

И это было для меня непреложным фактом, ибо я не просто размышлял об этих вещах, я видел их как истину в мировых духовных фактах и существах. Упомянутые "этики" безразлично относились к подобному воззрению; они более или менее бессознательно придерживались того мнения, что стремление к какому-либо мировоззрению ничего не дает и поэтому нужно спасать этические положения, не вдаваясь в то, как связаны они с мировой действительностью. В этом явлении эпохи я видел голое отчаяние, отказ от стремления ко всякому мировоззрению. Бессознательно легкомысленным казался мне человек, утверждавший, что нужно оставить в покое всякое мировоззрение, чтобы вновь иметь возможность распространять среди людей нравственность.

На прогулке с супругами Ольден по веймарскому парку я радикально высказался против этого легкомыслия. Кто в состоянии благодаря своим воззрениям, говорил я, продвинуться так далеко, как это возможно для человека, тому откроются мировые события, в которых обнаружится как реальность морального, так и реальность процессов природы. В журнале "Цукунфт", основанном незадолго до этого времени, я выступил с резкой статьей против того, что называл оторванной от всякой мировой действительности этикой, не имеющей никакой силы. Статье был оказан весьма нелюбезный прием. Но иначе и не могло быть, ведь "этики" мнили себя спасателями культуры.

Для меня это дело было безгранично важным. Я намерен был вести борьбу за признание такого мировоззрения, в котором заложено и проявляет себя этическое наряду со всеми другими реальностями. Так мне пришлось действовать против этики, лишенной мировоззрения.

Я поехал из Веймара в Берлин, чтобы найти возможность представить свои взгляды в прессе.

Я посетил столь уважаемого мною Германа Гримма и был принят им с величайшей любезностью. Однако ему показалось странным, что, пылко защищая свое дело, я занес этот пыл и в его дом. Он выслушал все мои доводы относительно "этиков", не проявляя особого участия. Мне казалось, что я заинтересую его этим столь важным для меня делом. Но мне это нисколько не удалось. Узнав о моем намерении действовать, он сказал: "Сходите к этим людям, я их более или менее знаю; все они очень милые люди". Меня словно облили холодной водой. Человек, которого я так уважал, не почувствовал того, чего я так хотел; ему казалось, что я стану "совершенно благоразумным", когда после посещения "этиков" приду к убеждению, что все они весьма симпатичные люди.

У других я находил столько же интереса к этому, как и у Германа Гримма. В то время такое случалось со мной часто. С трудностями, касающимися моих воззрений на духовное, я должен был справляться совершенно один. Я жил в духовном мире, но никто из моих знакомых не следовал со мной в этот мир. Мое общение с людьми состояло из экскурсий в миры других людей. И мне нравились эти экскурсии. Уважение мое к Герману Гримму отнюдь не пострадало. Но я прошел хорошую школу искусства понимать с любовью тех, кто совсем не пытался понять то, что я вынашивал в своей душе.

Таким было мое веймарское "одиночество", несмотря на обширный круг общения. Но я не сетовал на людей за то, что они осуждали меня на одиночество. Ведь я видел бессознательно проявляющееся во многих людях стремление к мировоззрению, которое проникало бы до основ бытия. Я чувствовал, как тяготел над душами образ мышления, выступавший так уверенно только потому, что затрагивал лишь самое простое, близлежащее. "Природа - это и есть весь мир", - вот в чем заключался этот образ мышления. Полагали, что нужно ее правильно объяснить, и в душах подавлялось все то, что ощущали как помеху для такого правильного объяснения. В подобном свете являлось мне многое из того, что меня тогда духовно окружало. Это было время, когда моя "Философия свободы", главная суть которой уже давно вынашивалась в моей душе, принимала законченную форму.

Как только она была напечатана, я тотчас же послал ее Эдуарду фон Гартману. Он прочел ее с большим вниманием, ибо вскоре я получил обратно его экземпляр с подробнейшими замечаниями на полях от начала до конца. Он писал, что эта книга должна иметь другое заглавие: "Теоретико-познавательный феноменализм и этический индивидуализм". Он не понял ни источников моих идей, ни моих целей. Он мыслил чувственный мир в кантовском духе, пусть даже и в

модифицированном виде. Этот мир он принимал как действие на душу сущностного через органы чувств. Это сущностное никогда не может, по его мнению, вступить в поле восприятий, сознательно охватываемое душой. Оно всегда остается за пределами сознания. Лишь при помощи логических выводов можно строить о нем гипотетические представления. Чувственный мир есть поэтому не нечто объективно существующее, а лишь субъективное явление, существующее в душе, пока эта последняя охватывает его сознанием.

В своей книге я пытался показать, что духовный мир лежит не за чувственным миром как нечто незнакомое, а находится в нем. И мир человеческих идей берет свое начало в этом духовном мире. Сущность чувственного мира скрыта от человеческого сознания лишь до тех пор, пока душа воспринимает только посредством внешних чувств. Если к чувственным восприятиям прибавятся переживания идей, то чувственный мир будет переживаться сознанием в его объективной сущности. Познавание есть не отображение сущностного, а вживание души в это сущностное. Переход от еще несущностного чувственного мира к сущностному происходит внутри сознания. И чувственный мир остается явлением (феноменом) лишь до тех пор, пока еще сознание не справилось с ним.

Таким образом, чувственный мир в действительности является духовным миром. И с этим осознаваемым духовным миром живет душа, распространяя над ним свое сознание. Цель процесса познания - это сознательное переживание духовного мира, перед лицом которого все сводится к духу.

Я противопоставлял феноменализму мир духовной действительности. Эдуард фон Гартман полагал, что я остаюсь в пределах феноменов и только отказываюсь, исходя из них, делать заключение об объективной действительности. Таким образом, ему представлялось, что своим образом мышления я обрекаю человеческое сознание на то, что оно вообще не сможет приблизиться к какой-либо действительности, а будет пребывать в рамках иллюзорного мира, существующего лишь в представлении души (как феномен).

Моему исканию духа посредством расширения сознания противопоставлялся взгляд, согласно которому "дух" живет только в человеческом представлении, а вне его может только мыслиться. Такова была, в сущности, точка зрения эпохи, в которой надлежало появиться моей "Философии свободы". С этой точки зрения переживание духовного сводится к переживанию человеческих представлений. А от них невозможно найти путь к действительному (объективному) миру духа.

Я хотел показать, как в субъективно переживаемом вспыхивает объективно духовное и становится истинным содержанием сознания. Эдуард фон Гартман возражал на это, что человек с подобными представлениями пребывает в иллюзиях чувств и говорить об объективной действительности не может.

Мне стало ясно, что Эдуард фон Гартман отнесся недоверчиво и к моему "этическому индивидуализму".

Ибо на чем основывался он в моей "Философии свободы"? В средоточии человеческой душевной жизни я видел совершенную связь души с духовным миром. Я пытался представить дело так, чтобы свести на нет одно мнимое затруднение, которое смущало очень многих. Обычно предполагают, что душа - или "Я", - чтобы познать, должна отличаться от познаваемого и не должна сливаться с ним в одно целое. Но это отличие возможно также и тогда, когда душа движется, подобно маятнику, между единобытием с духовно-сущностным и осознанием самой себя. Погружаясь в объективный дух, она становится "бессознательной", а осозная себя, вносит в сознание духовно-сущностное.

Если возможно погружение индивидуальности человека в духовную действительность мира, то в этой действительности может быть пережит и мир нравственных импульсов. Нравственность получает содержание, которое из духовного мира раскрывается в человеческой индивидуальности, и расширенное до духовного сознание достигает созерцания этого откровения. То, что побуждает человека к нравственному поступку, есть откровение мира духа при переживании душой этого мира духа. И подобное переживание происходит в пределах собственной индивидуальности человека. Если человек, совершая нравственный поступок, видит себя во взаимоотношении с миром духа, то он переживает свою свободу. Ибо духовный мир действует в душе не как необходимость, а так, что человек свободно развивает активность, побуждающую его к восприятию духовного.

Показать, что чувственный мир является в действительности духовной сущностью и что человек как душевное существо, благодаря истинному познанию чувственного мира, живет и действует в духовном, - являлось одной из целей моей "Философии свободы". В признании нравственного мира, бытие которого раскрывается в переживаемом душой духовном мире и позволяет человеку свободно приблизиться к себе, - состояла ее вторая цель. Поэтому нравственную суть человека следует искать в его совершенно индивидуальном средстве с этическими импульсами духовного

мира. Первая и вторая части "Философии свободы", как я это ощущал, составляли один духовный организм, являлись настоящим единством. Но Эдуард фон Гартман полагал, что они произвольно притянуты друг к другу как теоретико-познавательный феноменализм и этический индивидуализм.

Форма, которую приняли идеи, изложенные в книге, была обусловлена тогдашним моим душевным настроением. Благодаря переживанию мной духовного мира в непосредственном созерцании природа раскрывалась мне как дух; я хотел создать науку о природе, сообразную с духовным. Нравственный мир открывался созерцательно самопознающей человеческой душе как ее всецело индивидуальное переживание.

Источником формирования идей для моей книги являлось духовное переживание. И прежде всего это антропософия, которая ориентирована на природу и на положение человека в природе с индивидуально присущей ему нравственной сущностью.

"Философия свободы" как бы выделила из меня и послала во внешний мир то, что выразилось в первую эпоху моей жизни как идеи, сформированные благодаря вызванному судьбой переживанию естественнонаучных загадок бытия. Дальнейший путь представлялся мне теперь лишь борьбой за формирование идей, относящихся к духовному миру.

Познания, приобретаемые человеком из внешнего чувственного наблюдения, были описаны мной как внутреннее антропософское переживание духа человеческой душой. То, что я не употреблял тогда слова "антропософия", вызвано тем, что душа моя в первую очередь стремится к созерцанию, а не к терминологии. Для меня было важно выработать прежде всего идеи, которые могли бы дать представление о переживании человеческой душой мира духа.

Внутренняя борьба за такое формирование идей стала содержанием отрезка моей жизни с тридцати- до сорокалетнего возраста. Судьба предназначила мне тогда такую внешнюю деятельность, которая не соответствовала моей внутренней жизни в той мере, чтобы суметь выразить ее.

Глава восемнадцатая

В этот же период произошло мое вступление в область духовного переживания, в которой пребывал Ницше.

Мое первое знакомство с сочинениями Ницше приходится на 1889 год. До этого я не читал ни одной его строчки. На содержание моих идей, нашедших выражение в "Философии свободы", его идеи не имели никакого влияния. Читая Ницше, я ощущал притягательность его стиля, который выработался из его отношения к жизни. Душа его ощущалась мной как некое существо, которое с унаследованным и приобретенным через воспитание вниманием прислушивалось ко всему тому, что было создано духовной жизнью его эпохи, и вместе с тем постоянно носило в себе ощущение: какое мне дело до этой духовной жизни; должен существовать иной мир, в котором я мог бы жить; в этом же мире мне многое мешает в жизни. Это чувство сделало его вдохновенным критиком своего времени, но таким критиком, которого собственная критика привела к болезни. Ему пришлось узнать болезнь, и о здоровье, о своем здоровье он мог только мечтать. Сначала он пытался претворить свои мечты о здоровье в содержание своей жизни и подобно Рихарду Вагнеру, Шопенгауэру и современному "позитивизму" мечтать так, словно грезы в своей душе хотел претворить в действительность. Но однажды он понял, что все это только грезы. И тогда он со всей силой, присущей его духу, стал искать действительность. Действительность, которая должна была "где-то" существовать; однако он нашел не "путь" к этой действительности, а лишь тоску по ней. И тоска стала в нем реальностью. Он грезил дальше; но могучая сила его души создала из грез внутренние, человеческие реальности, которые парили свободно, без тяжести, издавна присущей человеческим идеям, в духовно-радостном, однако омраченном "духом эпохи" душевном настроении.

Так воспринимал я Ницше. Свободное парение его идей, отсутствие в них тяжести восхищало меня. Я считал, что именно это парение породило в нем многие мысли, которые были сродни мыслям, возникавшим во мне на путях, совершенно не сходных с его путями.

Таким образом, в 1895 году в предисловии к моей книге "Ницше как борец против своего времени"* я мог сказать: "Уже в моей появившейся в 1886 году небольшой книге "Теория познания гетевского мировоззрения" высказывается то же воззрение, что и в некоторых сочинениях Ницше". Но особенно меня привлекало то, что Ницше не стремился сделать из читателя своего "последователя". Можно было с искренней радостью воспринимать свет его духа и чувствовать себя при этом совершенно свободным, ибо возникало ощущение, что его слова начнут смеяться, если от них требовать того, чтобы читатель соглашался с ними, как это было в случае с Геккелем или Спенсером.

Поэтому в упомянутой книге мое отношение к Ницше я выразил в словах, подобных тем, в которых сам Ницше выражал свое отношение к Шопенгауэру: "Я принадлежу к тем читателям Ницше, которые, прочитав у него первую страницу, знают уже определенно, что прочтут всю книгу и отныне будут прислушиваться к каждому его слову. У меня сразу возникло доверие к нему... Я понимал его так, словно он, если можно так нескромно и нелепо выразиться, писал именно для меня".

Незадолго до того, как я начал писать эту книгу, Гете-Шиллеровский архив посетила сестра Ницше - Элизабет Фёрстер-Ницше*. Она предпринимала тогда первые шаги к основанию архива Ницше и хотела ознакомиться с устройством Гете-Шиллеровского архива. Вскоре приехал в Веймар и издатель сочинений Ницше - Фриц Кегель*, и я познакомился с ним.

Позднее с Элизабет Фёрстер-Ницше у меня возникли тяжелые конфликты. Но тогда ее любезность и подвижный ум вызывали во мне глубочайшую симпатию. Эти конфликты причинили мне неопишуемые страдания. Возникли они вследствие запутанной ситуации, и я был вынужден защищаться от обвинений. Я знаю, что все это было нужно для того, чтобы на воспоминания о прекрасных часах, проведенных мной в архивах Ницше в Веймаре и Наумбурге, накинуть покрывало горечи; но все же я благодарен фрау Фёрстер-Ницше за то, что при первом же из моих многочисленных посещений она привела меня в комнату своего брата. На диване лежал умопомраченный Ницше с удивительно прекрасным челом, челом художника и одновременно мыслителя. Были первые послеполуденные часы. Его глаза, которые и в угасании были исполнены вдохновения, еще воспринимали окружающую картину, уже не имевшую доступа к его душе. Мы стояли возле него, но Ницше не знал об этом. И все же при взгляде на его одухотворенное лицо еще могла возникнуть мысль о том, что оно является выражением души, которая все утро творила в себе мысли, а теперь решила немного отдохнуть. Внутреннее потрясение, охватившее мою душу, как бы перешло в понимание этого гения, взгляд которого был направлен в мою сторону, но не касался меня. Пассивность этого застывающего подолгу взгляда вызывала активность моего собственного, который, не встречая взгляда Ницше, приводил в действие душевную силу глаз.

Перед моей душой стояла такая картина: душа Ницше, как бы парящая над его головой, безмерно прекрасная в своем духовном свете; свободно отдававшаяся духовным мирам, по которым тосковала до своего помрачения, но их не нашедшая; еще прикованная к телу, знавшему о ней в те времена, пока этот мир был тоской. Душа Ницше была еще здесь; но она лишь извне могла поддерживать тело, которое мешало ей раскрыться в полном свете, пока она была еще в нем.

До этого момента я только читал Ницше; теперь же я узрел Ницше, несшего в своем теле идеи из отдаленных областей духа, которые все еще сияли красотой, хотя и утратили в пути силу своего изначального света. Душа, принесшая из прежних земных жизней богатство золотого света, но не сумевшая дать ему полностью светиться в этой жизни. Я изумлялся тому, что написал Ницше, но теперь за моим изумлением стоял ярко сияющий образ.

Мои мысли - это лишь лепет о том, что я видел тогда. И лепет этот составляет содержание моей книги "Ницше как борец против своего времени". Но за ним скрывается истинный факт: книга внушена мне образом Ницше.

Фрау Фёрстер-Ницше предложила мне привести в порядок библиотеку Ницше. Благодаря этому я получил возможность провести несколько недель в архиве Ницше в Наумбурге. За это время я очень сблизился с Фрицем Кёгелем. Это было приятное поручение - просматривать книги, которые читал Ницше. Во впечатлениях от этих книг оживал его дух. Экземпляр книги Эмерсона*, усеянный заметками на полях, носивший следы основательной проработки. Сочинения Гюйо* с такими же следами. Книги со страстными критическими замечаниями, сделанными его рукой. Большое количество заметок на полях, благодаря которым можно увидеть, как прорастали зародыши его идей.

Радикальные идеи последнего творческого периода Ницше стали мне понятны при чтении его заметок на полях основного философского сочинения Евгения Дюринга*. Дюринг конструирует здесь мысль о том, что человек может в каждое мгновение представить себе Вселенную как комбинацию из элементарных частиц. И тогда мировое развитие - это последовательность таких всевозможных комбинаций. Как только они исчерпаются, вновь возникнет первая комбинация и весь процесс повторится снова. Если представлять себе действительность подобным образом, то можно сделать вывод о том, что она уже существовала бесчисленное количество раз и бесчисленное количество раз повторится в будущем. Это приводит к идее бесконечного повторения одинаковых состояний Вселенной. Дюринг отбрасывает эту мысль как невозможную. Ницше читает об этом; у него создается некое впечатление; оно работает дальше в подосновах

его души и преобразуется в нем в идею о "возвращении единообразного", которая наряду с идеей о "сверхчеловеке" господствовала в его последнем творческом периоде.

Изучая круг чтения Ницше, я был глубоко взволнован, даже потрясен полученным впечатлением. Ибо я видел, сколь противоположны по образу духовности Ницше и его современники. Крайний позитивист Дюринг, отвергающий все, что не является результатом трезвой, действующей по математическим законам схематики, находит мысль о "вечном возвращении единообразного" абсурдной и строит ее только для того, чтобы показать ее невозможность. Но Ницше воспринимает ее как свое разрешение мировой загадки, как интуицию, идущую из глубин собственной души.

Таким образом, Ницше являет собой полную противоположность всему тому, что обрушивалось на него как содержание мышления и чувствования его эпохи. Он воспринимал эти бури, глубоко страдая от них, творя в страдании, в неописуемых душевных муках содержание собственной души. Именно в этом трагизм его творчества.

Этот трагизм достиг высшей точки, когда Ницше изложил в общих чертах мысли к своему последнему сочинению - "Воля к власти", или "Переоценка всех ценностей". Ницше склонялся к тому, чтобы извлекать все свои мысли и чувства из глубин собственной души чисто духовным образом. Создать картину мира из деяний духа, сопереживаемых душой, - к этому стремился Ницше. Однако на него влияла позитивистская картина мира естественнонаучной эпохи, в которой он жил. Мир здесь был чисто материальным, бездуховным. И то, что мыслилось еще духовно, было остатком древнего образа мышления, не вписывалось в эту картину мира. Сильнейшее чувство истины Ницше стремилось все это уничтожить. Так он пришел к крайнему позитивизму. Духовный мир, скрытый за материальным, был для него ложью. Он мог творить только из собственной души. И творить в смысле истинного творчества, когда оно ставит перед собой содержание духовного мира в идеях. Однако Ницше отрицал это содержание. Естественнонаучное содержание мира так сильно захватило его душу, что он стремился воссоздать его как бы духовным путем. Лирически, в дионисийском душевном полете возносится его душа в "Заратустре". Изумительно проступает здесь духовное, но оно грезит в духовных чудесах о материальном содержании действительности. Дух распыляется, сходит на нет в своем развитии, ибо он не в состоянии найти себя, он может лишь переживать являющийся ему в мечтах отблеск материального как свою мнимую сущность.

Моя душевная жизнь в Веймаре более всего была посвящена рассмотрению образа духовности Ницше. Такой образ духовности находил себе место в моем собственном духовном переживании, которое разделяло борьбу Ницше, его трагизм; какое ему было дело до позитивистских результатов, к которым приходила мысль Ницше!

Некоторые считали меня "ницшеанцем", потому что я умел восхищаться и тем, что противоречило моему духовному направлению. Меня захватило то, как дух раскрывался в Ницше; именно этим он близок мне, ибо содержанием своих мыслей он не был близок никому; с людьми и эпохами его связывало лишь сопереживание духовных путей.

Некоторое время я общался с издателем Ницше Фрицем Кёгелем. Мы обсуждали с ним вопросы, касающиеся издания сочинений Ницше. Официального положения в архиве Ницше или при издательстве я никогда не занимал. Фрау Фёрстер-Ницше хотела предложить мне место в архиве, но именно это стало причиной конфликтов с Фрицем Кёгелем, которые сделали для меня невозможными какие-либо отношения с архивом.

Моя связь с архивом Ницше в моей веймарской жизни - это эпизод, который дал мне сильные импульсы, но и причинил мне глубокую боль, когда связь эта была разорвана.

Благодаря обстоятельным занятиям философией Ницше у меня сложился взгляд на его личность, судьба которой - пережить естественнонаучную эпоху последней половины XIX столетия во всем ее трагизме и погибнуть от соприкосновения с ней. Он искал в этой эпохе, но не мог в ней ничего найти. Это переживание лишь укрепило мое мнение о том, что сущностное следует искать не результатах естественной науки, но через них - в духе.

Благодаря творчеству Ницше проблема естественных наук встала перед моей душой в новой форме. В моей перспективе были Гете и Ницше. Сильнейшее чувство реальности Гете было направлено на существа и процессы природы. Он хотел остаться в природе. Он придерживался чистого созерцания растительных, животных и человеческих форм. Однако, пребывая в них душой, он всюду наталкивался на дух: он находил действующий в материи дух. Но прийти к созерцанию живущего и деятельного в самом себе духа он не хотел. Он развивал "сообразное с духом" познание природы, но остановился перед чистым духо-познанием, чтобы не утратить действительность.

Ницше исходил из духовного воззрения в мифической форме. Он переживал духовные образы Аполлона и Диониса. Течение человеческой истории духа было для него как совместной

деятельностью Аполлона и Диониса, так и борьбой между ними. Однако все это он доводил лишь до мифического представления таких духовных образов. Он не достиг созерцания реального духовного существа. Исходя из духо-мифа он проникал в природу. В душе Ницше Аполлон должен был предстать как нечто материальное, по образцу естественной науки. Дионис действовал как природная сила. Тем самым красота Аполлона затемнялась, а дионисийское чувство мира подавлялось закономерностью природы.

Гете обрел дух в действительности природы; Ницше утратил духо-миф в грезах о природе, в которых он жил.

Я стоял между этими двумя противоположностями. Душевные переживания, которые отразились во всей полноте в моей книге "Ницше как борец против своего времени", не нашли своего продолжения; в последний период моей веймарской жизни в поле моих рассмотрений вновь воцарился Гете. Я хотел охарактеризовать путь, по которому шла мировоззренческая жизнь человечества до Гете, и затем представить мировоззрение Гете, как оно вышло из этой жизни. Я попытался сделать это в книге "Мировоззрение Гете", которая увидела свет в 1897 году.

В этой книге я хотел показать, как Гете, занимаясь чистым природопознанием, всюду видел отблеск духа; но каким образом Гете относился к духу как таковому, об этом я в книге не упоминал. Я хотел охарактеризовать ту часть гетевского мировоззрения, которая живет в "сообразном с духом" воззрении на природу.

Идеи Ницше о "вечном возвращении" и "сверхчеловеке" долго занимали меня, ибо в них отражалось то, что должна была пережить относительно развития человечества и человеческого существа личность, которую от постижения духовного мира удерживали крепко спаянные идеи естествознания конца XIX столетия. Ницше видел развитие человечества так, что происходящее в данный момент подобным же образом совершалось уже бесчисленное количество раз и столько же раз повторится в будущем. Атомистическое устройство Вселенной позволяет рассматривать настоящий момент как проявление определенной комбинации мельчайших сущностей; к ней примыкает другая, затем третья; когда все возможные комбинации исчерпаны, вновь появляется первая. Человеческая жизнь со всеми ее особенностями уже присутствовала здесь бесчисленное множество раз и повторится столько же раз с теми же особенностями.

"Повторяемость земных жизней" человека брезжила в подсознании Ницше. Они ведут человеческую жизнь в ходе развития человечества к жизненным этапам, на которых действующая на духовных путях судьба приводит человека не к повторению одинаковых переживаний, а к разнообразно складывающемуся прохождению через мировой процесс. Ницше был скован узами естествознания. Его душа была зачарована тем, что делало это последнее с повторными земными жизнями. И он переживал это. Ведь свою жизнь он ощущал как трагическую, насыщенную болезненными испытаниями, сгибающуюся под тяжестью горя. Испытать эту жизнь вновь бесчисленное количество раз - вот что стояло перед его душой вместо перспективы приносящих освобождение испытаний, которые этому исполненному трагизма человеку предстояло пережить в дальнейшем развитии грядущих жизней.

И Ницше чувствовал, что в человеке, который переживает себя в одном земном бытии, открывается другой человек - "сверхчеловек", который в телесном земном бытии может воссоздать лишь фрагменты всей своей совокупной жизни. Идеи естественно-природного развития позволяли ему рассматривать этого "сверхчеловека" не как духовно господствующее начало внутри чувственно-физического, а как нечто, формирующееся через природное развитие. Как человек развивается из животного, так из человека развивается "сверхчеловек". Естественнонаучное воззрение не позволило Ницше увидеть "духочеловека" в "природочеловеке" и ослепило его высшим "природочеловеком".

То, что пережил Ницше в этом направлении, во всей наглядности стояло перед моей душой летом 1896 года. Фриц Кегель дал мне тогда просмотреть собранные им афоризмы Ницше к "Вечному возвращению". Мои мысли о происхождении и развитии идей у Ницше были изложены мной в 1900 году в статье, напечатанной в журнале "Магазин фюр литературы". В отдельных фразах этой статьи запечатлено то, что я пережил в 1896 году в связи с Ницше и естественной наукой. Я повторяю здесь мои мысли той эпохи*, оставляя в стороне полемическую форму, в которую они были тогда облечены.

"Нельзя сомневаться в том, что эти афоризмы были записаны Ницше в свободной последовательности ... Я и сейчас придерживаюсь высказанного тогда еще убеждения, что эта идея зародилась у Ницше под влиянием чтения "Курса философии как строго научного мировоззрения и формирования жизни Евгения Дюринга (Лейпциг, 1875 г.). На 84-й странице этой книги мы находим эту мысль ясно выраженной; но она там же энергично опровергается, тогда как Ницше защищает ее. Книга эта сохранилась в библиотеке Ницше. Он очень усердно читал ее, об этом свидетельствуют многочисленные карандашные пометки на полях... Дюринг говорит: "Более

глубокая логическая основа всякой сознательной жизни требует в строгом смысле слова неисчерпаемости творения. Возможна ли сама по себе такая бесконечность, порождающая все новые формы? Конкретное количество материальных частей и силовых элементов исключило бы само по себе бесконечное число накоплений комбинаций, если эта неограниченность вариаций не обуславливается постоянством среды пространства и времени. Из того, что поддается счету, может следовать только конечное число комбинаций. Но из того, что по существу своему не может быть принято без возражений как нечто исчислимое, должно вытекать неограниченное многообразие состояний и отношений. Эта неограниченность, к которой мы апеллируем относительно судьбы образований Вселенной, совместима со всяким изменением и даже с появлением интервала инерции или полной тождественности (выделено мною), но не с прекращением всякого изменения. Кто хотел бы культивировать представление о бытии, которое соответствовало бы его изначальному состоянию, должен помнить, что развитие во времени обладает лишь одним-единственным реальным направлением и что причинность тоже соответствует этому направлению. Гораздо легче стирать различия, чем устанавливать их, и поэтому не представляет никакого труда вообразить себе конец по аналогии с началом, игнорируя при этом пропасть. Но постраемся оберечь себя от такой поверхностной поспешности; ибо однажды данное бытие Вселенной является не каким-то незначительным эпизодом между двумя состояниями ночи, а единственной твердой и светлой причиной, исходя из которой мы строим наши заключения и предположения...". Дюринг также считает, что вечное повторение состояний не имеет для жизни привлекательности. "Само собой разумеется, - говорит он, - что принцип привлекательности жизни несовместим с вечным повторением одних и тех же форм..."

Естественнонаучное воззрение подталкивает Ницше к выводу, перед которым Дюринг в страхе отступает, ибо через математическое рассмотрение он приходит к ужасающей картине жизни.

"Предположим, - говорится дальше в моей статье, - что для материальных частиц и силовых элементов возможно исчислимое количество комбинаций: тогда мы получаем идею Ницше "о возвращении единообразного". Не что иное, как утверждение отвергаемой Дюрингом идеи содержится в афоризме 203 (т. XII в издании Кёгеля, и афоризм 22 в книге Горнеффера "Учение Ницше о вечном возвращении"): "Мера сил Вселенной определена, "бесконечного" не существует. Остережемся таких необузданных понятий! Следовательно, число состояний, изменений, комбинаций и развитии этой силы хотя и чрезвычайно велико и практически "неисчислимо", но во всяком случае есть нечто определенное и не бесконечное, т. е. сила всевечно одна и та же и всегда активна: до этого момента бесконечность уже завершилась, т. е. всякое возможное развитие уже имело место. Настоящее развитие является, следовательно, повторением, как и развитие, породившее его, и развитие, возникающее из него, и т. д. вперед и назад! Все уже было бесконечное количество раз, поскольку повторяется общее положение всех сил...". Чувство Ницше относительно этой мысли противоположно тому, что чувствует Дюринг. Для Ницше эта мысль является высшей формулой утверждения жизни. Афоризм 43 (у Горнеффера 234, изд. Кёгеля) гласит: "Будущая история: эта мысль будет все более побеждать - и те, кто не верят в это, в силу своей натуры должны будут в конце концов вымереть! Останутся только те, кто считает свое бытие способным на вечное повторение; среди таких людей возможно такое состояние, о котором не мечтали и утописты!".

Можно доказать, что многие из мыслей Ницше возникли таким же образом, как и идея о вечном возвращении. К какой-либо уже существующей идее Ницше создавал противоположную. Именно эта тенденция привела его к главному сочинению: "Переоценка всех ценностей".

Уже тогда мне стало ясно, что Ницше с некоторыми своими стремящимися к духовному миру мыслями является пленником естественнонаучного воззрения. Поэтому я решительно отклонял мистическое толкование его идеи о вечном возвращении. Я был согласен с Петером Гастом*, который писал в своем издании сочинений Ницше: "Учение об исчерпаемости, т. е. повторяемости космических молекулярных комбинаций понималось чисто механистически". Ницше полагал, что высшие идеи следует черпать из основ естественнонаучного воззрения. Причины его страданий коренились в эпохе, в которой он жил.

Созерцая душу Ницше, я представлял себе все страдания того времени (1896), которые раскрывались при духовном рассмотрении естественнонаучных взглядов конца XIX столетия.

Глава девятнадцатая

Как одинок я был тогда со всем тем, что вынашивал в тиши как свое "мировоззрение", в то время как мои мысли были направлены с одной стороны на Ницше, с другой - на Гете. Это одиночество я

ощущал и в отношениях со многими людьми, с которыми чувствовал себя дружески связанным и которые все же решительно отвергали мою духовную жизнь.

Друг, которого я приобрел в юные годы*, после нашего столкновения на идейной почве, когда мне пришлось сказать ему: "Если то, что ты думаешь о сущности жизни, правильно, то лучше уж быть мне балкой, на которой я стою, чем человеком", - не переставал относиться ко мне с неизменной верностью и любовью. Его излучавшие теплоту письма из Вены переносили меня в места, столь любимые мной благодаря теплым человеческим взаимоотношениям, в атмосфере которых я тогда жил.

Но как только мой друг касался в своих письмах моей духовной жизни, - разверзалась пропасть.

Он часто писал мне, что я чужаюсь всего чисто человеческого, что я "рационализирую свои душевные импульсы". У него сложилось мнение, будто жизнь чувств превращается у меня в жизнь чистой мысли, и он ощущает это как исходящий от меня холод. Что бы я ни приводил в опровержение этого мнения, ничего не помогало. И даже дружеская теплота, с которой он относился ко мне, временами убывала, ибо он не мог отрешиться от убеждения, что я охвачен холодом в отношении чисто человеческих проявлений, так как растрчиваю свою душевную жизнь в мыслительных областях.

Он не хотел понять, что в мыслительной жизни я не становлюсь равнодушным, а, напротив, стараюсь внести в эту жизнь все человеческое, чтобы вместе с ним охватить в сфере мыслей духовную действительность.

Он не видел, что чисто человеческое сохраняется и тогда, когда оно восходит в область духа; он не видел, как можно жить в области духа; ему казалось, что там можно только мыслить, а следовательно - затеряться в холодной области абстрактного.

Так он сделал из меня "рационалиста". Я ощущал это как величайшее непонимание того, что было на моем духовном пути. Всякое мышление, уводящее от действительности и расплывающееся в абстрактном, вызывало во мне глубокое отвращение. Из моего душевного настроения следовало, что мысль из чувственного мира нужно доводить лишь до той ступени, где ей уже угрожает опасность стать абстрактной; но в этот момент, говорил я себе, она должна вобрать в себя дух. Мой друг видел, как, погружаясь в мысли, я выхожу из мира физического, но он не замечал, что в то же мгновение я вступаю в мир духовный. И поэтому когда я говорил о действительно духовном, это было для него иллюзией; мои слова казались ему сплетением из абстрактных мыслей.

Тот факт, что сказанное мной о самом для меня важном было для моего друга просто "ничем", заставлял меня глубоко страдать. И такие отношения складывались со многими другими людьми.

То, что таким образом выступало мне в жизни навстречу, касалось и моего восприятия естествознания. Истинным я мог признать только такой метод исследования природы, когда мысли используют для проникновения в суть чувственных явлений, взятых в их взаимосвязи; я не мог согласиться с тем, что при помощи мыслей, за пределами чувственного воззрения, можно строить какие-либо гипотезы, которые указывали бы на некую внечувственную действительность. На самом деле подобные гипотезы лишь сплетают паутину из абстрактных мыслей. В тот момент, когда мысль в достаточной мере определила то, что верно увиденные чувственные явления объясняют через самих себя, - я хотел начинать не с построения гипотезы, а с созерцания, с познания духовного, сущностно обитающего в мире чувств, а не за чувственным восприятием.

Воззрение, сложившееся во мне в середине 90-х годов, позднее нашло отражение в статье, напечатанной в 1900 году ("Магазин фюр литературы", № 16): "Научное расчленение нашей познавательной деятельности приводит ... к убеждению, что вопросы, с которыми мы обращаемся к природе, являются следствием свойственного нам отношения к миру. Как индивидуальности мы ограничены и поэтому можем воспринимать мир лишь по частям. Каждый такой фрагмент, рассматриваемый как нечто самостоятельное, является загадкой, или, выражаясь иначе, вопросом для нашего познания. Но чем больше мы знакомимся с частностями, тем яснее становится для нас мир. Одно восприятие объясняет другое. Вопросов, которые ставит нам мир и на которые нельзя было бы ответить при помощи средств, предлагаемых им же, не существует. Поэтому для монизма не существует никаких принципиальных границ познания. То или иное явление может быть необъяснимым в данный момент, потому что во временном и пространственном отношении мы еще не в состоянии уловить все, что связано с объяснением данного явления. Но что не найдено сегодня, может быть найдено завтра. Обусловленные этим границы являются случайными, по мере развития опыта и мышления они исчезают. В этих случаях в свои права вступает гипотеза. Нельзя строить гипотезы о чем-то, принципиально недостижимом для нашего познания. Атомистическая гипотеза совершенно необоснованна, если она задумана не как вспомогательное средство для абстрагирующего рассудка, а как свидетельство о действительных сущностях, находящихся за пределами досягаемости наших восприятий. Гипотеза может быть

лишь допущением факта, недоступного нам по случайным причинам, но по существу своему принадлежащего данному нам миру".

Этот взгляд на образование гипотез был высказан мной тогда, когда я говорил о необоснованности "границ познания" и необходимости границ для естествознания.

Тогда это касалось только природо-познания. Однако эти идеи всегда прокладывали мне путь там, где при помощи средств природо-познания достигают неизбежной "границы", которую можно перейти уже при помощи средств духо-познания.

Глубокое внутреннее удовлетворение и душевное отдохновение переживал я в Веймаре благодаря культурной и художественной жизни, неотъемлемыми элементами которой были художественная школа и театр - с его музыкальными постановками.

В художниках - учителях и учениках художественной школы - проявлялось то, что исходило из старых традиций и стремилось к новому, непосредственному созерцанию и воспроизведению природы и жизни. Среди этих художников было много действительно "ищущих". Как краску с палитры нанести на холст, чтобы создаваемое художником находилось в правильном отношении к созидающей, являющейся человеческому глазу природе? Вопрос этот обсуждался увлеченно, часто с оказывающей благотворное действие фантазией, иногда - во всевозможных формах доктринерства. О том, как он переживался в искусстве, свидетельствовали многочисленные картины веймарских художников на постоянно действующей художественной выставке в Веймаре.

Мое художественное чувство тогда еще не было столь развито, как мое отношение к познавательным переживаниям. И все же в живом общении с веймарскими художниками я стремился к духовному постижению искусства.

Когда я оглядываюсь назад, в моем воспоминании довольно-таки хаотично встает то, что я чувствовал в душе, когда современные художники, стремившиеся непосредственно схватить и передать игру света и воздуха, активно выступали против "стариков", которые из традиции "знали", как писать ту или иную картину. Во многих жило одухотворенное, проистекавшее из сокровеннейших душевных сил стремление быть правдивым, когда внемлешь природе.

Но не хаотично, а в самых ясных формах предстает перед моей душой жизнь одного молодого художника, становление которого было тесно связано с развитием моей собственной художественной фантазии. Этот художник сблизился со мной на некоторое время в пору расцвета его молодости. Жизнь и его отдалила от меня, но я часто вспоминал совместно пережитое время.

Вся душевная жизнь этого молодого человека была свет и цвет. То, что другие выражают в идеях, он выражал "красками в свете". Даже рассудок его был устроен так, что вещи и процессы жизни он связывал между собой подобно тому, как смешивают краски, а не так, как образует мысли о мире обычный человек.

Однажды я увидел его на свадьбе, куда был приглашен и я. Как принято, произносились торжественные речи. Речь пастора была построена на толковании имен жениха и невесты. Я часто бывал в родном доме невесты, поэтому мне тоже пришлось произнести речь. Я попытался исполнить свой долг, рассказывая о чудесных переживаниях, испытываемых гостями в этом доме. Я это делал, поскольку от меня ждали "подобающую" случаю свадебную речь. Эта роль доставила мне мало удовольствия. После меня встал молодой художник, также давнишний друг этой семьи. От него ничего не ждали, зная, что он не обладает качествами, необходимыми для произнесения застольных речей. Он начал приблизительно так: "Над пламенеющей пурпуром вершиной холма изливающееся любовью сияние солнца. Облака над холмом, дышащие в солнечном блеске. Пылающие румянцем щеки, обращенные навстречу солнечному свету, образующие триумфальную арку духовного цвета и сопровождающие струящийся к земле свет. Повсюду поля, усеянные цветами, - настроение, заплавшее желтым, проникающее в цветы и пробуждающее в них жизнь ...". Он еще долго говорил так, затем вдруг перестал замечать свадебный шум вокруг себя и начал рисовать "в духе". Я не знаю, что его остановило; должно быть, кто-то из присутствующих, кто относился к нему с большой симпатией, но в то же время не хотел лишать гостей спокойного наслаждения свадебным жарким, потянул за его бархатный сюртук.

Молодого художника звали Отто Фрелих*. Он часто бывал у меня, и мы совершали совместные прогулки. Когда мы были вместе, он всегда рисовал "в духе". Находясь рядом с ним, можно было забыть, что в мире существует еще что-то, кроме красок и света.

Так ощущал я моего молодого друга. Все мои слова, обращенные к нему, я облекал в одеяние из красок, чтобы быть понятым им.

И он действительно научился владеть кистью и накладывать краски таким образом, что его картины поистине стали отражением его богатой красочной фантазии. Если он писал ствол дерева, то на холсте появлялась не форма ствола, но все, что выявляют наружу свет и краски, когда ствол дерева дает им возможность проявить себя.

Я по-своему пытался найти духовное содержание цвета. Именно в нем я видел тайну сущности цвета. Отто Фрëлих инстинктивно нес в себе как личное переживание то, что я искал для постижения мира красок с помощью человеческой души.

Я был счастлив, что благодаря собственным исканиям мог дать моему молодому другу некоторые побуждения к работе. Одно из них состояло в следующем: я очень сильно переживал то великолепие красок, каким отмечена у Ницше глава "О самом безобразном человеке" в "Заратустре". "Долина смерти", эта живопись в стихах, заключала в себе, на мой взгляд, многие тайны из жизни красок.

Я посоветовал Отто Фрëлиху эту "живопись" в стихах Ницше выразить теперь "стихами" живописи в картине, изображающей Заратустру и самого безобразного человека. Он сделал это. Получилось нечто изумительное. В фигуре Заратустры были сконцентрированы яркие, выразительные цвета. Однако сама фигура была выявлена не полностью, ибо в самом Фрëлихе цвет еще не мог достаточно раскрыться для создания образа Заратустры. Зато тем живее переливались краски "зеленых змеев" в долине самого безобразного человека. В этой части картины был весь Фрëлих. Что касается "самого безобразного человека", то здесь не доставало линий, живописной характеристики. Фрëлих не справился с ним. Он не знал еще тайны красок, позволяющей воссоздать духовное в той или иной форме. "Самый безобразный человек" стал у него просто воспроизведением модели, которого веймарские художники называли "Фюльзак" (букв, "набитый мешок"). Я не знаю, была ли это в действительности фамилия человека, которого часто изображали художники, когда хотели дать нечто "характерное по своему безобразию", но я знаю, что безобразие этого человека уже не было чем-то филистерски-мещанским, а носило черты "гениальности". Однако помещать его безобразную копию на картине, где через переливы красок на лице и одеянии Заратустры во всем своем сиянии раскрывалась его душа, где свет, играя на зеленых змеях, волшебным образом извлекал истинную суть красок, значило испортить всю работу. И картина не получилась такой, какую мог бы, как я надеялся, создать Отто Фрëлих.

Хотя я замечал за собой склонность к общению, в Веймаре я не ощущал большого желания находиться там, где собирались люди, занимающиеся искусством.

Собрания эти происходили в романтическом, переделанном из старинной кузницы "Доме художественного общества", который находился напротив театра. В полусумраке цветного света здесь засиживались преподаватели и ученики художественной школы, музыканты и артисты. Кто "искал" общества, тот испытывал потребность проводить здесь вечера. Со мной же этого не происходило, потому что общества я не искал, однако с благодарностью принимал его, когда к этому приводил случай.

И поэтому я знакомился со многими художниками в других кругах; но это были не "работники искусства".

Уже само по себе знакомство с некоторыми художниками в Веймаре того времени было важным жизненным приобретением. Ибо традиции двора, чрезвычайно симпатичная личность Великого герцога Карла Александра сообщали городу артистический отпечаток, который приводил в связь с Веймаром почти все то, что происходило в искусстве за этот отрезок времени.

Прежде всего это был театр с добрыми старыми традициями. Лучшие актеры театра не склонялись к натурализму. А там, где современное все же давало о себе знать и стремилось избавиться от некоторой косности, которая всегда сопутствует даже добрым традициям, - оно было далеко от того "современного понимания", которое Брам* пропагандировал на сцене, а Пауль Шлентер - в журнальных статьях. Первым среди этих "веймарских новаторов" был Пауль Вике*, весь проникнутый благородным пламенным духом искусства. Видеть людей, совершавших в Веймаре первые шаги в искусстве, - значило получить неизгладимое впечатление и пройти дальнейшую школу жизни. Театральная среда, в которой нуждался Пауль Вике, раздражала обычного, рядового артиста, воспитанного на традициях.

Много увлекательных часов провел я в доме Пауля Вике. Он был дружен с моим другом Юлиусом Вале, и это сблизило меня с ним. Меня часто приводило в восхищение, как шумно реагировал Вике на то, что приходилось ему переживать во время репетиций новой пьесы, и как он затем исполнял свою роль, которая приводила его в такое состояние. Его игра всегда доставляла мне необычайное наслаждение благодаря стремлению к благородному стилю и яркому огню вдохновения.

В Веймаре совершал свои первые шаги Рихард Штраус. Вместе с Лассеном он выступал как второй дирижер. Первые произведения Рихарда Штрауса были исполнены именно в Веймаре. Музыкальные искания этой личности проявлялись как часть веймарской духовной жизни. Только в Веймаре того времени так радостно и беззаветно принималось то, что будучи принятым, становилось актуальной проблемой искусства. Кругом царит спокойствие традиций, атмосфера, полная достоинства и сдержанности. И вот сюда приезжает Рихард Штраус со своей "Заратустра-

симфонией" и музыкой к "Уленшпигелю". И от традиций спокойствия и важности ничего не остается; и происходит это так, что... одобрение приятно, а отрицание не доставляет неприятности - и художник может столь прекрасным образом узнать об отношении к своему творению.

Несколько часов мы провели на первом представлении штраусовской музыкальной драмы "Гунтрам", где главную роль исполнял почти потерявший голос, но всеми любимый певец и прекрасный человек Генрих Целлер*.

Эта симпатичная личность должна была пройти через Веймар, чтобы стать тем, кем она стала. Генрих Целлер обладал прекрасным природным дарованием певца. Для своего развития он нуждался в окружении, которое с терпением относилось бы к становлению таланта. И развитие Генриха Целлера следует отнести к самому прекрасному, что можно было тогда пережить.

Когда при встрече Генрих Целлер звал меня в артистическое общество, я каждый раз охотно следовал этому приглашению, хотя сначала и не собирался идти туда.

Однако веймарская обстановка имела и теневые стороны. Традиционность, любовь к покою зачастую погружает артиста в состояние некоторой притупленности. Генрих Целлер был мало известен за пределами Веймара. То, что вначале способствовало его взлету, позднее парализовало его. Подобное случилось и с моим милым другом Отто Фрелихом. Как и Целлеру, ему нужна была артистическая почва Веймара, но эта приглушенная духовная атмосфера поглотила его своей артистической уютностью.

Эту атмосферу "артистической уютности" ощутили тогда, когда сюда стал проникать дух Ибсена и других современных писателей. Это испытали все, например, актеры, которые, преодолевая трудности, стремились выработать стиль для "Норы". Здесь можно было увидеть, что подобные искания возможны только там, где благодаря преемственности старых сценических традиций очень трудно выразить то, что исходит от писателей, идущих не от сцены - как Шиллер, а от жизни - как Ибсен.

Современные веяния сказывались и на театральной публике, тоже зараженной этой "артистической уютностью". Нужно было найти путь между тем, что диктовали обстоятельства в лице жителей "классического Веймара", и тем, что составляло величие Веймара, т. е. его всегдашним пониманием всего нового.

С радостью вспоминаю я постановки вагнеровских музыкальных драм в Веймаре. Директор театра фон Бронсарт с особым пониманием и преданностью относился именно к этой форме театрального искусства. К музыкальным драмам особенно подходил голос Генриха Целлера. Одаренной певицей была Агнесса Ставенгаген, жена пианиста Бернарда Ставенгагена, который некоторое время был дирижером театра. Периодически организуемые музыкальные празднества привлекали в Веймар многих представителей современного искусства. Так, на одном из таких музыкальных празднеств можно было увидеть дирижирующего Малера в начале его творческого пути. Неизгладимое впечатление производила его манера дирижировать, раскрывать музыку не в текучести форм, а оттенять переживание сверхчувственного, сокрытого между формами.

Все эти веймарские события, встающие перед моей душой, казалось, происходили совершенно отдельно от меня, но в действительности были глубоко связаны с моей жизнью. Ибо все эти события и обстоятельства я переживал как нечто, имеющее ко мне непосредственное отношение. Позднее, при встречах с тем или иным произведением или автором, первые шаги которого я сопереживал в Веймаре, я с благодарностью вспоминал веймарский период, когда научился столь многое понимать, ибо многое проходило там стадию своего зарождения. Именно в Веймаре я проникся стремлением к искусству и о многих вещах выработал собственное суждение, часто шедшее вразрез с суждениями других. Но наряду с собственными ощущениями меня столь же сильно интересовало все, что чувствовали другие. И во мне стала развиваться двойная душевная жизнь.

Это было предоставляемое самой жизнью и судьбой истинное упражнение души для преодоления абстрактного "или-или" рассудочного суждения. Такое суждение воздвигает границы между душой и сверхчувственным миром. В этом последнем не существует процессов или существ, дающих повод к такому "или-или". В отношении сверхчувственного следует быть разносторонним. Нужно учиться не только теоретически, но и выработать привычку все воспринимать в глубины душевной жизни, рассматривать с различных точек зрения. Такие "точки зрения", как материализм, реализм, идеализм, спиритуализм, как они развиваются абстрактно ориентирующимися в физическом мире людьми в обширные теории для придания значимости этим вещам, - для познающего сверхчувственное теряют всякий интерес. Он знает, что, например, материализм не может быть ничем, кроме как взглядом на мир с такой точки зрения, при которой мир раскрывает себя в материальных явлениях.

Практическим обучением в этом направлении является то, когда видишь себя перенесенным в некое бытие, которое богатую внешними событиями жизнь делает внутренне столь же близкой, как

собственные суждения и ощущения. В Веймаре подобное происходило со мной часто. Мне кажется, что с концом столетия этому тоже пришел конец. Раньше еще повсюду витал дух Гете и Шиллера. Милый старый Великий герцог, который так важно прохаживался по Веймару и его паркам, мальчиком еще застал Гете. Он очень сильно ощущал свое "благородство", но всегда отмечал, что благодаря "делам Гете, совершенным для Веймара", он чувствует себя как бы вдвойне обласканным.

Дух Гете действовал в Веймаре так сильно, что некоторые мои сопереживания веймарских событий стали для меня практически душевным упражнением для верного изображения сверхчувственных миров.

Глава двадцатая

Прекрасные дружеские отношения сложились у меня с семьей архивариуса Гете-Шиллеровского архива Эдуарда фон дер Хеллена*. Среди сотрудников архива эта личность занимала особое положение. В кругах специалистов-филологов фон дер Хеллен пользовался большим авторитетом благодаря своей первой, чрезвычайно удачной работе - "Участие Гете в Лафатеровских физиогномических фрагментах". В этой работе он достиг результатов, которые его коллеги-специалисты посчитали за "абсолютные". Но сам автор так не думал. Он воспринимал свое исследование как методическое, принципы которого можно "изучать", между тем как сам он стремился к внутреннему душевному осуществлению, исполненному духовного содержания.

Если не было посетителей, мы втроем собирались в старой комнате для сотрудников архива, когда он еще находился во дворце: фон дер Хеллен готовил к изданию письма Гете, Элиус Вале - дневники, я же работал над изданием естественнонаучных трудов Гете. В промежутках между работой мы беседовали о самых разных областях духовной и общественной жизни. Импульс к этим беседам всегда исходил из духовных запросов Эдуарда фон дер Хеллена. Чаще всего затрагивались проблемы, непосредственно связанные с Гете. Из дневниковых записей, из писем Гете, раскрывавших порой столь глубокие концепции и свидетельствовавших о его широком кругозоре, вытекали наблюдения, которые вели в глубины бытия и просторы жизни.

Эдуард фон дер Хеллен был так любезен, что ввел меня в круг своей семьи, и таким образом продолжились отношения, возникшие благодаря нашему столь интересному общению в архиве. Семья фон дер Хеллена вращалась в тех кругах, которые я описывал в связи с супругами Ольден и Габриэль Рейтер, и благодаря этому круг моих знакомых также значительно расширился.

Особенно яркий след оставила в моей памяти жена фон дер Хеллена, вызывавшая во мне глубокую симпатию. Это была поистине художественная натура, которая могла бы многого добиться в искусстве, если бы ее не отвлекали другие жизненные обязанности. Однако судьба ее, насколько я знаю, сложилась так, что ее артистические способности проявились лишь на первых порах. Но когда мы беседовали об искусстве, каждое ее слово оказывало благотворное действие. Основной чертой ее была некоторая сдержанность, осторожность в суждении и, вместе с тем, чистая глубокая человечность. После каждой беседы с фрау фон дер Хеллен душа моя еще долго была занята тем, о чем она говорила или, вернее, лишь касалась этого.

Исключительной любезностью отличались также отец фрау фон дер Хеллен, генерал-лейтенант, который, еще будучи майором, участвовал в войне семидесятого года, и его вторая дочь. В кругу этих людей оживали лучшие стороны немецкой духовности, той духовности, религиозные, эстетические, популярно-научные импульсы которой, так долго составлявшие истинную духовную сущность немцев, проникали во все области социальной жизни.

Интересы Эдуарда фон дер Хеллена на некоторое время приблизили ко мне политическую жизнь того времени. Неудовлетворенность филологией привела фон дер Хеллена к активной политической жизни Веймара. Ему казалось, что именно здесь открывается для него более широкая жизненная перспектива. Дружеский интерес к этой личности заставил и меня проявить интерес к движениям общественной жизни, но без деятельного участия в политике.

Многое, что в настоящее время обнаружило невозможность своего существования или породило в страшных метаморфозах абсурдные социальные формы, находилось тогда на стадии своего возникновения и несло в себе надежды рабочего класса, энергичные, красноречивые вожди которого сумели внушить ему, что человечество вступает в новую эпоху социального устройства. Пролетарские радикальные элементы, отличавшиеся рассудительностью, завоевывали авторитет. Наблюдать все это было весьма интересно, ведь то, что выявилось тогда подобным образом, было как бы кипением общественной жизни где-то в подпочве. Наверху же развивался респектабельный консерватизм, опиравшийся на благородно мыслящий двор, который действовал энергично и настойчиво во имя всего гуманного. В этой атмосфере процветала реакционная

партия, воспринимавшая себя как нечто естественное, а также то, что называлось национал-либерализмом.

Разобраться во всей этой путанице и занять роль вождя, эффективно справляющегося со всеми вопросами, - этому посвятил свою жизнь Эдуард фон дер Хеллен. Все, что он переживал в связи с этим, приходилось переживать вместе с ним. Работая над какой-нибудь брошюрой, он обсуждал все ее подробности в кругу друзей. Нужно было проявлять столь же глубокий интерес к материалистическому пониманию истории, классовой борьбе, прибавочной стоимости, как и сам Эдуард фон дер Хеллен, причем понятия эти воспринимались тогда не так, как в настоящее время. Нам не оставалось ничего иного, как посещать многочисленные собрания, на которых он выступал как оратор. Он хотел противопоставить теоретически построенной марксистской программе другую, которая должна была возникнуть из доброй воли всех друзей рабочих из всех партий и стремиться к социальному прогрессу. Он хотел оживить центристские партии через принятие в их программы таких импульсов, благодаря которым можно было бы разрешить социальную проблему.

Деятельность эта не привела к результатам. Я могу сказать лишь то, что, если бы я не принимал участия в устремлениях фон дер Хеллена, общественная жизнь в этот период не переживалась бы мной так сильно.

Эта жизнь открывалась мне и с другой стороны, правда, не столь интенсивно. И здесь обнаружилось, что всякая политика, если она не исходит от фон дер Хеллена, вызывает во мне противодействие.

В Веймаре проживал тогда некий д-р Генрих Френкель*, свободомыслящий политик, приверженец Ойгена Рихтера. Я познакомился с ним. Это недолгое знакомство закончилось "недоразумением". Но я с удовольствием вспоминаю о нем. Этот в своем роде чрезвычайно достойный человек обладал энергичной политической волей и полагал, что с помощью добрых намерений и разумных взглядов можно вдохновить людей на прогрессивный путь в общественной жизни. Его жизнь состояла из непрерывной цепи разочарований. Я сожалею о том, что и мне пришлось доставить ему разочарование. В момент нашего знакомства он работал над брошюрой и хотел распространить ее в массы. Он считал своим долгом бороться против начинающегося тогда в Германии объединения крупной промышленности с сельским хозяйством, которое позднее, как он думал, привело бы к губительным последствиям. Брошюра эта называлась "Император, будь суров". Он хотел убедить круги, близкие к императору, что такое объединение вредно, однако его попытки оказались совершенно безуспешными. Он видел, что из той партии, к которой он принадлежал и для которой работал, невозможно черпать силы, которые могли бы стать основой для задуманного им дела.

В один прекрасный день его осенила мысль возродить венский "Дойче вохеншифт", который я недолго редактировал в Вене несколько лет тому назад. С помощью этого журнала он собирался создать политическое течение, которое направило бы тогдашний "либерализм" к более национальной и духовно свободной деятельности. Он полагал, что вместе с ним и я мог бы работать в этом направлении, но это было невозможно. В восстановлении журнала я также отказался принимать участие. Форма, в которой я все это ему сообщил, привела к недоразумениям, разрушившим вскоре нашу дружбу.

Однако из этой дружбы возникло и нечто иное. У этого человека были очень милая жена и свояченица. Он ввел меня в свою семью, которая, в свою очередь, познакомила меня с другой семьей. И здесь произошли события, которые были словно отражением той замечательной взаимосвязи человеческих судеб, с которой я уже однажды встретился в Вене. Там я поддерживал близкие отношения с членами одной семьи, глава которой, все время оставаясь незримым, душевно-духовно стал так близок мне, что после его смерти я говорил о нем в надгробной речи как о самом лучшем друге. Благодаря его семье моей душе предстала истинная духовная сущность этого человека.

В подобные же отношения я вступил с главой семьи, с которой я познакомился благодаря свободомыслящему политику. Глава этой семьи умер незадолго до этого; вдова его была погружена в благочестивые мысли об умершем. Обстоятельства сложились так, что я покинул квартиру, которую занимал в Веймаре, и снял помещение в их доме. Это была библиотека покойного. Обладая многосторонними духовными интересами, он, как и глава той венской семьи, уклонялся от общения с людьми, жил в своем собственном "духовном мире", славя в обычном мире "чудаком".

Я чувствовал, что как этот человек, так и тот другой, с которыми я не мог встретиться в физической жизни, проходят через мою судьбу как бы "за кулисами бытия". В Вене возникла тогда прекрасная связь между семьей того знакомого "незнакомца" и мной; а в Веймаре между этим "знакомцем", его семьей и мной возникло нечто более значительное.

Собираясь говорить об этих "незнакомых знакомцах", я отдаю себе отчет, что все сказанное мной будет сочтено большинством людей за нелепую фантазию. Ведь речь идет о моем сближении с этими человеческими душами в той области мира, в которой они пребывали, пройдя через врата смерти.

Каждый человек имеет внутреннее право вычеркнуть из круга своих интересов вопросы, касающиеся этой области; но совсем иное - смотреть на них только как на фантастические измышления. И тому, кто придерживается подобной точки зрения, я должен сказать, что источники такой душевной организации, исходя из которой можно с уверенностью говорить о духовном, я всегда искал в таких областях точных наук, как математика и аналитическая механика. Следовательно, при изложении последующего меня нельзя упрекнуть в легкомысленной болтовне, лишенной всякой ответственности за сказанное.

Силы духовного созерцания, которые я нес тогда в душе, сделали для меня возможным более тесное общение с обеими душами после их земной смерти. Они не были похожи на других умерших, которые после земной смерти живут сначала жизнью, которая по своему содержанию тесно связана с земной и лишь постепенно становится похожей на ту, какую переживает человек в чисто духовном мире, где проходит его бытие до следующей земной жизни.

Оба "незнакомых знакомца" основательно изучили идеи материалистической эпохи. Они на понятийном уровне проработали в себе естественнонаучный образ мышления. Мой веймарский "знакомый" хорошо знал Бильбота* и подобных ему мыслителей-естественников. От духовного же мировоззрения во время своей земной жизни они были далеки. Каждый из них отклонил бы любое встретившееся ему духовное воззрение, потому что "естественнонаучное мышление" было для них результатом фактов, соответствующих характеру привычного для той эпохи образа мышления.

Однако эта связь с материализмом эпохи касалась только мира идей этих личностей. В жизни они не усвоили себе привычек, вытекавших из материализма их мышления и господствовавших у всех других людей. В мире они считались "чужаками", жизнь их облекалась в формы более простые, чем было тогда принято, и не совсем соответствовала их имущественному положению. И поэтому в духовный мир они перенесли не то, что могла бы дать их духовным индивидуальностям связь с материалистическими волевыми ценностями, а только то, что насадили в эти индивидуальности материалистические мыслительные ценности. Все, что происходило в их душах, большей частью относится, конечно, к области подсознательного. И теперь я мог видеть, что эти материалистические мыслительные ценности вовсе не делают человека после смерти чуждым божественно-духовному миру; отчуждение наступает только благодаря материалистическим волевым ценностям. Душа, ставшая близкой мне в Вене, как и душа, с которой я познакомился духовно в Веймаре, после смерти стали чудесно сияющими духовными образами, душевное содержание которых было исполнено образами духовных существ, лежащих в основе мира. И знакомство их с идеями, благодаря которым они точнее мыслили материальное во время своей последней земной жизни, привело к тому, что и после смерти они смогли развить отношение к миру, основанное на верном суждении. Этого не могло бы произойти, если бы эти идеи оставались для них чуждыми.

В качестве этих двух душ на путь моей судьбы вступили существа, благодаря которым мне раскрылось непосредственно из духовного мира значение естественнонаучного образа мышления. Я мог видеть, что этот образ мышления сам по себе не уводит от духовного воззрения. У этих личностей это случилось по той причине, что во время земной жизни они не нашли возможности возвысить естественнонаучное мышление до той сферы, где начинается духовное переживание. После смерти они выполнили это наисовершеннейшим образом. Я видел, что этого можно достичь также и в земной жизни, если проявить необходимое внутреннее мужество и силу. Благодаря сопереживанию, имеющему в духовном мире высокую значимость, я видел также, что человечество должно развить в себе естественнонаучный образ мышления. Прежний образ мышления мог связать человеческую душу с духом сверхчувственного мира; он мог привести человека - если тот вообще достигал самопознания (основы всякого познания), - к тому, что человек осознавал себя как отображение или как члена божественно-духовного мира; но он не мог привести к тому, чтобы человек ощущал себя самостоятельным, замкнутым в себе существом. Поэтому необходимо было сделать шаг к постижению мира идей, который возжигается не от самого духа, а получает импульсы из материального, которое духовно, но идет не от духа.

Побуждение к такому миру идей человек может найти не в духовном мире, в котором он живет после смерти до следующего нового рождения, но лишь в земном бытии, потому что только здесь перед ним предстает материальная форма бытия.

На примере этих двух человеческих душ я мог пережить, что приобретает человек для всей своей жизни в целом (в том числе и духовной, после смерти) благодаря сращению с естественнонаучным образом мышления. Но я смог также увидеть, что другие, подпавшие в

земной жизни под влияние волевых последствий естественнонаучного образа мышления, отделились от духовного мира и пришли к такой жизни, которая при наличии естественнонаучного образа мышления выявляет, так сказать, человека в его человечности менее, чем это произошло бы без него.

Эти люди стали "чужаками", ибо не желали терять в земной жизни свою человечность; они восприняли в полном объеме естественнонаучный образ мышления, потому что хотели достичь духовной стадии человечества, которая без него невозможна.

Я не смог бы приобрести подобных воззрений, если бы встретился с этими душами как физическими личностями во время их земного бытия. Для узрения их индивидуальностей в духовном мире, в котором мне раскрывалась их сущность, а благодаря этому и многое другое, мне была необходима та чуткость душевного зора, которая легко теряется, когда пережитое в физическом мире скрадывает или, по крайней мере, ослабляет то, что должно быть пережито чисто духовно.

В своеобразии появления этих душ в моем земном бытии я должен был видеть нечто, предназначенное судьбой для пути моего познания.

Но о чем-либо, связанном со спиритизмом, при этом отношении к душам в духовном мире не может быть и речи. В отношении духовного мира ничто не имело для меня значения, кроме действительного духовного созерцания, о котором я позже говорил в моих изданных антропософских сочинениях. Для медиумического общения с умершими как венская, так и веймарская семья были слишком здоровы.

Что касается этого вопроса, я всегда интересовался и такими исканиями человеческих душ, которые относятся к спиритизму. Современный спиритизм - это отклонение от духовного тех душ, которые желают найти дух внешним, почти опытным путем, потому что они уже не могут воспринимать истинное, реальное и подлинное духовным образом. Кто интересуется спиритизмом вполне объективно, не желая что-либо исследовать с его помощью, тот составит себе верное представление о стремлениях и заблуждениях спиритизма. Мои собственные исследования всегда шли по иному пути, чем спиритизм в любой его форме. Именно в Веймаре существовала возможность интересного общения со спиритами, ибо в артистических кругах некоторое время интенсивно изживал себя этот способ искания духовного.

Мое же общение с обеими душами - веймарскую звали Эунике - вливало новые силы в мою "Философию свободы". То, к чему я в ней стремился, является, во-первых, результатом моего философского образа мышления в 80-е годы; во-вторых, - это результат моего конкретного общего прозрения в духовный мир. И, в-третьих, возник приток новых сил благодаря со-переживанию духовных переживаний этих двух душ. На их примере я видел тот подъем, которым человек обязан естественнонаучному мировоззрению. Однако я видел и страх благородных душ перед вживанием в волевой элемент этого мировоззрения. Такие души отступали в страхе перед этическими последствиями такого мировоззрения.

В моей "Философии свободы" я пытался теперь найти ту силу, которая ведет из этически нейтрального естественнонаучного мира идей в мир моральных импульсов. Я хотел показать, что человек, который осознает себя замкнутым в себе духовным существом - потому что он живет в идеях, проистекающих уже не из духа, а получающих импульсы из материального бытия, - может и для моральной сферы развить интуицию из своего собственного существа. Благодаря этому моральное возжигается в ставшей свободной индивидуальности как индивидуальный этический импульс, подобно идеям естественнонаучного воззрения.

Эти две души не достигли моральной интуиции. И потому они в страхе отступили (бессознательно) перед жизнью, в которой еще не получили широкого распространения естественнонаучные идеи.

Я говорил тогда о "моральной фантазии" как об источнике морального в отдельной человеческой индивидуальности. Разумеется, я при этом не имел в виду нечто не вполне действительное. Напротив, "фантазией" я обозначил силу, которая в отдельном человеке способствует достижению всех областей истинного духовного мира. Для действительного же переживания духовного должны выступить силы духо-познания: имажинация, инспирация, интуиция. Однако первый луч духовного откровения в осознающем себя как индивидуальность человеке вспыхивает благодаря фантазии, далекой от всякой фантастики и являющейся образом духовно-реального. Именно это можно наблюдать у Гете.

Большую часть времени, проведенного в Веймаре, я жил в семье моего веймарского "незнакомца". Я занимал часть квартиры; фрау Анна Эунике*, с которой у меня вскоре завязалась самая тесная дружба, бескорыстно заботилась обо мне. Большое значение она придавала тому, что я помогал ей в решении трудной задачи воспитания детей. После смерти Эунике она осталась с четырьмя дочерьми и сыном.

Детей я видел только тогда, когда представлялся для этого случай. И это происходило часто, так как ко мне относились совсем как к члену семьи. Питался я, за исключением завтрака и ужина, вне дома.

Но не я один чувствовал себя уютно в этом семейном кругу. Когда однажды молодые участники собраний Гетевского общества, приехавшие из Берлина, захотели побыть в более уютной обстановке, среди "своих", они пришли ко мне в дом Эунике. И, судя по тому, как они держались, я смело могу утверждать, что в этом доме они чувствовали себя прекрасно.

Здесь любил бывать и Отто Эрих Гартлебен, когда приезжал в Веймар. Гетевский альманах, изданный им, составлен нами именно там в течение нескольких дней.

Из моих собственных больших работ там были написаны "Философия свободы" и "Ницше как борец против своего времени".

Многие из моих веймарских друзей охотно проводили часок-другой у меня, в доме Эунике. Прежде всего мне запомнился Август Фрезениус*: с ним я был связан узами истинной сердечной дружбы. С определенного момента он стал постоянным сотрудником архива. До этого он издавал "Дойче литературцайтунг"*. Его редакция всеми принималась за образцовую. Много накопилось у меня на сердце против филологии, какой она была под руководством последователей Шерера. Август Фрезениус заставил меня забыть про мои предубеждения. Он никогда не скрывал, что хочет быть только филологом, настоящим филологом. И филология была для него действительно любовью к слову, наполняющей жизненной силой всего человека; слово было для него человеческим откровением, в котором отражается вся закономерность Вселенной. Кто хочет прозреть все тайны слова, тот должен познать все тайны бытия. Поэтому филолог должен обладать универсальными знаниями. Соответственно применяемые, верные филологические методы могут, исходя из совершенно простого, бросить свет на широкие и важнейшие сферы жизни.

Фрезениус показал это на одном примере, чрезвычайно заинтересовавшем меня. Этот вопрос мы часто обсуждали, прежде чем он изложил свои мысли в коротком, но содержательном очерке в "Гетевском ежегоднике".

До этого открытия, сделанного Фрезениусом, все, кто занимался объяснением гетевского Фауста, заблуждались относительно одного замечания Гете, сделанного им Вильгельму фон Гумбольдту* за пять дней до смерти. "Концепция "Фауста", - говорил Гете, - стала для меня ясной в юности, более шестидесяти лет тому назад, с самого начала (von vornherein); дальнейшее же развитие виделось менее подробно". Комментаторы восприняли слова "с самого начала" так, будто у Гете сразу возник план всего "Фауста", а затем он разрабатывал частности. Того же мнения придерживался и мой дорогой учитель и друг Карл Юлиус Шрёэр.

Если признать правильность этого взгляда, то окажется, что "Фауст" - это произведение, сложившееся в главных своих чертах еще в молодости Гете. Из этого следовало бы, что душевный склад Гете позволял ему работать исходя из одной общей идеи и что эта работа, при условии непоколебимости самой идеи, продолжалась шестьдесят лет. Открытие Фрезениуса неопровержимо вскрыло всю неправильность этого утверждения. Он показал, что Гете никогда не употреблял слова "с самого начала" в том смысле, какой приписывали ему комментаторы. Он говорил, например, что прочитал книгу "с самого начала", остального же не читал. Слова "с самого начала" употреблялись им только в пространственном смысле. Тем самым было доказано, что комментаторы "Фауста" ошибались и что Гете говорил не о существовавшем "с самого начала" плане "Фауста", а только о том, что в молодости ему были ясны первые части и разработаны некоторые дальнейшие детали.

Благодаря правильному применению филологического метода многое из гетевской психологии стало более ясным.

Меня удивило тогда, что это открытие, которое стало известным после опубликования в "Гетевском ежегоднике" и могло принести дальнейшие результаты для понимания гетевского духа, произвело весьма слабое впечатление именно на тех, кого более всего должно было заинтересовать.

С Фрезениусом можно было говорить не только о филологии. Все, что волновало тогда современников, все, что происходило интересного в Веймаре или вне его, становилось содержанием наших долгих бесед. Мы часто встречались и горячо спорили о многом, что, впрочем, не нарушало гармонии наших отношений, ведь мы были убеждены в серьезности наших воззрений. И мне очень больно вспоминать, что моя дружба с Фрезениусом тоже дала трещину из-за недоразумений, возникших у меня в связи с архивом Ницше и фрау Фёрстер-Ницше. Мои друзья не могли представить себе картины происшедшего. И я не мог дать удовлетворяющего их объяснения, потому что, собственно, ничего особенного и не произошло. Причиной были утвердившиеся в Ницшевском архиве иллюзии, которые и вызвали недоразумения. То, что я мог

сказать по этому поводу, содержится в опубликованных мной позже статьях в журнале "Магазин фюр литератур". Я глубоко сожалел обо всем этом, ведь дружба с Августом Фрезениусом пустила глубокие корни в моем сердце.

Часто вспоминал я еще одного моего друга, Франца Фердинанда Хейтмюллера*, который тоже присоединился к кругу сотрудников архива, но после Вале, фон дер Хеллена и меня.

В Хейтмюллере изживала себя тонкая, художественно ощущающая душа. Обо всем он судил с точки зрения художественного чувства и был очень далек от интеллектуальности. Атмосфера, царившая в архиве, приобрела благодаря Хейтмюллеру оттенок художественности. Он был автором тонких, изящных новелл и совсем неплохим филологом. И работал он в архиве не хуже других. Он всегда пребывал в своего рода внутренней оппозиции ко всему, что разрабатывалось в архиве, и в особенности к тому, как эта работа понималась. Благодаря ему мы некоторое время живо ощущали, что Веймар некогда был местом духовно активного и возвышенного творчества; теперь же его сотрудники удовлетворялись тем, что для уже созданного устанавливали, придерживаясь буквы, различные прочтения, а в лучшем случае комментировали тексты. Хейтмюллер анонимно описал все, что думал об этом, в "Новом немецком обозрении" С. Фишера, в новелле "Затонувшая Венеция". Сколько было потрачено усилий, чтобы отгадать, кто превратил некогда столь духовно процветающий Веймар в "затонувший город"!

Хейтмюллер жил в Веймаре со своей матерью, чрезвычайно милой дамой. Она подружилась с фрау Анной Эунике и часто бывала у нее, так что я имел удовольствие видеть в доме, где я жил, обоих Хейтмюллеров.

Мне вспоминается еще один друг, который присоединился к моему кругу в первые годы моего пребывания в Веймаре и сблизился со мной; дружба эта не прекратилась и тогда, когда я покинул Веймар и приезжал сюда изредка на короткое время. Это был немецкий художник из Богемии Йозеф Ролечек*, приехавший в Веймарскую художественную школу. Чрезвычайно симпатичный человек, в беседе с которым охотно раскрывались сердца. Ролечек был сентиментальным и в то же время слегка циничным человеком; с одной стороны он был пессимистом, а с другой - был склонен мало ценить жизнь, в которой, как ему казалось, никакие вещи не стоят даже и пессимизма, поскольку они не имеют ценности. В его присутствии часто говорили о несправедливости в жизни; и в конце концов он пускался в длинные рассуждения относительно того, как несправедливо было отношение света к бедному Шиллеру в сравнении с обласканным уже самой судьбой Гете.

Несмотря на ежедневное общение с этими людьми и постоянный живой обмен мыслями и впечатлениями, я не мог тогда говорить непосредственно о моих переживаниях духовного мира даже с теми, с кем был близок. Я считал, что необходимо осознать, как истинный путь в духовный мир приводит сначала к переживанию чистых идей. И я прибегал к различным формам выражения, указывая на то, что человек, сознательно переживающий краски, звуки, тепло и т. д., в состоянии переживать также чистые, свободные от влияния внешних восприятий и живущие вполне самостоятельно идеи. И в этих идеях пребывает истинный живой дух. Все остальное духовное переживание в человеке, говорил я тогда, возникает в сознании из этой жизни идей.

То, что я искал духовное переживание прежде всего в переживании идей, привело к недоразумению, о котором я уже говорил: даже близкие друзья, которые не видели в идеях живую действительность, принимали меня за рационалиста или интеллектуала.

Понимание живой действительности мира идей энергичнее всего проявлялось в одном молодом человеке, часто приезжавшем тогда в Веймар, - в Максе Христлибе*. В начале моего пребывания в Веймаре я часто встречался с этим ищущим духовного познания человеком. К тому времени он уже прошел подготовительное обучение, чтобы стать евангелическим пастором, сдавал теперь докторский экзамен и готовился к миссионерскому служению в Японии, куда затем и уехал.

Этот человек видел - я бы сказал, вдохновенно, - что жизнь в чистых идеях является в то же время и жизнью в духе, что в мире чистых идей природа озаряется светом познания и материя является лишь видимостью (иллюзией) и что благодаря идеям все физическое бытие обнаруживает себя как дух. Я испытывал глубокое удовлетворение, находя в этой личности столь полное понимание сути духовного. Это было понимание духо-бытия в идеальном. Там дух живет так, что из моря всеобщего идеального духо-бытия еще не могут быть выделены для воспринимающего зора живые творческие духовные индивидуальности. Об этих духовных индивидуальностях я пока еще не мог говорить Макс Христлибу. Это означало бы требовать от его прекрасного идеализма чего-то непосильного. Но с ним можно было говорить об истинном духо-бытии. Все написанное мной до этого времени он основательно изучил. И в начале 90-х годов у меня возникло впечатление, что Макс Христлиб обладает даром проникать в духовный мир благодаря живой духовности идеального, т. е. путем, который я считал самым верным. Что это

направление позднее выдерживалось им не вполне, а отклонилось в сторону, - говорить здесь об этом нет надобности.

Глава двадцать первая

Благодаря вышеупомянутому свободомыслящему политику я познакомился с одним молодым человеком, владельцем книжного магазина. Когда-то этот магазин знал лучшие дни. Было это еще до моего переезда в Веймар, при отце нынешнего владельца. Для меня было очень важно, что магазин издавал листок, в котором помещались обзорные статьи о современной духовной жизни, рецензии на вышедшие в свет литературные, научные и художественные издания. Но это издание пришло в упадок и распространялось из рук вон плохо. Однако мне была предоставлена возможность писать о том, что уже находилось на моем духовном горизонте или только появлялось на нем. Хотя мои многочисленные статьи и рецензии читались немногими людьми, мне было приятно иметь в своем распоряжении листок, в котором я мог печатать то, что считал нужным. Здесь закладывались импульсы, ставшие плодотворными позднее, когда я стал издателем журнала "Магазин фюр литературы", работа над которым обязывала меня интенсивно сопереживать и продумывать события современной духовной жизни.

Так Веймар стал для меня местом, к которому я часто мысленно возвращался в последующие годы, ибо узкие рамки, в которых я вынужден был находиться, живя в Вене, теперь расширились, давая место переживаниям духовного и человеческого, результаты которых обнаружились позднее.

Но все же самым значительным были сложившиеся здесь отношения с людьми. Воспроизводя в последующие годы перед своей душой Веймар и мою тогдашнюю жизнь, я чаще всего обращал духовный взор на одну семью, которая была мне особенно дорога.

Я познакомился с актером Нейфером*, когда он еще выступал на сцене Веймарского театра. Я оценил в нем прежде всего серьезное, строгое отношение к своему призванию. Он не допускал в своих суждениях о театральном искусстве ничего дилетантского. И это действовало благотворно уже потому, что люди не всегда осознают, что искусство актера должно основываться, подобно, например, музыке, на объективных художественных предпосылках.

Нейфер был женат на сестре пианиста и композитора Бернарда Ставенгагена. Я был вхож в его дом, и поэтому меня принимали радушно и в доме родителей фрау Нейфер и Бернарда Ставенгагена. Фрау Нейфер излучала атмосферу духовности надо всем, что ее окружало. Ее суждения, исходившие из глубин души, чудесным образом оживляли непринужденные беседы, происходившие в этом доме. Все, что она говорила, было продуманно и вместе с тем изящно. В доме Нейферов меня никогда не покидало чувство, что фрау Нейфер поразительным образом стремится к правде при всех жизненных обстоятельствах.

То, что меня здесь охотно принимали, я мог заключить из самых различных случаев. Расскажу здесь об одном из них. Однажды в рождественский вечер ко мне приходил господин Нейфер и, не застав меня дома, оставил мне записку с настоятельной просьбой непременно быть у него на раздаче рождественских подарков. Сделать это было непросто, так как в Веймаре я всегда получал несколько приглашений на вечер. Но я все уладил. Придя к Нейферам, я нашел рядом с подарками для детей красиво упакованный особый рождественский подарок и для себя, ценность которого будет ясна из его предыстории.

Как-то раз я посетил мастерскую одного скульптора, который хотел показать мне свои работы. По правде говоря, то, что я увидел, мало меня заинтересовало. Лишь один бюст, затерявшийся в углу мастерской, привлек мое внимание. Это был бюст Гегеля. В этой мастерской, занимавшей часть квартиры одной пожилой дамы, которая пользовалась в Веймаре большим уважением, можно было увидеть всевозможные предметы, относящиеся к скульптуре. Скульпторы, которые всегда снимали помещение на короткое время, оставляли то, что не хотели с собой брать. Некоторые вещи хранились здесь, оставленные без внимания, уже с давних времен, как этот бюст Гегеля.

Интерес, проявленный мной к этому бюсту, привел к тому, что я стал рассказывать о нем некоторым друзьям, в том числе и Нейферам, и, должно быть, выразил желание приобрести его.

И уже в следующий рождественский сочельник я получил его в подарок от Нейферов. А на другой день за обедом, на который я был приглашен, Нейфер рассказал, как ему удалось достать его.

Сначала он отправился к даме, которой принадлежала мастерская, и сказал ей, что в мастерской видели бюст, который стал бы для него необычайно ценным приобретением. Дама ответила, что подобные вещи имеются в ее доме с давних пор, но она не знает, есть ли среди них

"Гегель". Она изъявила готовность показать Нейферу мастерскую, чтобы он сам все рассмотрел. Мастерская была тщательно "исследована", ни один укромный уголок не был оставлен без внимания, но бюст нигде не нашли. Нейфер сильно опечалился, ведь он очень хотел доставить мне радость. Он уже собирался уходить, как тут подошла горничная, услышавшая слова Нейфера: "Да, жаль, что не нашелся бюст Гегеля". "Гегель, - вмешалась она, - не эта ли голова с отбитым кончиком носа, что лежит в комнате для прислуги у меня под кроватью?". "Экспедиция" направилась туда, Нейфер приобрел бюст, а до Рождества оставалось как раз столько времени, чтобы успеть восстановить недостающий кончик носа.

Так я стал обладателем бюста Гегеля, принадлежащего к тем немногим вещам, которые повсюду сопровождали меня. Я любил смотреть на этот бюст (работа Вихмана, 1826), когда погружался в мир гегелевских мыслей. А это случалось часто. Черты лица, являющие собой человеческое выражение чистейшего мышления, - весьма действенные спутники жизни.

Таковыми были Нейферы. Они были неутомимы в своем желании порадовать человека тем, что наиболее соответствовало бы его существу. У детей, постепенно пополнявших нейферовский дом, была примерная мать. Фрау Нейфер воспитывала их не столько своими поступками, сколько тем, чем она была сама, т. е. всем своим существом. На мою долю выпала радость быть крестным отцом одного из ее сыновей. Каждое посещение этого дома становилось для меня источником внутреннего удовлетворения. Эти посещения повторялись и в более поздние годы, когда, покинув Веймар, я при случае приезжал сюда читать лекции. К сожалению, я давно уже не был в Веймаре и не мог встречаться с Нейферами в те годы, когда на них обрушивались тяжелые удары судьбы. Нейферы принадлежали к тем семьям, на долю которых в годы мировой войны выпали самые большие испытания.

Располагающей к себе личностью был отец фрау Нейфер, старый Ставенгаген. Прежде он занимался практической работой, а затем ушел на покой. Жизнь его была посвящена библиотеке, которую он собирал сам. В этом милом старичке не было и тени самодовольства или высокомерия; в каждом его слове ощущалась бескорыстная жажда знаний.

Взаимоотношения между людьми носили в Веймаре такой характер, что многие, испытывавшие в других местах недовольство, находили себя здесь. И так было не только с теми, кто жил здесь постоянно, но и с гостями Веймара, с удовольствием приезжавшими сюда. Многие чувствовали, что Веймар, в отличие от других мест, был для них чем-то особенным.

Я особенно ощутил это, сблизившись с датским поэтом Рудольфом Шмидтом*. В первый раз он приехал на представление своей драмы "Превращение короля". Тогда я и познакомился с ним. В дальнейшем его многочисленные посещения Веймара приурочивались к событиям, собиравшим множество иногородних посетителей. Его стройная фигура с развевающимися кудрями часто мелькала среди гостей Веймара. Его душу прямо-таки влекло к веймарскому образу жизни. Это была ярка выраженная личность. В философии он был приверженцем Расмуса Нильсена. Благодаря этому философу, последователю Гегеля, Рудольф Шмидт прекрасно понимал немецкую идеалистическую философию. Он был одинаково резок как в своих положительных, так и в отрицательных суждениях. Его отзывы, например, о Георге Брандесе* были едки, полны уничтожающей сатирой. Когда человек раскрывается в широкой области ощущений, включая антипатию, - в этом есть некий оттенок художественности. На меня подобного рода проявления производили художественное впечатление, ведь я был хорошо знаком с творчеством Георга Брандеса. Особенно меня интересовали его умные статьи о духовных течениях европейских народов, которые свидетельствовали о его широком кругозоре и знаниях.

То, о чем писал Рудольф Шмидт, носило оттенок субъективной правды и пленяло благодаря характерным чертам самого поэта.

В конце концов я всем сердцем полюбил его и радовался его приездам в Веймар. Очень интересными были рассказы Рудольфа Шмидта о его северной родине. Я видел, что основным источником его замечательных способностей были переживания, характерные для жителя севера. С не меньшим интересом я беседовал с ним о Гете, Шиллере, Байроне. О них он рассуждал иначе, чем Георг Брандес. Этот последний во всех своих суждениях был интернациональной личностью, в то время как в Рудольфе Шмидте прежде всего говорил датчанин. Именно поэтому о многом он рассказывал гораздо интереснее, чем Брандес.

В последние годы моего пребывания в Веймаре я сблизился с Конрадом Анзорге* и его шурином фон Кромптоном. Конрад Анзорге позднее самым блестящим образом проявил свою художественную одаренность. Здесь я буду говорить только о нашей прекрасной дружбе в конце 90-х годов и о том, каким он мне тогда представлялся.

Жены Анзорге и фон Кромптона были сестрами. Обстоятельства складывались так, что мы встречались друг с другом в доме Кромптонов или в отеле "Русский двор". Анзорге, пианист и композитор, был энергичной артистической натурой. В период нашего веймарского знакомства он

сочинял песни на слова Ницше и Демеля*. Для друзей, постепенно собравшихся вокруг Анзорге и Кромптона, исполнение нового произведения всегда было праздничным событием.

К этому кругу принадлежал и Пауль Бёлер. Он был редактором веймарской газеты "Дойчланд", более независимого органа, чем официальная "Веймаришер цайт". Появлялись в этом обществе также и другие мои веймарские друзья: Фрезениус, Хейтмюллер, Фриц Кегель и др. Посещал общество и Отто Эрих Гартлебен, когда объявлялся в Веймаре.

Конрад Анзорге вырос в мире музыки Листа. Я не погрешу против действительности, утверждая, что хоть он и считал себя учеником Листа, хранящим верность художественным принципам мастера, но музыка его продолжала жить самостоятельной жизнью и это воспринималось душой как нечто в высшей степени очаровательное. Ибо присущая Анзорге музыкальность имела своим источником изначальное индивидуально-человеческое. Возможно, эта человечность была пробуждена Листом, но очарование ее состояло именно в ее самобытности. Я высказываюсь об этих вещах так, как переживал их в то время; речь не идет здесь о том, как я относился к ним позднее или отношусь теперь.

Благодаря Листу Анзорге был некоторое время связан с Веймаром, но в период, о котором я повествую, душевная связь с ним уже прекратилась. Своеобразие анзорге-кромптоновского круга состояло именно в том, что его отношение к Веймару было совершенно иным, чем у большинства охарактеризованных близких мне лиц.

Последние жили в Веймаре так, как я это описывал в предыдущей главе. Этот же круг вместе со своими интересами стремился выйти за пределы Веймара. И случилось так, что, когда моя веймарская работа подошла к концу и мне предстояло покинуть город Гете, - я сблизился с людьми, для которых жизнь в Веймаре не отличалась своеобразием. В некотором смысле эти люди как

228

бы символизировали окончание веймарского периода моей жизни.

Анзорге, ощущавший Веймар как оковы, сдерживающие его художественное развитие, почти одновременно со мной переехал в Берлин. Пауль Бёлер, редактор самой читаемой веймарской газеты, писал не под влиянием тогдашнего "веймарского духа", а напротив, в силу своего широкого кругозора жестоко критиковал этот дух. Его голос раздавался именно тогда, когда нужно было представить в правильном свете все то, что шло от оппортунизма и духовного измельчания. И случилось так, что он потерял свое место именно тогда, когда стал принадлежать к описанному выше кругу.

Фон Кромптон был чрезвычайно любезной личностью. В его доме мы проводили прекраснейшие часы. Душой общества была фрау Кромптон - остроумная, грациозная личность, озарявшая светом своего существа всех, кто находился рядом с ней.

Весь этот круг пребывал, так сказать, под знаком Ницше. К жизнепониманию Ницше здесь относились как к тому, что должно вызывать величайший интерес. Душевная организация, проявившаяся в Ницше, являлась для этого круга как бы образцом расцвета истинной и свободной человечности. Из числа последователей Ницше, относящихся к этим двум направлениям, наиболее яркой фигурой 90-х годов был фон Кромптон. Мое собственное отношение к Ницше не изменилось при общении с этими людьми. Но поскольку им часто приходилось обращаться ко мне с вопросами о Ницше, свое отношение к нему они приписывали и мне.

Однако нужно отметить, что именно этот круг с пониманием и уважением относился к тому, что стремился познать Ницше. Его жизненный идеал здесь старались пережить с большим пониманием, чем это происходило в других кругах, где "сверхчеловечество" и "по ту сторону добра и зла" не всегда расцветали радостным цветом.

Меня привлекала яркая, заразительная энергия этого общества. Вместе с тем я встречал предупредительное понимание в отношении всего того, что я считал возможным внести в этот круг.

Вечера, озаренные музыкальным творчеством Анзорге, наполненные интересными, нескончаемыми беседами о Ницше, в которых затрагивались важнейшие вопросы о мире и жизни, я вспоминаю с большим удовольствием. Они стали как бы украшением последнего периода моей веймарской жизни.

И когда в этом обществе высказывалось отрицательное отношение к тогдашнему Веймару, это не вызывало чувства досады, ибо то, что проявлялось здесь, вытекало из непосредственного и серьезного художественного ощущения и стремилось проникнуться мировоззрением, центром которого был человек в истинном смысле слова. При этом тон был существенно иным, в сравнении с тем, что я переживал в ольденовском кругу. Там большую роль играла ирония; Веймар, как и другие города, которые они посещали, также рассматривался ими как "человеческое, слишком человеческое". В анзорге-кромптоновском кругу жило чувство, я бы

сказал, более серьезное: как будет дальше развиваться немецкая культура, если такой город, как Веймар, так мало выполняет предначертанные ему задачи?

На фоне подобного общения возникла моя книга "Мировоззрение Гете", которой я завершил свою веймарскую деятельность. Через некоторое время, в процессе подготовки нового издания этой книги я почувствовал, что в Веймаре в способе оформления мыслей для этой книги присутствовали отзвуки того, что внутренне слагалось в этом кругу во время наших дружеских встреч.

В этой книге меньше безличного; и она не получилась бы такой, если бы при ее написании в моей душе не находило отзвук то, что с таким воодушевлением и энергией обсуждалось в этом кругу о "сущности личности". Это единственная из моих книг, о которой я могу так сказать. Все мои книги в истинном смысле слова лично пережиты, но не так, когда собственная личность столь сильно переживает сущность окружающих ее людей.

Впрочем, это касается только общего направления книги. Что касается того, что в "Мировоззрении Гете" относится к области природы, то в ней это выражено так, как и в моих статьях 80-х годов, посвященных Гете. Мои взгляды здесь лишь расширены, углублены или подкреплены некоторыми частностями благодаря найденным в Гетевском архиве рукописям.

Во всех работах, связанных с Гете, наиболее важным было для меня представить миру содержание и направление его мировоззрения. Нужно было представить, как благодаря мышлению и всеобъемлющим и духовно проникающим в вещи исследованиям, Гете пришел к открытиям в конкретных областях природы. Но не сами отдельные открытия как таковые были важны для меня, а то, что они стали цветами на растении духовного воззрения на природу.

Для характеристики подобного природовоззрения как части того, что Гете дал миру, я описал именно эту часть мыслительной и исследовательской работы Гете. К этой же цели я стремился при систематизации гетевских произведений для обоих изданий, в которых я сотрудничал: юршнеровской "Немецкой национальной литературе" и веймарского "софийского" издания. Я никогда не считал своей задачей, как бы вытекавшей для меня из всей деятельности Гете, наглядно представить то, что дал Гете как ботаник, зоолог, геолог или теоретик цвета в том смысле, как это принято было обсуждать перед форумом господствующей науки. Делать что-либо в этом духе я не считал необходимым и при распределении статей для этих изданий.

И именно та часть гетевских трудов, которую я подготовил для веймарского издания, стала не чем иным, как документом раскрывшегося в исследовании природы гетевского мировоззрения. В них должно было проявиться то, как по-особому освещает это мировоззрение ботанику, геологию и т. д. (Многие считали, например, что я должен был иначе расположить геологические и минералогические труды, чтобы из их содержания можно было увидеть "отношение Гете к геологии". Если бы они прочитали то, что я говорил по этому поводу в моих введениях к изданиям юршнеровской "Национальной немецкой литературы", то не возникло бы никаких сомнений относительно того, что я никогда не соглашусь с предъявленной моими критиками точкой зрения. В Веймаре об этом могли знать, когда поручали мне это издание. Ведь прежде чем мне была предложена работа в Веймаре, в юршнеровском издании уже появилось все то, что характеризовало мою точку зрения. Но несмотря на это работа была мне поручена. Я не стану отрицать, что некоторые особенности моей проработки веймарского издания могут быть сочтены "специалистами" за ошибки. Они вправе внести свои уточнения. Но не следует представлять дело так, будто возникшая форма издания зависела не от моей принципиальной позиции, а только от моего умения или неумения. Об этом не должна говорить в особенности та сторона, которая заявляет, что у нее отсутствуют органы для постижения моих взглядов на Гете. Если бы речь шла об отдельных фактических ошибках, я мог бы указать моим критикам на нечто более худшее - на мои сочинения, которые я писал в бытность учеником старших классов реального училища. Описывая здесь мою жизнь, я пытаюсь показать, что еще ребенком я жил в духовном мире как в чем-то для меня очевидном, но при этом я с трудом овладевал тем, что касается познания внешнего мира. В силу этого я стал человеком, поздно развившимся для подобного познания во всех областях. И последствия этого проявляются в некоторых частностях моих гетевских изданий.)

Глава двадцать вторая

В конце веймарского периода моей жизни мне минуло тридцать шесть лет. За год до этого в моей душе начался глубокий перелом. С моим отъездом из Веймара он превратился в ведущее к коренным изменениям переживание. Это произошло совершенно независимо от перемены, также значительной, в моих внешних жизненных отношениях. Познание того, что может быть пережито в духовном мире, всегда было для меня чем-то естественным, в то время как при восприятии

чувственного мира я испытывал величайшие затруднения. Это было так, словно я не мог довести душевные переживания до органов чувств в той мере, чтобы полностью связать пережитое ими с душой.

Все изменилось начиная с тридцати шести лет. Моя способность наблюдать вещи, существа и процессы физического мира стала более точной и глубокой. Это касалось как научной, так и внешней области жизни. До этого времени великие научные взаимосвязи, постигаемые духовно, безо всякого труда становились моим душевным достоянием, тогда как чувственное восприятие, и в особенности удержание его в памяти, доставляли мне величайшие затруднения. Теперь же все изменилось. Во мне проснулось никогда раньше не проявлявшееся внимание к чувственно воспринимаемому. Для меня стали важными частности; у меня возникло ощущение, что чувственный мир может открыть нечто, что может открыть лишь он один. Познакомиться с ним только через то, что он может сказать, прежде чем человек привнесет в него нечто посредством своего мышления или иного душевного содержания - это я рассматривал как идеал.

Я пришел к заключению, что перелом, наступающий в человеческой жизни, я переживал в более поздний период, чем другие люди. Но я также видел, что это имеет совершенно определенные последствия для душевной жизни. Я обнаружил, что люди, которые раньше времени переходят от душевной деятельности в духовном мире к переживанию физического, не достигают чистого понимания ни духовного, ни физического мира. Они все время инстинктивно смешивают то, что говорят вещи их органам чувств, с тем, что переживает душа через дух и что она затем должна принести с собой, чтобы "представить" себе вещи.

Благодаря точности и настойчивости в наблюдении чувственного мне открылся совершенно новый мир. Объективное, совершенно свободное от всего субъективного в душе отношение к чувственному миру раскрывало нечто такое, о чем духовное созерцание ничего не могло сказать.

Но это отражалось и на мире духа. Благодаря тому, что чувственный мир раскрывал свою сущность именно в чувственном восприятии, для познания открывался противоположный полюс: воздать должное духовному во всем его своеобразии, не смешанному ни с чем чувственным.

Особое значение имел этот факт для душевной жизни, поскольку он проявлялся также и в области человеческой жизни. Благодаря моей наблюдательности я совершенно объективно воспринимал то, что переживает человек. Я старался избегать критического отношения к поступкам людей или проявления по отношению к ним симпатии или антипатии: я хотел "просто дать воздействовать на себя человеку таким, каков он есть".

И вскоре я обнаружил, что подобное наблюдение действительно приводит к духовному миру. Наблюдая физический мир, человек полностью выходит из самого себя; но именно благодаря этому он с возросшей способностью духовного наблюдения вновь вступает в духовный мир.

Так представляли тогда перед моей душой духовный и чувственный миры в их полной противоположности. Однако я не ощущал эту противоположность как нечто, что следует при помощи какого-либо философского хода мысли свести, например, к "монизму". Более того, я ощущал, что всецело находиться душой в этой противоположности равнозначно тому, что называется "понимать жизнь". Там, где противоположности переживаются как уравновешенные, царит безжизненность, смерть. Где жизнь, там действует неуравновешенная противоположность; жизнь сама представляет собой постоянное преодоление и одновременно постоянное новое созидание противоположностей.

Благодаря всему этому в моих чувствах возникало сильное стремление не к теоретическому мыслительному постижению, а к переживанию загадочности мира.

Чтобы медитативно обрести правильное отношение к миру, я вновь и вновь ставил перед своей душой следующую картину: вот мир, полный загадок. К нему желает подступиться познание. Но чаще всего оно стремится предъявить содержание мысли как решение загадки. Загадки же, как говорил я себе, не разрешаются с помощью мыслей. Эти последние приводят душу на путь решений, но сами они не содержат решений. Загадка возникает в действительном мире, она существует в нем как явление; в действительном же появляется ее решение. Выступает нечто, существо или процесс, и это есть решение другого явления.

Я также говорил себе: весь мир, кроме человека, есть загадка, доподлинная мировая загадка, и сам человек является ее разрешением.

Исходя из этого я думал так: человек в состоянии в каждый момент нечто сказать об этой мировой загадке. Но в его словах решение содержится в той мере, в какой он познал самого себя как человека.

Познание, таким образом, также становится процессом в действительном мире. В нем возникают вопросы; ответы раскрываются как действительность; познание в человеке - это его участие в том, что могут сказать о себе существа и процессы в духовном и физическом мире.

Все это уже было обозначено или ясно описано в моих работах, напечатанных до описываемого здесь периода.

Но именно в описываемый момент это стало интенсивным душевным переживанием, наполнявшим те часы, когда познание стремилось медитативно прозреть первоосновы мира. Но главным являлось то, что душевное переживание исходило в своей тогдашней силе из объективной отдачи себя чистому, неомраченному чувственному наблюдению. В этом наблюдении мне был дан новый мир; из всего того, что, познавая, жило до сих пор в моей душе, мне приходилось отыскивать противоположное душевное переживание, чтобы сохранить равновесие с новым.

Как только я начинал рассматривать сущность чувственного мира при помощи чувств, а не мыслить ее, возникала загадка как некая действительность. Решение же ее лежит в самом человеке.

Все мое душевное существо воодушевленно стремилось к тому, что позднее я назвал "познанием, сообразным действительности". Мне было ясно, что, обладая таким "сообразным действительности познанием", человек не может оставаться где-то на отшибе мировой истории, чтобы без его участия осуществлялось формирование бытия и становление мира. Познание стало для меня тем, что принадлежит не только человеку, но и бытию и становлению мира. Как корни и ствол дерева не есть что-то завершенное, если их жизнь не проявляется в цветке, так становление и бытие мира не есть нечто действительно состоявшееся, если они не продолжают жить в содержании познания. Придя к такому воззрению, я при всяком удобном случае не переставал повторять: человек не является существом, создающим для себя содержание познания: своей душой он образует арену, на которой мир, отчасти впервые, переживает свое бытие и становление. Если бы не было познания, мир оставался бы незавершенным.

Познавая и вживаясь в действительность мира, я находил все более возможным создание опоры для сущности человеческого познания, в противоположность воззрению, полагающему, что человек, познавая, создает отображение мира или нечто подобное этому. Согласно моей идее познания, человек является сотворцом мира, а не подражателем в создании того, чего без всякого ущерба для завершенности мира могло бы и не быть в нем.

Благодаря этому мое познание приобрело большую ясность и по отношению к "мистике". Со-переживание человеком мирового процесса выступало из неопределенного мистического ощущения и озарялось светом, в котором раскрывались идеи. Чувственный мир, рассматриваемый исключительно в его своеобразии, сначала лишен идей, как корень и ствол дерева, лишённые цветков. Однако подобно тому, как появление цветка не есть угасание, исчезновение бытия растения, но является лишь трансформацией этого бытия, так и относящийся к чувственному мир идей в человеке является трансформацией чувственного бытия, а не мистически-темным влиянием чего-то неопределенного на душевный мир человека. Подобно тому, как ясно явлены предметы и процессы физического мира в свете солнца, так же духовно ясно должно быть явлено то, что как познание живет в душе человека.

Все это было для меня тогда совершенно определенным душевным переживанием. Однако выразить подобные переживания было чрезвычайно трудно.

В последний период моей веймарской жизни появилась моя книга "Мировоззрение Гете", а также предисловия к последнему тому юршнеровской "Немецкой национальной литературы". Я хотел бы указать здесь на предисловие к подготовленному мной изданию гетевских "Изречений в прозе", чтобы сравнить его с формулировкой содержания книги "Мировоззрение Гете". При поверхностном взгляде на вещи можно найти противоречия в этих возникших почти в одно и то же время работах. Но если посмотреть на то, что живет под поверхностью и что на поверхности можно выразить при помощи лишь таких формулировок, как прозрение глубин жизни, души и духа, то тогда откроются не противоречия, а борьба. Борьба, которую я переживал, стараясь выразить и внести в мировоззренческие понятия то, что я описал здесь как отношение человека к миру, как познание, основанное на переживании мира как загадки, разгадка которой возможна в пределах истинной действительности.

Когда три с половиной года спустя я писал мою книгу "Миро- и жизневоззрения в XIX столетии", я во многом продвинулся дальше и описываемое здесь переживание познания было плодотворно применено мной при описании отдельных исторических мировоззрений.

Кто отклоняет эти работы по той причине, что в них показана борьба познающей душевной жизни, а в свете изложенного это означает развитие жизни мира в ее борьбе на арене человеческой души, тому, на мой взгляд, никогда не удастся погрузиться познающей душой в истинную действительность. Именно такое воззрение укрепилось во мне в ту эпоху, тогда как в мире моих понятий оно пульсировало уже давно.

Перелом в моей душевной жизни связан со значительным по содержанию внутренним опытом. Я познал в душевном переживании сущность медитации и ее значение для созерцания духовного мира. Я и прежде вел медитативную жизнь, но побуждение к ней исходило из понимания ее ценности для духовного мировоззрения на уровне идей. Теперь же во мне появилось нечто, требующее медитации как чего-то необходимого для бытия моей душевной жизни. Она нуждалась в медитации, как нуждается организм в дыхании легкими на известной ступени своего развития.

Отношение обычного, приобретаемого при чувственных рассматриваниях понятийного познания к созерцанию духовного, которое я более всего переживал в идеях, в этот период моей жизни стало таким, в котором участвует весь человек. Переживание в идеях, которое, однако, включает в себя истинно духовное, явилось тем элементом, из которого родилась моя "Философия свободы". В переживании, в котором участвует весь человек, духовный мир присутствует гораздо более сущностным образом, чем при переживании в идеях. И все же это последнее есть более высокая ступень по сравнению с понятийным постижением чувственного мира. При переживании в идеях постигается не чувственный мир, а некоторым образом непосредственно примыкающий к нему мир духовный.

В то время как все это пытаюсь найти выражение и переживание в моей душе, перед моим внутренним существом вставало три рода познания.

Первый род познания - это приобретенное при помощи чувственного наблюдения познание в понятиях. Оно усваивается душой и с помощью силы памяти удерживается во внутреннем существе человека. Повторение усваиваемого содержания имеет смысл лишь для лучшего сохранения его в памяти.

Вторым родом познания является тот, при котором понятия приобретаются не через чувственное наблюдение, а переживаются в душе человека независимо от органов чувств. И тогда переживания, согласно их собственной сущности, становятся залогом того, что понятия основаны на духовной действительности. К пониманию того, что понятия являются залогом духовной действительности, приходят исходя из природы опытного переживания этого рода познания с такой же уверенностью, как достигают при чувственном познании уверенности в том, что имеют перед собой не иллюзии, а физическую действительность.

При подобном идеально-духовном познании уже недостаточно такого усвоения, какое происходит при чувственном познании, когда оно приводит к тому, что усвоенное приобретает для памяти. Процесс усвоения должен стать непрерывным. Как недостаточно для организма дышать только некоторое время и затем усвоенное при помощи дыхания применять в дальнейшем жизненном процессе, так для духовного познания в идеях недостаточно усвоения, которое имеет место при чувственном познании. Для него необходимо постоянное живое взаимодействие души с миром, в который переносятся благодаря этому познанию. Происходит это при помощи медитации, побуждение к которой исходит, как указывалось выше, из идеального понимания ценности медитирования. Это взаимодействие я обнаружил задолго до моего душевного перелома (на тридцать пятом году моей жизни).

Отныне медитирование стало для меня душевной жизненной необходимостью. И благодаря этому моей душе открылся третий род познания. Он не только вел в дальнейшие глубины духовного мира, но и предоставлял возможность близкого общения с ним. Мне вновь и вновь приходилось, исходя из внутренней необходимости, вводить в центр моего сознания совершенно определенный род представлений.

Речь идет о следующем:

Если я вживаюсь душой в представления, образованные в чувственном мире, то непосредственный опыт позволяет мне говорить о действительности пережитого лишь до тех пор, пока я чувственно наблюдаю какую-либо вещь или процесс. Чувство гарантирует мне истинность наблюдаемого, пока я произвожу наблюдение.

Это не так, когда я вступаю в связь с существами или процессами духовного мира при помощи идеально-духовного познания. В каждом отдельном случае созерцания наступает непосредственное переживание того, что воспринимаемое существует независимо от продолжительности его созерцания. Когда переживают, например, исконную внутреннюю сущность человека - его "Я", то знают, переживая в созерцании, что это "Я" существовало до жизни в физическом теле и будет существовать после нее. То, что переживается таким образом в "Я", открывается непосредственно; так роза открывает непосредственному восприятию свой красный цвет.

В такой медитации, проводимой из внутренней духовно-жизненной необходимости, все более развивается сознание о "внутреннем духовном человеке", который, совершенно высвободившись из физического организма, может жить, воспринимать и двигаться в духовном. Этот самостоятельный в себе духовный человек под влиянием медитаций вступил в сферу моих

переживаний. Благодаря этому переживание духовного существенно углубилось. Тот факт, что чувственное познание возникает благодаря организму, в достаточной степени явствует для этого вида познания из самонаблюдения. Однако идеально-духовное познание тоже еще зависит от организма.

Самонаблюдение показывает, что чувственное наблюдение связано с организмом в каждом отдельном акте познания. Для идеально-духовного познания отдельный акт совершенно независим от физического организма; подобное познание может развиваться в человеке в силу того, что жизнь в целом присутствует в организме. При третьем роде познания дело обстоит так, что оно в состоянии проявиться только в духовном человеке, который приобрел такую свободу от физического организма, что этот последний как бы перестал для него существовать.

Осознание всего этого развилось во мне под влиянием описанной медитативной жизни. Я был в состоянии действительно опровергнуть мнение, что через такую медитацию человек подвергается своего рода самовнушению, результатом которого и является познание духовного. Ибо в истинности духовного переживания меня могло убедить уже самое начальное идеально-духовное познание - а именно самое первое, получившее свою жизнь не благодаря медитациям, а которое только начало жить. Подобно тому, как человек в трезвом сознании совершенно точно устанавливает истину, так поступил и я в отношении этого вопроса, прежде чем вообще могла возникнуть речь о самовнушении. Реальность того, что достигается при помощи медитации (здесь имеется в виду лишь переживание какого-либо явления), - я вполне был в состоянии проверить до этого переживания.

Все, что было связано с моим душевным переломом, выявилось благодаря результату самонаблюдения, получившему для меня, как и уже описанный, значение, полное самого веского содержания.

Я почувствовал, как идеальное начало моей предыдущей жизни в некотором смысле отошло назад, а на его место встало волевое начало. Для того, чтобы это стало возможным, воля при развитии познания должна уметь воздерживаться от всякого субъективного произвола. По мере того как идеальное ослабевало, усиливалась воля. И воля взяла на себя духовное познание, которое прежде почти полностью было за идеальным. Я уже знал, что разделение душевной жизни на мышление, чувствование и воление имеет лишь ограниченный смысл. В действительности же в мышлении содержится и чувствование, и воление; но только мышление господствует над ними. В чувствовании живет мышление и воление, как в волении - мышление и чувствование. Теперь же у меня возникло переживание, что воление воспринимает больше от мышления, а мышление - больше от воления.

Если, с одной стороны, медитация ведет к познанию духовного, то, с другой стороны, результатом такого самонаблюдения является внутреннее усиление духовного, независимого от организма человека и укрепление его существа в духовном мире, подобно тому как физический человек укрепляется в физическом мире. Но здесь обнаруживается, что укрепление человека в духовном мире может продолжаться до бесконечности, если физический организм не ограничивает этот процесс, в то время как укрепление физического организма в физическом мире прекращается и наступает смерть, если духовный человек не поддерживает более из самого себя это укрепление.

Переживаемое подобным образом познание несовместимо уже ни с какой теорией, ограничивающей человеческое знание областью, "по ту сторону" которой находятся такие недоступные для него вещи, как "первоосновы" или "вещь в себе". Это "недоступное" являлось для меня таковым лишь "вначале"; и оно остается таковым лишь до тех пор, пока человек не разовьет в себе то сущностное, что родственно доселе неизвестному и поэтому может срастись с ним в познании, основанном на переживании. Такая способность человека проникать в глубь каждого рода бытия стала для меня тем, что должен признать тот, кто желает видеть положение человека в мире в правильном свете. Кто не придет к признанию этого, тому познание не может дать того, что действительно принадлежит миру. Ему откроется лишь нечто, безразличное для мира, - копия какой-либо части миро-содержания. Но при таком подражающем познании человек не в состоянии осознать в себе то существо, которое дает ему как самосознающей индивидуальности внутреннее переживание того, что он твердо стоит во Вселенной.

Для меня было важно говорить о познании таким образом, чтобы при этом не просто признавалось духовное, но чтобы стало ясно, что человек может постичь это духовное через собственное созерцание. Но еще более важным для меня было показать, что "первоосновы" бытия заложены в пределах того, что человек может достичь в течение своей целой жизни, в отличие от того, когда мысленно признают, что неизвестное духовное находится в некой "потусторонней области".

Поэтому я отвергал тот образ мыслей, который содержание чувственного восприятия (цвет, тепло, звук и т. д.) принимает лишь за то, что вызывается в человеке неведомым внешним миром через восприятие его органов чувств, при этом сам этот внешний мир может быть представлен не иначе как гипотетически. Теоретические идеи, которые в данном направлении были положены в основу физического и физиологического мышления, воспринимались моим переживающим познанием как особенно вредные. Это чувство возросло и стало особенно живым в описываемый здесь период моей жизни. Все, что обозначалось в физике и физиологии как "лежащее за субъективным восприятием", вызывало во мне, если можно так выразиться, чувство познавательного недоумения.

Напротив, образ мыслей Лайеля*, Дарвина, Геккеля казался мне хотя и несовершенным в том виде, в каком он выступал, - но способным к здоровому развитию.

Основное положение Лайеля, согласно которому явления, происходившие в доисторическую эпоху земного развития и не поддающиеся поэтому чувственному наблюдению, могут быть объяснены при помощи идей, вытекающих из сегодняшнего наблюдения этого развития, казалось мне весьма плодотворным. "Антропогению" Геккеля, которая пыталась самым основательным образом понять физическое строение человека путем выведения человеческой формы из животной, я считал хорошим основанием для дальнейшего развития познания.

Я говорил себе: если человек ставит своему познанию границы, за которыми должны находиться "вещи в себе", то тем самым он закрывает себе доступ в духовный мир; если же его отношение к чувственному миру таково, что он пытается объяснить в нем одно через другое (доисторическую эпоху земного развития - происходящим в настоящую эпоху, человеческие формы - через животные), то он сможет прийти к тому, чтобы распространить эту объяснимость существ и процессов и на духовное. Относительно того, что я ощущал в этой области, я могу сказать следующее: "Именно тогда укрепилось это во мне как воззрение, в то время как в мире моих понятий оно пульсировало уже давно".

Глава двадцать третья

Описанным мной душевным переломом завершился второй, более продолжительный период моей жизни. Пути судьбы обрели иной смысл, чем прежде. В венский и веймарский периоды внешние знаки судьбы указывали направления, совпадавшие с содержанием моих внутренних душевных устремлений. Во всех моих сочинениях проявляются основные черты моего духовного мировоззрения, даже если внутренняя необходимость повелевала не распространять мои наблюдения исключительно на область духа. В моей воспитательной деятельности венского периода присутствовали лишь наметки цели, возникавшие из прозрений моей собственной души. На веймарскую же работу, связанную с Гете, влияло только то, что я рассматривал как задачу, поставленную именно этой работой. Привести в созвучие эти направления, проистекавшие из внешнего мира, с моими собственными не представляло для меня особых затруднений.

Именно из такого течения моей жизни возникла возможность ясным образом понять и описать идею свободы. Я не считаю, что рассматривал эту идею односторонне в силу того, что она имела важное значение в моей жизни. Она соответствует объективной действительности, и то, что переживается посредством этой идеи, при добросовестном стремлении к познанию не может изменить эту действительность, но лишь позволяет в большей или меньшей степени углубиться в нее.

С этим прозрением в идею свободы связан столь многими неправильно понятый "этический индивидуализм" моего мировоззрения. В начале третьего периода моей жизни он также превратился из элемента, принадлежащего миру моих живущих в духе понятий, в то, что охватывало отныне всего человека.

Как физическое и физиологическое мировоззрения той эпохи, к образу мышления которой я относился отрицательно, так и биологическое, рассматриваемое мной, при всем его несовершенстве, как мост к духовному, ставили передо мной требование наилучшим образом разработать собственные представления относительно обеих областей мира. Мне предстояло ответить на вопрос: могут ли человеку открываться во внешнем мире импульсы его поступков? И я пришел к заключению, что для божественно-духовных, внутренне одушевляющих человеческую волю сил не существует пути из внешнего мира во внутреннее существо человека. Это стало для меня очевидным благодаря верно понятому физическому, физиологическому, а также биологическому образу мышления. В природе невозможно найти такой путь, который извне побуждал бы к волею. Поэтому никакой божественно-духовный моральный импульс не может таким внешним путем проникнуть в ту область души, где приводится к бытию действующий в

человеке собственный импульс воли. Внешние силы природы могут увлечь за собой лишь природное в человеке. И тогда мы имеем не свободное проявление воли, а лишь продолжение происходящих в человеке и через него природных процессов. А это значит, что человек не вполне охватил свое существо, но, как несвободный в своих поступках, завяз в своей внешней природной оболочке.

Здесь речь идет не о том, чтобы ответить на вопрос, свободна человеческая воля или нет, часто повторял я себе. Возникает совершенно другой вопрос: каким должен быть в душевной жизни путь, ведущий от несвободной природной воли к свободной, т. е. истинно моральной? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, как божественно-духовное живет в каждой отдельной человеческой душе. Ведь из нее исходит моральное; следовательно, в ее всецело индивидуальном существе должен оживать моральный импульс.

Моральные законы - в виде заповедей, обязанные своим происхождением внешним обстоятельствам, среди которых живет человек (даже если они первоначально исходят из области духовного мира), превращаются в нем в моральные импульсы не в силу того, что он направляет на них свое воление, но лишь благодаря тому, что человек совершенно индивидуально переживает их мысле-содержание как нечто духовно-сущностное. В человеческом мышлении живет свобода; и непосредственно свободной является не воля, а мысль, укрепляющая волю.

Поэтому в моей "Философии свободы" я должен был особо акцентировать свободу мысли относительно моральной природы воли.

Медитативная жизнь придала и этой идее особую силу. Моральный мировой порядок все яснее вставал передо мной как реализованное на земле проявление такого рода порядков, которые действуют в высших духовных областях. Их может вобрать в мир своих представлений лишь тот, кто способен признать духовное.

В описываемый период моей жизни все эти воззрения соединились для меня в одну всеобъемлющую истину: существа и процессы мира не могут быть объяснены, если мышление используется именно для "объяснения"; это возможно лишь в том случае, если посредством мышления проникают в суть процессов, и тогда одно объясняется другим, одно становится загадкой, другое - ее разрешением, и человек сам становится словом для воспринимаемого им внешнего мира.

Тогда переживают также истинность того представления, что в мире и его деяниях господствует Логос, Мудрость, Слово.

Я надеялся с помощью этих представлений проникнуть в суть материализма. Пагубность этого образа мышления представлялась мне не в том, что материалист направляет свой взор на материальное проявление какого-либо существа, а в том, как он мыслит материальное. Он смотрит на материю и не замечает, что в действительности перед ним дух, который только проявляется в материальной форме. Он не знает, что дух претерпевает в материи метаморфозу, чтобы развивать деятельность, которая возможна только в этой метаморфозе. Дух должен придать себе сначала форму физического мозга, чтобы в этой форме жить в мире представлений, который предоставляется человеку в его земной жизни свободно действующим самосознанием. И действительно: в мозгу из материи поднимается дух, но лишь после того, как из духа выступит физический мозг.

Мое отношение к физическому и физиологическому образу представлений было отрицательным лишь по той причине, что, согласно ему, внешним побудителем к познанию в человеке духовного является не пережитое материальное, а помысленное, причем материя мыслится так, что проследить ее вплоть до того момента, где она является духом, невозможно. Та материя, реальность которой утверждается этим образом представлений, реально нигде не существует. Основная ошибка всех материалистически настроенных естествоиспытателей состоит именно в невозможности их идеи материи. Вследствие этого они закрывают себе путь в духовное бытие. Материя, которая пробуждает в душе лишь то, что человек переживает в природе, делает мир "иллюзией".

Идеи эти, столь интенсивно вступившие в мою душевную жизнь, были обобщены мной четыре года спустя в моей книге "Миро- и жизневоззрения в XIX столетии", в главе "Мир как иллюзия". (Эта книга в позднейших расширенных изданиях получила название "Загадки философии".)

Биологический образ представлений не позволяет подобным же образом вдаваться в характеристики, полностью вытесняющие представляемое из той области, которую человек способен пережить, и оставляющие его душевной жизни только иллюзии. При таком образе представлений невозможно даже приблизиться к объяснению того, что вне человека существует мир, который им не переживается и производит на него впечатление только через его органы чувств, причем это впечатление может быть совершенно несхожим с источником впечатления. Принося важнейшее значение мышления в душевной жизни, можно поверить, что в этом еще

есть какой-то смысл, когда утверждают, что субъективному восприятию света соответствует объективно некая форма движения в эфире (как это тогда представлялось), но нужно быть злостным фанатиком, чтобы "объяснять" подобным же образом воспринимаемое в области живой природы.

Подобное представление идей о природе никогда не приведет к идеям о моральном мировом порядке, говорил я себе. Оно может только рассматривать этот порядок как то, что проникло в физический мир человека из области, чуждой познанию.

Для начала третьего периода моей жизни значительным, однако, было не то, что перед моей душой вставали эти вопросы (они давно уже волновали меня). Самым важным являлось то, что вся область моего познания, не претерпевая существенных изменений в своем содержании, под влиянием этих вопросов обрела в моей душе существенно большую, чем это было прежде, жизненную подвижность. В "Логосе" живет человеческая душа; как живет внешний мир в Логосе? Это -- основной вопрос моей "Теории познания гетевского мировоззрения" (написанной в середине 80-х годов), а также других моих книг - "Истина и наука" и "Философия свободы". Данное душевное направление доминировало во всех идеях, разрабатываемых мной для проникновения в те душевные подосновы, исходя из которых Гете пытался осветить явления мира.

В описываемый период жизни меня особенно заботило то, что эти столь решительно отрицаемые мной идеи со страшной силой охватили мышление эпохи. Люди настолько прониклись ими, что не могли ощутить всю важность того, на что указывалось в противоположном им душевном направлении. Противоречие между тем, что было для меня ясной истиной, и взглядами моей эпохи я переживал так, что это переживание определило основной тон моей жизни в последние годы столетия.

У меня сложилось впечатление, что все происходящее в духовной жизни проистекало из этих противоречий. Я не отклонял всего того, что приносила эта духовная жизнь, но я испытывал глубокую боль, видя, как навстречу тому, что я расценивал как добро, как первые всходы духовной жизни, отовсюду встают разрушительные силы.

Поэтому меня сильно волновал вопрос: как найти путь, чтобы внутренне прозреваемой истине придать такие формы выражения, которые были бы понятны данной эпохе?

При переживании этого возникает такой образ: нужно взойти на труднодостижимую горную вершину; кто-то пытается сделать это с различных исходных точек, но каждый раз оказывается на том же самом месте, причем позади остаются усилия, которые он вынужден признать напрасными.

Однажды, в 90-х годах, во Франкфурте-на-Майне я читал лекцию о воззрениях Гете на природу. Во вступлении я отметил, что буду говорить о взглядах Гете на жизнь, ибо его идеи о свете и цвете таковы, что в современной физике не существует возможности перекинуть мост к этим идеям. В этой невозможности я видел знаменательный симптом, свидетельствовавший о духовной ориентации эпохи.

Спустя некоторое время мне пришлось беседовать с одним физиком, весьма известным в своей области*, который усердно занимался воззрениями Гете на природу. В конце нашего разговора он сказал: представления Гете о цвете таковы, что физике здесь делать нечего. После этого я, конечно же, замолчал.

И так было со многим: то, что являлось для меня истиной, для современного образа мышления ничего не означало.

Глава двадцать четвертая

И вопрос "не следует ли замолчать?" стал переживанием.

Подобная организация моей душевной жизни поставила меня перед необходимостью внести в мою внешнюю деятельность совершенно новую ноту. Силы, определявшие мою внешнюю судьбу, впредь уже не могли составлять единое с теми внутренними направляющими линиями, которые являлись результатом моего переживания духовного мира.

Я давно уже подумывал о том, чтобы через какой-нибудь журнал знакомить современников с теми из духовных импульсов, которые я считал возможным выразить в открытой форме. Я не хотел "умолкать", а напротив, желал говорить, насколько это было возможно.

Об основании самостоятельного журнала не могло быть и речи: материальными средствами, а также необходимыми для основания подобного журнала связями я не располагал. Поэтому я воспользовался представившейся мне возможностью взять на себя издание журнала "Магазин фюр литературу**".

Это был старый еженедельник, основанный в год смерти Гете (1832). Сначала он назывался "Магазин фюр литературу дес аусландес". В нем печатались образцы духовного творчества

зарубежных авторов из различных областей культуры, которые редакция считала нужным внести в немецкую духовную жизнь.

Позднее еженедельник переименовали в "Магазин фюр ди литератур дес ин- унд аусландес". Теперь он должен был представлять поэтические, характерные, критические произведения из всех областей духовной жизни. В пределах известных границ свою задачу он выполнял успешно. Его деятельность протекала в такое время, когда в немецкоязычных областях было достаточно людей, которые хотели бы каждую неделю знакомиться в обзорной форме с тем, что "происходило" в духовной области.

Когда в 80-е и 90-е годы в эту размеренную духовную жизнь вступило молодое поколение со своими устремлениями к новым литературным целям, журнал тоже был вовлечен в это движение. В нем часто сменялись редакторы, которые и определяли его специфику, в зависимости от того, какую позицию в новом движении занимал тот или иной редактор. Когда в 1897 году я приобрел его, он был близок к устремлениям новой литературы, но в то же время не находился в сильной оппозиции к тому, что лежало за пределами этих устремлений. И все же содержание журнала не позволяло обеспечить поступление денежных средств, необходимых для его дальнейшего существования.

Журнал этот был также органом "Свободного литературного общества". Это прибавляло некоторое количество подписчиков к небольшому их числу. Но тем не менее, когда журнал передавался мне, дела обстояли таким образом, что нужно было привлечь даже ненадежных абонентов, чтобы суметь продержаться хотя бы на минимальном уровне. Я мог взять на себя издание журнала только в том случае, если бы мне удалось предпринять шаги, которые привели бы к увеличению числа подписчиков. Это было возможно благодаря "Свободному литературному обществу". Нужно было дать журналу такое направление, чтобы в нем отражалась деятельность этого Общества. Необходимо было найти в "Свободном литературном обществе" людей, которые проявляли интерес к творчеству нового поколения. Правление его находилось в Берлине, где оно и было основано молодыми литераторами. Но отделения Общества имелись во многих городах Германии. Со временем, правда, выяснилось, что многие из этих отделений владели довольно скромное существование.

Теперь мне надлежало читать в этом Обществе лекции, чтобы самому выразить связь молодого поколения с духовной жизнью, которая должна была отражаться в журнале.

Таким образом возник круг читателей журнала, с духовными потребностями которого мне следовало освоиться". Члены "Свободного литературного общества" ожидали от меня чего-то совершенно определенного, поскольку до сих пор им предлагалось нечто совершенно определенное. Во всяком случае, они вовсе не ждали того, что мог бы дать им я исходя из своего внутреннего существа. Характер "Свободного литературного общества" определялся уже его желанием образовать противоположный полюс к "Литературному обществу", в котором задавали тон такие личности, как, например, Шпильгаген*.

Благодаря моему переживанию духовного мира я действительно мог внутренне участвовать во всех тех отношениях, в которые вступал. Я пытался полностью перенестись в круг моих читателей и членов "Общества", чтобы исходя из духовного склада этих людей найти те формы, в которые я должен был облекать духовное.

Не могу сказать, что в начале этой деятельности я предавался иллюзиям, которые постепенно оказывали бы на меня свое разрушительное воздействие. Однако моя деятельность в кругу читателей и слушателей наталкивалась на все большие препятствия. Прежним издателям "Магазин фюр литератур" не приходилось считаться с какими-либо серьезными, ярко выраженными духовными устремлениями людей, собравшихся вокруг журнала. Лишь у немногих из этого круга обнаружились более глубокие интересы. Но и они основывались не на духовных силах, а скорее на воле, которая стремилась проявить себя в различных художественных, а также других духовных формах.

Таким образом, мне предстояло ответить на вопрос: могу ли я взять на себя ответственность перед своим внутренним существом и перед духовным миром за мою деятельность в этом Обществе? Ведь несмотря на то, что ко многим я относился с большой любовью и искренностью и был дружески связан с ними, относительно того, что жило во мне, они принадлежали именно к тем людям, в связи с которыми возникал вопрос: "А не следует ли замолчать?".

Кроме того я чувствовал, что многие из дружески относившихся ко мне людей своей духовной жизнью не соприкасались непосредственно с моей; однако они предполагали во мне нечто, что делало мою работу в области познания и многих других областях жизни ценной для них.

Прежние издатели "Магазин фюр литератур" были иного мнения. Для них Штайнер был, несмотря на некоторую жизненную практичность, все же "идеалистом". И поскольку условия перепродажи "Магазин фюр литератур" были таковы, что в течение нескольких лет следовало

выплачивать проценты прежнему владельцу, весьма заинтересованному в силу этого в дальнейшем существовании журнала, то он, со своей точки зрения, был вправе искать себе лучшую гарантию, чем та, которая была представлена в моем лице. Моя деятельность среди людей, группировавшихся до сих пор вокруг "Магазин фюр литератур" и "Свободного литературного общества", была для него неясна. Поэтому одним из условий продажи стало то, чтобы соиздателем журнала стал Отто Эрих Гартлебен.

Сегодня, оглядываясь на все эти события, я не хотел бы, чтобы с переходом журнала в мои руки что-либо тогда происходило иначе. Ибо пребывающий в духовном мире, как я уже писал, должен быть знаком с фактами физического мира и переживать их в полной мере. Благодаря моему душевному перелому это стало для меня естественной необходимостью. Неприятие того, в чем я определенно узнавал действие сил судьбы, стало бы для меня прегрешением против моего духо-переживания. "Факты", связавшие меня на некоторое время с Отто Эрихом Гартлебеном, были для меня не просто "фактами". Это были "факты, сотканные судьбой (кармой)". Однако из этих отношений все же возникли непреодолимые трудности.

В Отто Эрихе Гартлебене всецело преобладало эстетическое начало. Во всех его проявлениях, идущих из его насквозь эстетического миропонимания, вплоть до жестов, я ощущал грацию; хотя среда, в которой он вращался, казалась мне часто весьма сомнительной. Эта сторона его души вызвала в нем потребность целые месяцы проводить в Италии. И когда он оттуда возвращался, на всем его существе лежал отпечаток Италии. При этом я относился к нему с большой любовью.

Однако совместная работа в одной области оказалась невозможной. Он вовсе не был расположен "переноситься" в область идей и интересов "Магазин фюр литератур" и "Свободного литературного общества", напротив, он желал и там и тут "проводить" то, что ему внушало его эстетическое чувство. Все это действовало на меня как какой-то чуждый мне элемент. К тому же он то предъявлял свои права как соиздатель, то вновь замолкал надолго, чему способствовали и его долговременные посещения Италии. Из-за этого содержание журнала стало каким-то неоднородным.

При всем своем "зрелом эстетическом мировоззрении" Отто Эрих Гартлебен не мог преодолеть в себе "студента". Я подразумеваю под этим сомнительные стороны студенчества, а вовсе не то, что как здоровая жизненная сила может быть внесено из студенческой жизни в дальнейшую жизнь.

В период нашей совместной работы вокруг него образовался новый, широкий круг почитателей благодаря его драме "Воспитание вступающих в брак". Это произведение возникло не из грациозно-эстетического миропонимания, столь очаровательно проявляющегося при общении с ним, а из "необузданности" и "несдержанности", выступавших не из глубин его существа, а из легкомыслия, что и приводило его к созданию подобных произведений, а также к различным решениям, идущим вразрез с "Магазин фюр литератур". Мало кто знал Гартлебена в личном общении.

После моего переезда в Берлин, где я должен был редактировать журнал, мне естественным образом выпала возможность вращаться в кругах, связанных с Отто Эрихом Гартлебеном. Благодаря этому я мог ознакомиться со всем тем, что имело отношение к журналу "Магазин фюр литератур" и к "Свободному литературному обществу". Но это же доставляло мне и великое огорчение, ибо препятствовало моим встречам с людьми, с которыми еще в Веймаре возникли у меня прекрасные отношения. Как приятно было бы для меня, например, чаще навещать Эдуарда фон Гартмана.

Однако все это было невозможно. Общение в кругах Гартлебена занимало все мое время. Таким образом у меня внезапно было отнято многое из дорогих мне человеческих отношений, которые мне очень хотелось сохранить. Но я принимал это как веление судьбы (кармы).

Благодаря охарактеризованным выше душевным подосновам я мог с полным интересом относиться душой к двум таким диаметрально противоположным кругам, как связанный с Веймаром и примыкающий к "Магазин фюр литератур". Но ни одному из этих кругов не могла доставлять удовольствие личность, общавшаяся с людьми, которые в душевном и духовном отношении принадлежали к полярно противоположным областям общества. Кроме того, при таком общении мне пришлось бы все время оправдываться в том, что моя деятельность направлена исключительно на службу, связанную с "Магазин фюр литератур".

Все яснее предстало моей душе, что такое общение, как в Вене и Веймаре, здесь невозможно. Литераторы встречались и знакомились друг с другом на литературной почве. Даже у лучших, ярко выраженных натур эта литература (или живопись, скульптура) настолько глубоко въелась в души, что чисто человеческое отступало на задний план.

Таковы были мои впечатления, когда я находился среди этих все же ценимых мной личностей. Но еще большее впечатление оказывали на меня душевные подосновы этих людей. Однажды в лейпцигском "Свободном литературном обществе" после моей лекции и выступления О. Ю.

Бирбаума* я находился в кругу литераторов, среди которых был и Франк Ведекинд*. Меня полностью захватила эта поистине редкая человеческая натура. "Натуру" я подразумеваю здесь в чисто физическом смысле.

Его руки! Будто из прошлой земной жизни, в которой они совершали дела, которые могут совершать только люди, пронизанные духом вплоть до кончиков пальцев. Благодаря проработанной энергии это могло производить и впечатление грубой силы; излучения от этих рук возбуждали величайший интерес. А эта выразительная голова - словно дар, приходящий из особых волевых нот его рук! В его взгляде, мимике было нечто, что могло так же произвольно отдавать себя миру, но в то же время и отстраняться от него, как жесты - через ощущения рук. Чуждый современности дух выражал себя через эту голову. Дух, который ставит себя вне человеческих устремлений этого времени, но не может внутренне осознать, какой же эпохе прошлого он принадлежит.

Как литератор Ведекинд - это не литературная оценка, я говорю лишь о том, что видел в нем, - напоминал химика, который отверг современные химические воззрения и занимался алхимией, но делал это не с внутренним увлечением, а скорее с некоторым цинизмом. Душевно созерцая внешний облик Франка Ведекинда, многому можно было научиться относительно того, как дух действует в форме. При этом, конечно, не следует наблюдать за человеком так, как это делают некоторые "психологи"; нужно дождаться того момента, когда чисто человеческое само обнаружит себя на фоне духовного мира благодаря внутреннему духовному стечению обстоятельств.

Если человек замечает, что за ним наблюдает "психолог", - это может вызвать в нем раздражение. Переход же от чисто человеческих отношений к "созерцанию на фоне духовного" вполне человечесен, подобно тому как от поверхностной дружбы переходят к более близкой.

Одной из самых своеобразных личностей берлинского кружка Гартлебена был Пауль Шеербарт*. Он сочинял "стихотворения", которые сначала представлялись читателю набором слов и произвольных фраз. Они были столь гротескны, что уже первое впечатление вызывало интерес к ним. Затем можно было заметить, что он ищет в словах какой-то фантастический смысл - обычно оставляемый людьми без внимания, - чтобы выразить духовное содержание, которое происходит не из бездонной, а скорее из не желающей искать дна душевной фантастики. В Пауле Шеербарте жил внутренний культ фантастики, выразивший себя в гротескных формах. На меня он производил впечатление человека, который обладает чувством духовного, выражает духовное, но делает это в гротескной форме, потому что все вокруг охвачено филистерством. И это чувство желает развивать гротескное не в художественной форме, а в надменном, заносчивом безрассудстве. И то, что открывается в этих гротескных формах, должно проистекать из сферы внутренней фантастики. Паулю Шеербарту было свойственно лишенное ясности душевное стремление к духовному. То, что идет из благоразумия, - говорил себе этот "фантаст", - не может достичь области духовного. Поэтому, чтобы выражать духовное, не следует быть благоразумным. И Шеербарт не предпринимал никаких шагов от фантастики к фантазии. Движимый интересным, но завязнувшим в дикой фантастике духом, он писал рассказы, охватывающие целые космические миры, мерцающие, переливающиеся, превращающие духовное в карикатуру и содержащие подобного же рода человеческие переживания. Примером этого является "Таруб, знаменитая багдадская кухарка".

Но не таким был этот человек при личном знакомстве. Бюрократ, отмеченный некоторой духовностью. И даже внешность, столь интересная у Ведекинда, у Шеербарта была обыденная, филистерская. И это впечатление еще более возрастало, если в первое время после знакомства вы вступали с ним в разговор. В нем жила страстная ненависть к филистерам, и вместе с тем у него были филистерские жесты, филистерская манера говорить; его ненависть, казалось, проистекала именно из того, что он слишком многое носил в себе от филистерства и ощущал это; но в то же время он чувствовал, что не в силах его преодолеть. В глубине его души можно было прочесть признание: я хотел бы уничтожить филистеров, потому что они сделали меня таким.

Но стоило только перейти от внешности к независимому от нее внутреннему существу Пауля Шеербарта, как открывался весьма тонкий - правда, завязнувший в гротескно-фантастическом, - духовно незаконченный человек. Затем можно было пережить, каким он является в духовном мире со своей "светлой" головой и "золотым" сердцем. Приходилось лишь сожалеть: какая сильная, достигающая духовного прозрения личность могла бы войти в мир, если незаконченное хоть в некоторой степени достигло бы завершения. И в то же время становилось ясно, что в нем слишком сильна "вера в фантастику", и это делало для него невозможным достижение хоть некоторой завершенности в течение этой земной жизни.

Франк Ведекинд и Пауль Шеербарт были личностями, вся сущность которых доставляла в высшей степени значительные переживания тому, кому был открыт факт повторяемости земных человеческих жизней. В современной земной жизни они были загадками. Нужно было видеть то,

что принесли они с собой в эту земную жизнь. И тогда их личности становились неизмеримо богаче, делались понятными их несовершенства как результат прежних земных жизней, которые не давали им возможности раскрыть себя в современном духовном окружении. Можно было увидеть: то, что может возникнуть из этих несовершенств, нуждается в будущих земных жизнях.

Подобным же образом воспринимались мной и некоторые другие лица из этого круга. Я знал, что встреча с ними была обусловлена моей судьбой (кармой).

Однако мне так и не удалось завязать чисто человеческих, сердечных отношений с Паулем Шеербартом, являвшим собой чрезвычайную любезность. В общении он, как и многие другие, больше проявлялся как литератор, чем человек, что, впрочем, не мешало мне относиться к нему с большой любовью, обусловленной его любезностью и интересом, который вызывала во мне эта в высшей степени замечательная личность.

Была в этом кругу, впрочем, одна личность, которая проявлялась не только как литератор, но и как человек в полном смысле слова. То был В. Харлан*. Он был немногословен, всегда вел себя как тихий наблюдатель. Но когда он говорил, речь его была или в высшей степени одухотворенной, или в истинном смысле слова остроумной. Он много писал, но не как литератор, а как человек, который хочет высказать то, что у него на душе. Именно в это время вышло в свет его произведение "Кошелек поэтов", полное прелестного юмора. Мне нравилось приходить в кафе, где собирался кружок, раньше времени, чтобы застать его одного. Так между нами возникли близкие отношения. Именно он был исключением, когда я говорил о том, что находил в этом кругу только литераторов, а не "людей". И мне кажется, что он понимал, как я воспринимаю этот круг. Различные жизненные пути вскоре разъединили нас.

Люди, группировавшиеся вокруг "Магазин фюр литератур" и "Свободного литературного общества", были определенно вплетены в мою судьбу. Но сам я не был каким-либо образом вплетен в их судьбы. Они заметили мое появление в Берлине, в их кругу, узнали, что я буду редактировать "Магазин фюр литератур" и работать для "Свободного литературного общества", но не понимали, для чего я это делаю. Ибо в том, как я представлялся их душевному зору, они не видели ничего для себя заманчивого, чтобы познакомиться со мной ближе. Их теоретическому догматизму моя духовная деятельность представлялась чем-то теоретическим, хотя во мне не было ни капли теории. Как "художественные натуры", они не считали необходимым интересоваться этим.

В их лице я непосредственно столкнулся с представителями определенного художественного течения. Оно не было столь радикальным, как возникшее в Берлине в конце 80-х и в начале 90-х годов. Оно не требовало, например, подобно Отто Брамсу с его театральной реформой, чистого натурализма как средства для спасения искусства. Оно не обладало подобными художественными убеждениями, а больше основывалось на том, что проистекало из воли и дарований отдельных личностей и было лишено стремления к единству в стиле.

Мое положение в этом кругу стало душевно неуютным по той причине, что мне было известно, что влечет меня туда; другие же этого не знали.

Глава двадцать пятая

Группировавшиеся вокруг "Магазин фюр литератур" лица были связаны также со свободным "Драматическим обществом". Оно не находилось в столь тесной связи с журналом, как "Свободное литературное общество", но в правлении его были те же люди, что и в "Литературном обществе"; по приезде моем в Берлин был выбран туда и я.

В задачи этого общества входила постановка драм, которые отличались своеобразием и поэтому выпадали из общепринятого направления и не ставились в театрах. Правлению было весьма трудно справляться с наплывом драматического опыта "непризнанных".

Для каждого отдельного представления всякий раз приходилось набирать новую труппу из актеров, выступавших на различных сценах. На утренних представлениях им приходилось играть на сцене, снятой внаем или предоставленной театральной дирекцией бесплатно. Актеры в своем отношении к Обществу были готовы идти на жертвы - ведь из-за стесненных финансовых обстоятельств оно не имело возможности выплачивать им соответствующее вознаграждение. Но и актеры, и директора театров не возражали против постановки произведений, переступающих общепринятые границы. С одной лишь оговоркой, что этого нельзя делать перед публикой вечерних представлений, потому что театр может понести финансовый урон. Публика еще не созрела до того уровня, чтобы театр служил только искусству.

Деятельность, связанная с этим "Драматическим обществом", пришлась мне в высшей степени по нраву. В особенности та ее часть, которая была связана с инсценировкой произведений.

Вместе с Отто Эрихом Гартлебенем я присутствовал на репетициях. Мы ощущали себя режиссерами: ведь мы делали произведения годными для сцены. Именно на примере этого жанра искусства можно увидеть, что никакая теоретизация и догматизация не приведут ни к чему, если они не проистекают из живого чувства искусства, интуитивно охватывающего в частности всю полноту стиля. Нужно избегать общих правил. Все, что человек в этой области в состоянии "мочь", должно немедленно, исходя из верного чувства стиля, отразиться в жесте, в постановке сцены. И то, что возникает из этого чувства стиля без всякого рассудочного обдумывания, действует благотворно на всех актеров, участвующих в спектакле, тогда как при режиссуре, основывающейся на рассудке, они чувствуют себя ущемленными в своей внутренней свободе.

Впоследствии я с большим удовлетворением мысленно возвращался к приобретенному мной в этой области опыту.

Первой драмой, поставленной по этому методу, была "Непрошенная" Мориса Метерлинка* в переводе Отто Эриха Гартлебена. Метерлинк считался тогда у эстетов автором, умеющим на сцене показать душе охваченного предчувствием зрителя то незримое, что лежит в основе суровых событий жизни. Тем, что обычно называют "фабулой", а также диалогом Метерлинк пользовался так, что все это как бы облекалось в символ. Подобная символизация привлекала очень многих, отшатнувшихся от предшествовавшего этому натурализма. Все, кто искали "дух", но не стремились к формам выражения, в которых непосредственно открывается "духовный мир", - находили удовлетворение в символизме, который хоть и не прибегал к языку натурализма, но и к духовному имел отношение лишь в той мере, в какой оно могло проявляться в неопределенных, расплывчатых мистических предчувствиях. Чем туманнее были символы-намеки, тем больше восхищения они вызывали.

Эта духовная мишура была мне не по душе. Но все же участвовать в режиссуре такой драмы, как "Непрошенная", было чрезвычайно интересно. Ведь изображение подобного рода символов при помощи соответствующих сценических средств требует от режиссера высокого мастерства, ориентированного на то, что было описано мной выше.

Кроме этого, на мою долю выпала задача предпосылать каждому представлению краткую вступительную речь. Этот метод, заимствованный из Франции, применялся при постановке некоторых драм и в Германии, правда, не в обычных театрах, а в тех, которые придерживались направления, принятого "Драматическим Обществом". Это происходило не перед каждым представлением, а гораздо реже, когда считалось нужным ввести публику в непривычную область художественных устремлений. Эти выступления на сцене с краткой речью доставляли мне большое удовольствие, ведь мне была предоставлена возможность вносить в речь настроение, излучавшееся для меня из самого духа. И то, что это происходило перед людьми, которые в обычное время были глухи к духовному, делало эту задачу еще приятнее.

Эта жизнь в драматическом искусстве имела для меня большое значение. Благодаря ей я начал писать театральную критику для "Магазин фюр литературы". У меня сложилось особое понимание такой "критики", впрочем, не находившее сочувствия. Я считал, что не следует высказывать частные "суждения" о драме и ее постановке. Подобные суждения должна, собственно говоря, выносить сама публика.

Кто пишет о театральной постановке, тому следовало бы представить своему читателю художественно-идейную картину взаимосвязи фантазии и образов, лежащих в основе драмы. В художественно оформленных мыслях перед читателем должно возникнуть воспроизведенное в идеях "зерно" всей драмы, бессознательно живущее в писателе. Ибо мысли никогда не являлись для меня просто средством для абстрактного или интеллектуального выражения действительности. Я видел, что в мыслеобразах возможна такая же художественная деятельность, как и при помощи красок, форм и сценических средств. И тот, кто пишет о театральном представлении, должен создать такое небольшое, сотканное из мыслей, произведение искусства. В создании подобных произведений для представления публике новой драмы я видел насущное требование жизни искусства.

"Хороша" ли драма, "дурна" или "посредственна" - это явствует из интонации и позиции подобного "произведения мысле-искусства". Ибо в нем ничего этого скрыть невозможно, даже если не прибегать к резким суждениям. Художественная несостоятельность постановки делается наглядной через ее мыслительно-художественное воспроизведение. Ибо мысли, выраженные в подобном произведении, будут несущественными, если произведение искусства не исходит из истинной, живущей в действительности фантазии.

Я хотел, чтобы подобное живое взаимодействие с живым искусством осуществилось и в "Магазин фюр литературы". Благодаря этому возникло бы нечто, что не позволило бы журналу быть просто критико-теоретическим органом искусства и духовной жизни. Он сам должен был стать частью этой духовной жизни, этого искусства.

Ибо все, что может сделать искусство мысли для драматического произведения, возможно и в отношении сценического искусства. Фантазия мыслей может воссоздать то, что вносит в сценическую картину искусство режиссера. Она позволяет следовать за актером, не критикуя то, что живет в нем, а воссоздавая "позитивное". "Пишущий" становится благодаря этому со-участником современной художественной жизни, а не прячется где-то в углу, как "критик", которого "боятся", "жалеют" или презирают и ненавидят. Если это осуществить для всех сфер искусства, то возникнет литературно-художественный журнал, черпающий свое содержание из реальной жизни.

Однако с подобными вещами всегда приходят к одному и тому же результату. Люди, занимающиеся писательством, или вовсе не проявляют к ним никакого интереса, поскольку это противоречит привычному для них образу мышления, с которым они не желают расстаться, или же начинают прислушиваться к ним, а затем заявляют: да, это верно; но я ведь всегда так и делал. Они не замечают разницы между тем, к чему следует стремиться, и тем, что "они всегда уже делали".

Кто может идти своим одиноким духовным путем, тот не нуждается в душевном соприкосновении с этими вещами. Того же, кто работает в сфере духовных человеческих взаимоотношений, эти последние затрагивают душевно весьма основательно. Особенно в том случае, если его внутренняя направленность так сильно срослась с ним самим, что ни в чем существенном он не может от нее отступить.

Мои статьи в "Магазин фюр литературы" и мои лекции в то время меня внутренне не удовлетворяли. Но кто прочтет их сегодня и сделает вывод, будто я хотел защищать материализм, тот полностью заблуждается. Этого я никогда не хотел.

Мои статьи и фрагменты лекций свидетельствуют об этом. Нужно только противопоставить отдельным, звучащим материалистически местам, другие, где я говорю о духовном, о вечном. Так, в статье "Венский поэт" я писал о Петере Альтенберге* следующее: "То, что более всего интересует человека, углубляющегося в вечную мировую гармонию, кажется ему чуждым...". В его глаза не проникает свет вечных идей ("Магазин фюр литературы" от 17 июля 1897 года). Что под этой "вечной мировой гармонией" имеется в виду не механически-материалистическая, явствует, например, из выдержек статьи о Рудольфе Хейденхайне (от 6 ноября 1897 года): "Наше восприятие природы определенно устремлено к цели, объясняющей жизнь организмов по тем же законам, согласно которым объясняются явления неорганической природы. В животных и растительных телах ищут механическую, физическую, химическую закономерность. Законы наподобие тех, которым подчинены машины, действуют и в организме, но только в бесконечно более сложной и трудно распознаваемой форме. Ничто не должно добавляться к этим законам, чтобы сделать возможным феномен, называемый нами жизнью. . . Все более распространяется механистическое понимание жизненных явлений. Но оно никогда не удовлетворит того, кто способен глубже вникать в процессы природы. . . Современные естествоиспытатели слишком трусливы в своем мышлении. Там, где у них иссякает мудрость их механических объяснений, они начинают утверждать, что вещи и явления для нас необъяснимы. . . Смелое мышление поднимается к более высокому образу воззрений. Оно пытается объяснить немеханическое при помощи более высоких законов. Наше естественнонаучное мышление отстает от нашего естественнонаучного опыта. Сегодня принято возносить естественнонаучный образ мышления. Твердят о том, что мы живем в естественнонаучную эпоху. Но эта эпоха, по существу, является самой бедной из всех исторических эпох. Она погрязла в голых фактах и механическом их объяснении. Понять жизнь подобный образ мышления никогда не сможет, ибо для такого понимания требуется более высокий образ представлений, чем для объяснения машины".

Разве не очевидно, что тот, кто говорит подобное об объяснении "жизни", не может мыслить о "духе" в материалистическом смысле?

Однако чаще я говорю о том, что дух "происходит" из лона природы. Что подразумевается здесь под "духом"? Все, что создает "культуру" из человеческого мышления, чувствования и воления. Говорить об ином "духе" было бы в то время совершенно бессмысленно. Если бы я сказал: то, что в человеке явлено как дух и лежит в основе природы, не является ни духом, ни природой, а совершенным единством обоих, - то никто бы меня не понял. Это единство - творящий дух, в своем творчестве приводящий материю к бытию и благодаря этому являющийся одновременно материей, насквозь одухотворенной, - постигается через идею, очень далекую от тогдашнего образа мышления. О такой идее можно было бы говорить, если при помощи духовного созерцания были бы представлены первичные состояния земного и человеческого развития и действующие поныне в самом человеке духовно-материальные силы, которые, с одной стороны, образуют его тело, с другой - излучают из себя то живое духовное, при помощи которого человек создает культуру. О внешней природе следовало бы сказать, что первичное духовно-материальное в ней абстрактные законы природы представляют как нечто отмирающее.

Однако говорить об этом было невозможно.

Все это могло быть привязано к естественнонаучному опыту, а не к естественнонаучному мышлению. В этом опыте заключалось нечто, что в отношении истинного, преисполненного духом мышления могло в истинном свете показать мир и человека его собственной душе, нечто, в чем можно было обрести дух, затерявшийся в традиционно оберегаемых догматах веры. Из опыта, основанного на наблюдении природы, я пытался выделить духовное воззрение на природу. Я хотел говорить о том, что можно найти "по эту сторону" как духовно-природное, как сущностно-божественное. Ибо в традиционно оберегаемых догматах это божественное превратилось в "потустороннее", потому что "по эту сторону" дух более не признавали и поэтому отделяли его от воспринимаемого мира. Он превратился в нечто такое, что для человеческого сознания все более погружалось во тьму. Не отрицание божественно-духовного, а обретение его в мире, призыв к нему "по эту сторону" звучал во фразах моих лекций, прочитанных для "Свободного литературного общества": "Я думаю, что естественная наука может принести нам осознание свободы в более привлекательной форме, чем люди обладали им когда-либо прежде. В нашей душевной жизни действуют законы, столь же естественные, что и те, согласно которым небесные тела движутся вокруг Солнца. Но эти законы представляют Нечто более высшее, нежели вся остальная природа. Это Нечто не существует нигде, кроме как в человеке. И в том, что проистекает из этого Нечто, - в этом человек свободен. Он возвышается над жесткой необходимостью неорганической и органической закономерности; он повинует и следует только самому себе". (Последние фразы выделены впервые здесь; этого не было в "Магазин фюр литератур". Ср. "Магазин фюр литератур" от 12 февраля 1898 года.)

Глава двадцать шестая

Может показаться, что некоторые из утверждений о христианстве, записанные мной тогда и высказанные в лекциях, находятся в противоречии с более поздними. Здесь следует принять во внимание следующее. Употребляя слово "христианство", я имел в виду такое учение о потустороннем, которое действовало в христианских вероисповеданиях. Всякое содержание религиозного переживания указывало на духовный мир, недостижимый для человека даже при развитых духовных силах. То, что говорит религия и что она может дать как моральные заповеди, восходит к откровениям, приходящим к человеку извне. Мое духовное воззрение восставало против этого. Оно хотело переживать духовный мир таким образом, как переживается в воспринимаемом чувственное в природе и человеке. Против этого восставал и мой этический индивидуализм, желающий жить нравственной жизнью не по данным извне заповедям, а основываясь на развитии душевно-духовного существа человека, в котором живет божественное.

То, что происходило в моей душе при рассмотрении христианства, было для меня серьезным испытанием, которым был заполнен период от окончания моей веймарской работы до разработки моей книги "Христианство как мистический факт"*. Подобные испытания даются судьбой (кармой) как препятствия, которые должны преодолеваются духовным развитием.

В мышлении, которое может следовать из познания природы - этого, однако, в то время не происходило, - я видел основу, с помощью которой люди могут достичь прозрения в духовный мир. Поэтому я особое внимание уделял познанию основ природы, которое должно приводить к духовно-познанию. Для того, кто не переживает духовный мир, находясь в нем, как я, подобное самопогружение в некий образ мыслей означает просто проявление деятельности мышления. Для того же, кто переживает его, это означает нечто существенно иное. Он приближается в духовном мире к существам, которые стремятся сделать подобный образ мыслей господствующим. Односторонность в познании является в духовном мире не только причиной абстрактных заблуждений; там происходит духовно живое общение с существами, что для человеческого мира является заблуждением. Позднее, затрагивая эту тему, я упоминал об ариманических существах, для которых абсолютной истиной является то, что мир должен стать машиной. Они живут в мире, непосредственно примыкающем к чувственному.

Благодаря моим собственным идеям я ни на мгновение не подпадал под влияние этого мира. Даже и в бессознательном. Ибо я тщательно следил за тем, чтобы весь процесс моего познания происходил в ясном сознании. И тем сознательнее была моя внутренняя борьба против демонических сил, приводящих к духовному созерцанию не из природопознания, а из механически-материалистического образа мышления.

Ищущий духовного познания должен переживать эти миры; просто лишь теоретического размышления о них недостаточно. Мне пришлось тогда спасти свое духовное воззрение во внутренних битвах, которые стояли за моими внешними переживаниями.

В этот период испытаний я мог продвигаться дальше только тогда, когда благодаря духовному созерцанию перед моей душой представало развитие христианства. Это привело к познанию, нашедшему выражение в книге "Христианство как мистический факт". Прежде я указывал лишь на христианское содержание, жившее в верованиях. Так поступал и Ницше.

В одном из предыдущих мест настоящей книги (с. 93) приводится разговор о Христе, который состоялся у меня с ученым-цистерцианцем и профессором Венского богословско-католического факультета. Тогда я был настроен скептически. Я не находил в догматах того христианства, которого искал. После периода тяжелых испытаний и трудной душевной борьбы мне пришлось самому погрузиться в христианство, а именно в мир, в котором о христианстве говорит духовное.

Из моего отношения к христианству становится очевидным, что я ничего не искал и не нашел на том пути, который многие приписывают мне в духовной науке. Они представляют дело так, будто духо-познание скомпоновано мной из древних преданий, что я просто переработал гностические и другие учения. Духо-познание, изложенное мной в книге "Христианство как мистический факт", вынесено непосредственно из духовного мира. Только для того, чтобы показать читателям книги и слушателям лекций созвучие духовно созерцаемого с историческими преданиями, я воспользовался последними и описал их в своей книге. Но то, что содержится в этих документах, я включал в книгу лишь после того, как все это имел перед собой в духе.

В тот период, когда появились мои суждения о христианстве, текстуально противоречившие моим более поздним суждениям на этот счет, в моей душе начало зарождаться истинное понимание христианства как явления внутреннего познания. В конце столетия это понимание все более развивалось. Именно в этот период происходило описанное мной испытание души. Это духовное стояние перед Мистерией Голгофы, самым серьезным образом осознаваемое мной как праздник познания, имело для моего душевного развития огромное значение.

Глава двадцать седьмая

Я полагал тогда, что новое столетие должно принести человечеству новый духовный свет. Мне казалось, что оторванность человеческой мысли и воли от духа достигла кульминационного пункта. Я ощущал необходимость изменений в процессе развития человечества.

Многие говорили об этом. Но они не видели, что человек будет пытаться направить свое внимание на действительный духовный мир, подобно тому, как он направляет свое внимание посредством органов чувств на природу. Однако им казалось, что перелому подвергнется субъективное духовное состояние душ. Мысль о том, что может открыться действительно новый объективный мир, была чужда воззрениям той эпохи.

Ощущения, вытекавшие из моих перспектив на будущее и впечатлений окружающего мира, заставляли меня все чаще обращать духовный взор на развитие XIX столетия.

Я видел, что вместе с эпохой Гете и Гегеля исчезает все то, что через познание воспринимается в образ мышления человека как представления о духовном мире. Впредь познание не должно было "смущаться" представлениями о духовном мире. Эти представления отдавались на откуп вере и "мистическому" переживанию.

В Гегеле я видел величайшего мыслителя нового времени. Но он был только мыслителем. Духовный мир существовал для него в мышлении. Облик, придаваемый им всякому мышлению, вызывал во мне безграничное изумление, но при этом возникало ощущение, что он не обладает чувством духовного мира, зримого мной и проявляющегося за мышлением, когда оно, укрепившись, достигает некоего переживания, чьим телом некоторым образом является мышление, и это тело воспринимает в себя, как душу, Мировой дух.

В гегельянстве все духовное становится мышлением, и поэтому Гегель представляется мне личностью, внесшей последние проблески древнего духовного света в ту эпоху, когда для человеческого познания дух уже окутывался тьмой.

Все это вставало передо мной, когда я созерцал духовный мир или наблюдал в физическом мире за уходящим столетием. Однако в этом столетии выделялась одна фигура, которую я не мог проследить вплоть до духовного мира. Это был Макс Штирнер*.

Гегель - это человек мысли, в своем внутреннем развитии стремившийся к мышлению, которое все более углублялось и в этом углублении достигало новых горизонтов. Это мышление, углубляясь и расширяясь, должно было в конце концов соединиться с мышлением Мирового духа в одно целое, включающее в себя все содержание мира. Штирнер же являет собой пример развития человека из индивидуально-личной воли. Все, что возникает в человечестве, обязано параллельному существованию отдельных личностей.

Мне нельзя было впасть в односторонность. Подобно тому, как я был погружен в гегельянство, переживал его в своей душе как свое собственное внутреннее переживание, так должен был я погрузиться внутренне и в противоположное ему направление.

В противовес одностороннему воззрению, наделяющему Мировой дух лишь знанием, должно было выступить и другое, согласно которому человек имеет значимость только как волевое существо.

Я не затрагивал бы всего этого в моих лекциях или книгах, если бы эти противоречия возникали только во "не, как душевные переживания моего развития. С подобными переживаниями я всегда поступал именно так. Однако эта полярность - Гегель и Штирнер - принадлежала данному столетию. Через них выражала себя эпоха. ХОТЯ философов, по существу, оценивают независимо от их влияния на свою эпоху.

Именно на примере Гегеля можно говорить о таком :ильном влиянии. Но главное здесь не в этом. Философы через содержание своих мыслей выявляют дух своего времени, подобно тому как термометр показывает температуру какой-либо местности. В философе сознательно проявляется то, что бессознательно живет в эпохе.

Так крайности XIX столетия изживаются в импульсах, нашедших свое выражение в Гегеле и Штирнере: с одной стороны - безличное мышление, которое охотнее всего погружается в рассмотрение мира, в котором человек с творческими силами своего внутреннего существа не принимает никакого участия; с другой - одна только личная воля, которая для взаимной гармоничной деятельности людей приносит мало пользы. Возникающие время от времени всевозможные "общественные идеалы" бессильны влиять на действительность. И эта последняя все более становится тем, что может возникнуть благодаря параллельному действию воли отдельных личностей.

Гегель стремится к тому, чтобы идея нравственности приобрела объективную форму в общности человеческой жизни; Штирнер, со своей стороны, чувствует, как "отдельного" (единичного) человека сбивает с толку все то, что таким образом может придать жизни человека гармоничную форму.

С изучением Штирнера у меня связана история одной дружбы, оказавшей существенное влияние на это изучение. Это дружба с известным знатоком и издателем Штирнера Дж. Г. Макаем*. С этой сразу вызвавшей во мне симпатию личностью еще в Веймаре познакомила меня Габриель Рейтер. Его заинтересовали в моей "Философии свободы" главы, посвященные этическому индивидуализму. Он считал, что изложенное мной созвучно его собственным социальным воззрениям.

Первое впечатление, полученное мной от встречи с Дж. Г. Макаем, сразу запало в мою душу. Он нес в себе "мир". Во всех его внешних и внутренних действиях сказывался мировой опыт. Некоторое время он жил в Англии и Америке. При всем этом он отличался безграничной любезностью. Я испытывал к этому человеку искреннюю любовь.

Когда в 1898 году он надолго поселился в Берлине, между нами завязались прекрасные дружеские отношения. К сожалению, их разрушила жизнь и в особенности моя открытая антропософская деятельность.

В данном случае я могу описать лишь субъективно, какой представлялась мне тогда деятельность Дж. Г. Макая и представляется до сих пор и какое воздействие она на меня тогда оказала. Ведь мне известно, что сам он по этому поводу высказался бы совершенно иначе.

Этот человек глубоко ненавидел все то, что проявляется в социальной жизни людей как власть. Вмешательство власти в социальное управление он считал величайшей ошибкой. В "коммунистическом анархизме" он видел крайне предосудительную социальную идею, поскольку для улучшения человеческой жизни он мог прибегать к насильственным методам.

Затруднение состояло в том, что Макай, защищая эти идеи и основанную на них агитацию, избрал для своих собственных социальных идей то же название, что и его противники, только с другим прилагательным. Он назвал это направление "индивидуалистическим анархизмом", как противоположность тому, что называли тогда анархизмом. Это и дало повод общественному мнению судить об идеях Макая вкось и вкривь. Его единомышленником был американец Б. Такер. Он навестил Макая в Берлине, где я и познакомился с ним.

В то же время Макай - это поэт своего жизневоззрения. Он автор романа "Анархисты". Я прочитал его вскоре после нашего знакомства с ним. Произведение это исполнено благородного доверия к отдельному человеку. Убедительно и наглядно описывает он социальное положение беднейших из бедных. Он показывает, как эти люди из нищеты находят путь к улучшению жизни и как они, полностью предаваясь добрым силам человеческой природы, развивают их так, что эти последние вносят социальный импульс в свободные взаимоотношения между людьми. При этом необходимость насилия полностью исключалась. Макай обладал благородным доверием к людям,

верой в то, что они сами создадут гармоничный жизненный уклад. Правда, он считал, что это осуществится в будущем, когда на духовном пути во внутреннем существе человека произойдет соответствующий поворот. Поэтому в настоящее время он требовал от отдельного продвинутого человека распространения идей об этом духовном пути. Таким образом, эта социальная идея могла работать только при помощи духовных средств.

Дж. Г. Макай выражал свое жизненные взгляды и в стихотворениях. Друзья считали их поучительными, теоретическими, т. е. нехудожественными. Мне же эти стихотворения очень нравились.

Судьба привела мои переживания, связанные с Дж. Г. Макаем и Штирнером, к тому, что мне пришлось погрузиться в мир мыслей, ставший для меня духовным испытанием. Мой этический индивидуализм воспринимался как чисто внутреннее переживание человека. Когда я его разрабатывал, я был далек от того, чтобы положить его в основу какого-либо политического воззрения. В этот период, около 1898 года, моя душа с ее чисто этическим индивидуализмом должна была ввергнуться в пропасть. Из чисто внутренне-человеческого мой индивидуализм должен был стать чем-то внешним. Эзотерическое должно было уклониться в сторону экзотерического.

Лишь после того как в начале нового столетия мне удалось описать мое переживание духовного в книгах "На заре мистики"* и "Христианство как мистический факт", "этический индивидуализм", пройдя испытание, возвратился на свое прежнее правильное место. Но испытание и здесь проходило так, что эта уступка внешнему не имела для сознания никакого значения. Оно протекало непосредственно под контролем этого сознания и благодаря этому могло принимать те формы выражения, в которые я облакал сказанное мной о социальных вопросах в последние годы прошлого столетия. И все же следует противопоставить известным, кажущимся слишком радикальными высказываниям другие, чтобы получить верную картину.

Прозревающий в духовный мир обнаруживает, что его собственное существо лишается глубины, когда ему приходится высказывать мнения, воззрения. Он вступает в духовный мир не с абстракциями, а в живом узрении. Ведь и природа, которая является чувственным отображением духовного, выдвигает не мнения или воззрения, а являет миру свои формы и их становление.

Внутренняя подвижность, приводившая в волнение все мои душевные силы, - на этом основывалось тогда мое внутреннее переживание.

Моя личная жизнь во внешнем мире приносила мне тогда удовлетворение благодаря переезду в Берлин семьи Эунике, где я мог жить, окруженный постоянной заботой, после того как мне пришлось испытать всю горечь проживания в собственной квартире. Дружба с фрау Эунике вскоре переросла в гражданский брак. Только это будет сказано здесь о моих личных делах. В "Моем жизненном пути" я упоминаю о моей частной жизни, только если это касается хода моего развития. Проживание в доме Эунике давало мне возможность создать прочное основание для моей внутренней и внешней жизни. Впрочем, личные отношения не подлежат представлению обществу. Они ее не касаются.

Мое духовное развитие совершенно независимо от каких-либо личных отношений. Я уверен, что оно протекало бы подобным же образом при совершенно ином укладе моей частной жизни.

При всей напряженности моей жизни того времени на мою долю выпала и постоянная забота о существовании "Магазин фюр литературу". Несмотря на все испытываемые мной трудности журнал мог бы стать популярным, если бы я располагал материальными средствами. Но журнал, который мог выплачивать крайне умеренные гонорары и не доставлял мне никакого материального обеспечения, не мог стать широко известным. В момент перехода в мои руки он издавался небольшим тиражом и, конечно же, процветать не мог.

Издание "Магазин фюр литературу" доставляло мне постоянную заботу.

Глава двадцать восьмая

В это тяжелое для меня время правление Берлинской общеобразовательной школы для рабочих обратилось ко мне с предложением взять на себя преподавание истории и искусства "речи". Социалистические связи, в которых состояла эта школа, сначала мало меня интересовали. Передо мной стояла благородная задача - учить уже зрелых мужчин и женщин из рабочего сословия. Ведь среди "учеников" молодежи было мало. Я объявил правлению, что если возьмусь за преподавание, то буду излагать ход исторического развития человечества исходя из собственных воззрений, а не в стиле марксизма, который был принят в социал-демократических кругах. Правление не изменило своего желания.

После поставленного мной условия меня перестало беспокоить то, что школа эта была основана старым социал-демократом Либкнехтом (отцом). Для меня школа состояла из мужчин и женщин из пролетариата; мне не было никакого дела до того, что большинство из них были социал-демократами.

Однако я должен был считаться с образом духовности моих "учеников". Мне приходилось использовать непривычные для меня до сих пор формы выражения. Нужно было вникать в формы понятий и суждений этих людей, чтобы более или менее быть понятым ими.

Формы этих понятий и суждений имели два источника. Во-первых - это жизнь. Этим людям был знаком материальный труд и его результаты. Духовные силы, ведущие человечество вперед, не вставали перед их душами. Поэтому так легко прививался в этой среде марксизм с его "материалистическим пониманием истории". Марксизм утверждал, что двигательными силами исторического развития являются только материально-экономические силы, создаваемые материальным трудом. "Духовные факторы" суть лишь род побочных продуктов, возникающих из материально-экономического: они являются лишь идеологией.

К этому надо добавить, что в рабочем классе уже давно пробудилось стремление к научному образованию. Однако оно могло удовлетворяться лишь популярной материалистической литературой на экономические темы. Ибо только эта литература подходила к формам понятий и суждений рабочих. То, что не было материалистическим, излагалось так, что не могло найти понимания у рабочих. Таким образом сложилась совершенно трагическая ситуация: развивавшемуся пролетариату с его высочайшим стремлением к познанию приходилось удовлетворяться грубейшим материализмом.

Здесь следует принять во внимание, что в экономическом материализме, воспринимаемом рабочими через марксизм как "материалистическая история", заключены частные истины. Именно эти частные истины легко понимаются рабочими. Если бы я преподавал идеалистическую историю, полностью игнорируя их, то в материалистических частных истинах мои слушатели совершенно произвольно ощутили бы то, что оттолкнуло бы их от моих лекций.

Поэтому я исходил из истины, которые были понятны моим слушателям. Я показал, что нелепо говорить о каком-либо господстве экономических сил в период до шестнадцатого столетия, как это делает Маркс. Только начиная с шестнадцатого столетия экономика вступает в отношения, которые можно понять исходя из марксизма; своего высшего развития этот процесс достигает в девятнадцатом столетии.

Это давало возможность говорить надлежащим образом об идеально-духовных импульсах истории предыдущих столетий и показать, как ослабели они в новейшее время в сравнении с материально-экономическими.

Рабочие получали таким образом представление о способности познания, о религиозных, художественных, нравственных движущих силах истории и переставали рассматривать их только как "идеологию". Полемика с марксизмом не имела бы при этом никакого смысла; мне приходилось выводить идеализм из материализма.

На "уроках речи" можно было сделать лишь немного в этом направлении. В начале курса я разъяснил основные правила риторики и декламации, за этим последовали упражнения для "учеников". Темой для своих упражнений они выбирали, разумеется, то, что им было хорошо знакомо в связи с их материалистической ориентацией.

"Вожди" рабочих не обращали сначала никакого внимания на школу. Передо мной было совершенно свободное поле деятельности.

Затруднения стали возрастать, когда наряду с историей мне пришлось преподавать и естественные науки. Было очень трудно переходить от господствующих в науке, особенно в области ее популяризации, материалистических представлений к таким, которые соответствовали бы действительности. Я делал все, что было в моих силах.

Благодаря преподаванию естественных наук моя преподавательская деятельность среди рабочих расширилась. Я получал приглашения от различных рабочих союзов с просьбой прочитать им лекции по естествознанию. Особенно они нуждались в пояснении нашедшей тогда книги Геккеля "Мировые загадки". Позитивная биологическая часть, составляющая треть книги, являлась кратким и точным обобщением фактов, касающихся родства живых существ. И поскольку я был убежден, что именно с этой стороны человечество может быть приведено к духовности, то считал правильным говорить об этом и рабочим. Мои рассуждения касались этой третьей части книги; относительно двух других частей я часто повторял, что они не имеют никакой ценности и что их следовало бы, собственно говоря, вырезать из книги и уничтожить.

На праздновании юбилея Гуттенберга* мне было поручено произнести торжественную речь перед 7000 наборщиков и печатников в Берлинском цирке. Таким образом, можно сказать, что мой способ общения с рабочими вызывал симпатию.

Благодаря этой деятельности* судьба вновь предоставила мне возможность погрузиться в жизнь. Как душа рабочего дремлет и грезит и как некоего рода массовая душа овладевает этими людьми, одурманивает их представления, суждения и жизненную позицию - вот что вставало передо мной в то время.

Но не следует думать, что души этих людей были мертвыми. Мне удалось глубоко заглянуть в души моих учеников, в частности - рабочих. Это входило в задачу, которую я ставил перед собой, приступая к этой работе. Отношение к марксизму среди рабочих тогда еще не было таким, каким оно стало двадцать лет спустя. В то время марксизм был для них чем-то вроде экономического евангелия, которое они изучали с полной отдачей. Позже пролетарские массы стали одержимы им.

Сознание пролетариата складывалось тогда из ощущений, как бы испытывших влияние массового внушения. Многие из его представителей без устали повторяли: придет время, когда в мире вновь начнут развиваться духовные интересы, но сначала должно наступить чисто экономическое освобождение пролетариата.

Я считал, что мои лекции оказывали на души хорошее влияние. Люди воспринимали также и то, что находилось в противоречии с материализмом и марксистским пониманием истории. Когда позднее "вожди" узнали об этой моей деятельности, то, конечно же, осудили ее. Один из таких "малых вождей" выступил однажды на одном из собраний моих учеников. Он сказал: "Мы не стремимся к свободе в пролетарском движении; мы хотим разумного насилия". В дальнейшем все усилия были направлены на то, чтобы против воли моих учеников удалить меня из школы. Постепенно эта работа стала для меня столь затруднительной, что вскоре, с началом моей антропософской деятельности, я оставил ее.

У меня сложилось впечатление, что если бы в то время со стороны многих непредвзято мыслящих людей был проявлен интерес и понимание к рабочему движению и пролетариату, то это движение развивалось бы совершенно по-иному. Но этим людям предоставили жить среди своего класса, а сами жили среди своего. Каждый из классов имел лишь теоретическое представление о другом. Переговоры велись лишь о заработной плате, когда к этому принуждали забастовки и т. п. Основывались различные благотворительные учреждения: последние, впрочем, заслуживали всяческой похвалы.

Но всем этим животрепещущим вопросам недоставало проникновения в духовную сферу. А ведь только это могло отнять у движения его разрушительные силы. Наступила эпоха, когда "высшие классы" утратили чувство общности и начал распространяться эгоизм с его дикой конкурентной борьбой; эпоха, в которой уже назревала мировая катастрофа второго десятилетия XX столетия. Вместе с тем у пролетариата развивалось своеобразное чувство общности в виде пролетарского классового сознания. Он участвовал в "культуре", развивавшейся в "высших классах", лишь постольку, поскольку она поставляла материал для оправдания пролетарского классового сознания. Постепенно уменьшалось количество мостов, связывавших различные классы.

Благодаря "Магазину фюр литературу" мне была дана возможность понять сущность буржуазии, а благодаря моей деятельности среди рабочих - сущность пролетариата. Богатое поле для познавательного сопереживания движущих сил эпохи.

Глава двадцать девятая

В достижения познания последней трети столетия в духовной области, в развитие человечества стремился пробиться новый свет. Но духовный сон, в котором пребывало материалистическое толкование этих достижений, мешал даже предчувствовать этот свет, не говоря уже о том, чтобы видеть его.

Так наступила эпоха, которая благодаря уже своей собственной сущности могла развиваться в направлении духовного, но которая отрицала эту свою собственную сущность. Эпоха, когда начала осуществляться невозможность жизни.

Я хотел бы привести здесь несколько фраз из моих статей, написанных в марте 1898 года для "Драматургических листков" (издававшихся с начала 1898 года в виде приложения к "Магазину фюр литературу"). Я говорю там об искусстве декламации*: "Ученик предоставлен здесь самому себе и случаю более, чем в любой другой области... При той форме, какую приняла сегодня общественная жизнь, каждый человек может оказаться в положении выступающего публично... Возвышение обычной речи до произведения искусства является редкостью... Мы почти утратили чувство красоты речи и еще более - характерной речи... Никто не вправе писать о певце, не имея понятия о том, что значит правильно петь... По отношению же к сценическому искусству ставится гораздо меньше требований... Людей, которые понимают, верно ли произносится стихотворение,

становится все меньше и меньше... Художественную речь в наше время считают неким проявлением неудавшегося идеализма... К этому бы не пришли никогда, если бы лучше осознавали присущую речи способность художественного развития".

То, как я тогда представлял себе все это, в некоторой степени осуществилось гораздо позже в Антропософском обществе. Мария фон Сиверс (Мария Штайнер)*, с воодушевлением относившаяся к искусству речи, посвятила себя сначала художественному чтению, а в дальнейшем с ее помощью на курсах, посвященных развитию речи и сценическому исполнению, эту область удалось возвысить до истинного искусства.

Я говорю здесь об этом, чтобы показать, как развивались в течение всей моей жизни определенные идеалы, хотя многие хотели бы найти в моем развитии противоречия.

В этот период я сблизился с Людвигом Якововски*, рано умершим поэтом. Основной душевный настрой этой личности был проникнут внутренним трагизмом. Судьбе было угодно сделать его евреем, и он очень тяжело переносил это. Он стоял во главе учреждения, которое под руководством одного свободомыслящего депутата заведовало обществом "Борьбы с антисемитизмом" и издавало его газету. Он был перегружен этой работой, постоянно причинявшей ему жгучую боль. Ибо изо дня в день она давала его душе представление о настроениях против его народа, которые и заставляли его так страдать.

Наряду с этим он развивал активную деятельность в области этнографии. Он собирал все, что было только возможно, закладывая фундамент для своей работы по становлению и развитию народностей начиная с древнейших времен. Очень интересны отдельные его статьи, свидетельствующие о глубоких познаниях в этой области. Они написаны в свойственном эпохе материалистическом духе, но, проживи он дольше, ему, несомненно, стали бы доступны и более духовные методы исследования.

Эта деятельность наложила печать и на его поэзию; ее нельзя назвать в полной мере самобытной, но стихи его исполнены глубоких человеческих чувств и сильных душевных переживаний. "Сияющие дни" - так он назвал сборник своих лирических стихотворений. Когда вдохновение дарило ему стихи, они были для него словно пропитанные духом солнечные дни в его полной трагизма жизни. Наряду со стихами он писал и романы. В "Еврее Вертере" оживает весь внутренний трагизм Людвига Якововски. Его "Локи - роман одного бога" родился из германской мифологии. Характерная для этого романа задушевность - это прекрасное отражение любви поэта к народной мифологии.

Обозревая все то, что было создано Людвигом Якововски, удивляешься той полноте, с какой он разрабатывал самые разные области своей деятельности. Кроме того, он поддерживал отношения со многими людьми и любил общество. Еще он издавал ежемесячный журнал "Гезелльшафт"*, что, конечно же, совершенно перегружало его.

Он сгорал от жизни, к которой так страстно стремился, пытаясь преобразовать ее художественно.

Якововски основал общество "Грядущие", членами которого стали литераторы, художники, ученые и просто люди, интересовавшиеся искусством. Раз в неделю устраивались собрания, на которых поэты читали свои стихи, проводились лекции, посвященные различным областям знания и жизни. Вечер завершался непринужденной беседой. Людвиг Якововски был средоточием этого все увеличивающегося кружка. Все любили этого приветливого, переполненного идеями человека, прививавшего в этом обществе тонкий благородный юмор.

Он был вырван из всего этого преждевременной смертью, не дожив и до тридцати лет. Он скончался от менингита, который был следствием постоянного напряжения.

Мне оставалось только произнести надгробную речь для моего друга и отредактировать его литературное наследие.

Прекрасный памятник создала ему дружившая с ним поэтесса Мария Стона*, издав книгу, в которой приняли участие многие его друзья.

Все в Людвиге Якововски было достойно любви: его внутренний трагизм, стремление выбраться из него к своим "сияющим дням", его приверженность к бурной, беспокойной жизни. Воспоминания о нашей дружбе живут в моем сердце, и часто я с искренней преданностью оглядываюсь назад на время нашего недолгого общения.

Дружеские отношения сложились у меня в тот период и с Мартой Асмус, философски мыслящей дамой, однако сильно склонявшейся к материализму. Эта склонность смягчалась, впрочем, тем обстоятельством, что Марта Асмус свою жизнь полностью посвятила памяти своего рано умершего брата Пауля Асмуса, убежденного идеалиста.

Философ-отшельник, Пауль Асмус в последней трети XIX столетия вновь переживает философский идеализм гегелевской эпохи. Он пишет работу о "Я" и еще одну, посвященную индогерманским религиям. Обе в гегелевском стиле, но вполне самостоятельные по содержанию.

Этот интересный, давно ушедший из жизни человек стал мне очень близок благодаря его сестре Марте Асмус. Со своей склонной к духовному философией начала столетия он как метеор вспыхнул на фоне конца столетия.

Менее тесные, но все же на какое-то время значительные отношения завязались у меня с "Фридрихгагенами" - Бруно Вилле и Вильгельмом Бёльше*. Бруно Вилле является автором книги "Философия освобождения при помощи чистого средства". К моей "Философии свободы" имеет отношение только ее заглавие. Содержание ее лежит совсем в другой области. В широких кругах Бруно Вилле известен благодаря своим весьма значительным "Откровениям можжевельового дерева". Эта книга, отражающая его мировоззрение, написана под влиянием изумительного чувства природы и пронизана убеждением, что дух проявляется через все материальное бытие. Вильгельм Бёльше известен своими многочисленными научно-популярными сочинениями, чрезвычайно любимыми в самых широких кругах.

Им была основана "Свободная высшая школа"*, в которую был привлечен и я. Мне было поручено преподавание истории. Бруно Вилле преподавал философию, Бёльше - естественные науки. Теодор Капштейн, свободомыслящий теолог, - религиоведение.

Был также учрежден "Союз Джордано Бруно". Здесь собирались приверженцы духовно-монистического мировоззрения, которые особо подчеркивали, что не существует двух мировых принципов, материи и духа, и что дух как принцип единства является творцом всего бытия. Бруно Вилле прочитал на открытии этого Союза содержательный доклад, в основу которого были положены слова Гете: "Нет материи без духа". К сожалению, после этого доклада между Бруно Вилле и мной возникло легкое недоразумение. В своей речи я указал ему на то, что Гете позднее дополнил эти замечательные слова, признав в действенной духовной деятельности бытия полярность и развитие как конкретные проявления духа, и что благодаря этому слова Гете обрели полное содержание. Мои слова были восприняты как направленные против доклада Вилле, хотя я вполне признавал его значение.

Однако решительное столкновение с правлением "Союза Джордано Бруно" произошло у меня после прочитанной мной лекции о монизме. Я говорил о том, что резкая дуалистическая формула "материя и дух" является, собственно, созданием новейшего времени и что противопоставление духа и природы, с которым собирается вести борьбу "Союз Джордано Бруно", возникло лишь в последние столетия. Далее я обращал внимание на то, что по отношению к этому дуализму схоластика является монизмом. Хотя она и лишает определенную часть бытия возможности быть познанной человеком, отдавая ее "вере", она все же являет собой систему мира, которая указывает на то, что все обладает единой (монистической) структурой - начиная от божества духовного мира и вплоть до частных свойств природы. Тем самым я ставил схоластику выше кантианства.

Лекция эта вызвала необычайное волнение. Слушателям казалось, что я прокладываю пути для проникновения в Союз католицизма. Из руководителей лишь Вольфганг Кирхбах* и Марта Асмус были на моей стороне. Остальные даже не могли составить себе представления о том, что я, собственно, подразумевал под "непризнанной схоластикой". Во всяком случае, они были убеждены, что я способен внести в "Союз Джордано Бруно" величайшую смуту.

Я вспоминаю об этой лекции, потому что она была прочитана именно в тот период, в который позднее многие считали меня материалистом. И этого же "материалиста" многие принимали тогда за человека, который вновь хочет вызвать к жизни средневековую схоластику.

Несмотря на все это, позднее я прочитал в "Союзе Джордано Бруно" лекцию, заложившую фундамент антропософии* и ставшую исходной точкой моей антропософской деятельности.

С публичным сообщением антропософии как знания о духовном мире нужно было принимать решения, которые трудно назвать легкими. Их можно лучше охарактеризовать, если обратиться к некоторым историческим фактам.

В соответствии с совершенно иной душевной конституцией древнего человечества всегда, вплоть до начала нового времени, приблизительно до XIV столетия, давалось знание о духовном мире. Однако это было совершенно иное знание, чем соответствующая современным условиям познания антропософия.

Начиная с упомянутого времени человечество утратило способность духо-познания. Оно сохраняло "древнее знание", которое древние души созерцали в образной форме и которое также существовало только в символически-образной форме.

В старые времена это "древнее знание" сохранялось в "мистериях". Его передавали лишь тем, кто после соответствующей подготовки созрел для такого знания: то были "посвященные". Это знание не должно было проникать в массы, поскольку существовала тенденция недостойного обращения с ним. Впоследствии его хранение было возложено на лиц, приобщенных к "древнему

знанию". Эти последние действовали в узком кругу людей, которых они подготавливали для передачи этого знания.

И так продолжалось до настоящего времени.

Из лиц, предъявлявших подобные требования относительно духо-познания, я назову одно, вращавшееся в уже охарактеризованном мной венском кругу фрау Ланг. Я встречался с ним и в других посещаемых мной в Вене кругах. Это - Фридрих Экштейн*, превосходный знаток этого "древнего знания". Фридрих Экштейн в период моего общения с ним писал мало, но все написанное им было проникнуто духом. Его высказывания не выдавали в нем глубокого знатока древнего духо-познания. Оно было скрыто за его духовной работой. Долгое время спустя, после того как жизнь разлучила меня и с этим другом, мне довелось прочесть в одном сборнике его весьма примечательное исследование о "Богемских братьях".

Фридрих Экштейн был энергичным сторонником того мнения, что эзотерическое духо-познание нельзя распространять открыто, как обычное знание. Он не был одинок в этом мнении; его придерживаются почти все знатоки "древней мудрости". В какой мере нарушалось это положение, которое хранители "древней мудрости" считали за строго соблюдаемое правило, в основанном Е. П. Блаватской "Теософском обществе", - об этом будет сказано позже.

Фридрих Экштейн требовал, чтобы "посвященный в древнее знание" умел наполнять высказываемое им публично силой, дающей "посвящением", и чтобы это экзотерическое строго отличали от эзотерического, которое должно сохраняться в узком кругу, умеющем ценить его.

Желая развивать открытую деятельность, касающуюся духо-познания, я должен был решиться порвать с этой традицией. Я понимал условия духовной жизни настоящего времени. Принимая их во внимание, хранение тайны, столь понятное для древних времен, теперь невозможно. Мы живем в эпоху, требующую публичности знания. Мнение о хранении знания в тайне является анахронизмом. Единственно возможное - это знакомить людей с духо-познанием постепенно и так, чтобы никто не допускался на высшую ступень, на которой сообщаются высшие элементы знания, не будучи знаком с более низшими. Но ведь это соответствует устройству обычных начальных и высших школ.

Впрочем, я не был обязан хранить все в тайне. Ибо я ничего не взял из "древнего знания": все, чем я обладаю в духопознании, является результатом моих собственных изысканий. Если мне открывается какое-либо знание, то я привлекаю нечто уже известное из "древнего знания" лишь для того, чтобы указать на согласие между ними и в то же время на прогресс, возможный в связи с современными исследованиями.

Поэтому с известного момента я пришел к полной ясности относительно того, что с духо-познанием я вправе выступить публично.

Глава тридцатая

Воля побуждала меня к тому, чтобы жившее во мне эзотерическое выразить в открытой форме. Поэтому 28 августа 1899 года - по случаю 150-летия со дня рождения Гете - я опубликовал в "Магазине фюр литературы" статью под заглавием "Тайное откровение Гете". Она была посвящена гетевской сказке "О зеленой змее и прекрасной лилии". В этой статье было мало эзотерического. Но большего я и не мог дать моим читателям. Содержание "Сказки" жило в моей душе как всецело эзотерическое. Из такого эзотерического настроения и была написана эта статья.

Начиная с 80-х годов я занимался имажинациями, которые связывались у меня с этой сказкой. Путь Гете от созерцания внешней природы к глубинам человеческой души, как в духе представлял его сам Гете - не в понятиях, а в образах, - был изображен в этой сказке. Понятия казались Гете слишком скудными, мертвыми, чтобы с их помощью суметь отобразить жизнь и действие душевных сил.

В шиллеровских "Письмах об эстетическом воспитании" Гете увидел попытку охватить эту жизнь и деятельность в понятиях. Шиллер пытался показать, что жизнь человека благодаря его телесности подчинена необходимости природы, а благодаря разуму - духовной необходимости. И он считал, что внутреннее равновесие между ними должно устанавливаться при помощи душевных сил. И тогда в этом равновесии человек в свободе переживает бытие, действительно достойное человека.

Все это основано на разуме, но слишком просто для реальной душевной жизни. Последняя дает возможность своим коренящимся в глубинах силам вспыхнуть в сознании; но, вспыхнув и оказав воздействие на подобные им недолговечные силы, они вновь исчезают. Это процессы, которые с возникновением тотчас же прекращаются; абстрактные же понятия можно применять к более или менее продолжительным процессам.

Гете чувствовал все это; в сказке он противопоставил свое знание в образах шиллеровскому знанию в понятиях.

Переживая это творение Гете, человек оказывается в преддверии эзотерики.

В этот же период от графа и графини Брокдорф я получил приглашение прочитать лекцию* на одном из проводимых ими еженедельных собраний. Эти мероприятия посещали представители самых разных кругов. Лекции, которые читались на этих собраниях, охватывали все области жизни и знания. До приглашения я ничего не знал об этом и не был знаком с Брокдорфами. В качестве темы мне предложили Ницше. Читая лекцию, я заметил, что многие из слушателей проявляют интерес к духовному миру. И когда меня попросили прочитать вторую лекцию*, я предложил тему "Тайное откровение Гете". Эта лекция, в связи со сказкой Гете, была полностью эзотерической. Важным переживанием здесь было для меня то, что стало возможно говорить в словах, данных из духовного мира, тогда как до сих пор, в мой берлинский период, обстоятельства вынуждали меня освещать духовное только в собственном изложении.

Брокдорфы были руководителями одного из отделений "Теософского общества"*, основанного Е. П. Блаватской. Сказанное мной в связи со сказкой Гете привело к тому, что Брокдорфы пригласили меня регулярно читать лекции* перед членами "Теософского общества". Я заявил, что могу говорить только о том, что живет во мне как духовная наука.

Говорить о чем-либо ином я действительно не мог. Ибо литература, исходившая из "Теософского общества", была мне мало знакома. Еще в Вене я знал теософов, а позднее познакомился и с другими. Это побудило меня поместить в "Магазин фюр литературу" критическую заметку о теософах, когда была опубликована одна из работ Франца Гартмана. То, что я вообще знал об этой литературе, по манере и методу изложения не вызывало во мне симпатии; я не видел возможности связывать мои лекции с этой литературой.

В своих лекциях я исходил из средневековой мистики. Образ мыслей мистиков, от Мейстера Экхарта до Якоба Бёме*, помогал мне находить средства выражения для того духовного воззрения, о котором я, собственно, и хотел говорить. Эти лекции впоследствии были обобщены мной в книге "Мистика на заре духовной жизни нового времени".

Однажды одну из лекций в качестве слушательницы посетила Мария фон Сиверс, самой судьбой предназначенная стать руководительницей основанной вскоре после начала моих лекций "Немецкой секции Теософского общества" и уверенно вести это руководство. В этой секции я получил возможность развивать среди все возрастающего количества слушателей мою антропософскую деятельность.

Никто не остался в неведении относительно того, что в Теософском обществе я буду приводить только результаты своего собственного опытного созерцания: я говорил об этом при каждом удобном случае. И когда в Берлине в присутствии Анни Безант* была основана "Немецкая секция Теософского общества" и меня избрали ее Генеральным секретарем, я был вынужден уходить с учредительных собраний*, чтобы прочитать перед нетеософской публикой очередную лекцию* о духовном становлении человечества. Эти лекции были мной недвусмысленно озаглавлены "Антропософия". Анни Безант также знала о том, что все, что я должен был сказать о духовном мире, я приводил тогда в своих лекциях под этим заглавием.

Когда я затем приехал в Лондон на теософский конгресс, один из руководителей сказал мне, что в моей книге "Мистика ..." содержится истинная теософия. Это доставило мне удовольствие. Ибо в ней приведены только результаты моего духовного созерцания, и они были приняты Теософским обществом. Отныне у меня не было никаких оснований не излагать по-своему это духо-познание перед теософской публикой, единственной, целиком посвятившей себя духо-познанию. Я не уклонялся в сторону какой-либо сектантской догматики, но говорил о том, что считал возможным высказать из своих переживаний духовного мира.

Еще до основания секции состоялся ряд моих лекций в кругу "Грядущих" на тему "От Будды ко Христу"*. В них я пытался показать, что Мистерия Голгофы в сравнении с событием Будды означает мощный прогресс и что развитие человечества, которое стремится к Событию Христа, тем самым приходит к своей кульминации.

В этом же кругу я говорил и о сущности мистерий.

Все это принималось моими слушателями и не рассматривалось как противоречие с тем, с чем я выступал на прежних своих лекциях. Только когда была основана Секция и на меня навесили ярлык "теософа", начались разногласия. Это было связано не с делом, а с названием и принадлежностью к обществу, которое никто не принимал.

С другой стороны, мои слушатели-нетеософы, склонные лишь "интересоваться" моими лекциями, воспринимали их "литературно". Они не понимали того, что лежало у меня на сердце, а именно желания внести в жизнь импульсы духовного мира. Это понимание постепенно развивалось в людях, интересовавшихся теософией.

В брокдорфском кругу, где я говорил о Ницше и затем о тайном откровении Гете, в этот же период я прочитал лекцию о гетевском "Фаусте" с эзотерической точки зрения. (Эта лекция позднее увидела свет вместе с моим толкованием гетевской сказки в Философско-Антропософском издательстве.)

Лекции о "Мистике . . ." привели к тому, что этот же теософский круг обратился ко мне с просьбой прочитать для них лекции и в зимний период. Я прочел ряд лекций*, которые позднее были объединены мной в книгу "Христианство как мистический факт".

С самого начала я дал понять, как важен здесь выбор заглавия. Ведь я хотел дать не просто представление о мистическом содержании христианства. Целью моей было отобразить развитие мистерий - начиная от древних и вплоть до Мистерии Голгофы, - в котором принимают участие не только земные силы, действующие на историческом плане, но и духовные внеземные импульсы. Я хотел также показать, что в древних мистериях были даны культовые образы космических процессов, которые затем были перенесены из Космоса на Землю и в Мистерии Голгофы свершились как факты на историческом плане.

В Теософском обществе этому не учили. Это воззрение, полностью противоречившее теософской догматике того времени, укрепилось во мне еще до того, как мне предложили действовать в интересах Теософского общества.

Предложение это последовало именно после упомянутого здесь цикла лекций о Христе.

В промежутке между этими двумя циклами лекций, которые я читал для Теософского общества, Мария фон Сиверс посетила Италию (Болонью), чтобы в тамошнем отделении действовать в интересах Теософского общества.

Так развивались события до моего первого посещения Теософского конгресса, состоявшегося в Лондоне в 1902 году. На этом конгрессе с участием Марии фон Сиверс получил подтверждение факт об основании немецкой секции Общества, где я, лишь недавно приглашенный вступить в члены Общества, был Генеральным секретарем.

Пребывание в Лондоне было для меня чрезвычайно интересным. Я познакомился там с руководителями Теософского общества и жил в доме одного из них, м-ра Бертрама Китли*, с которым очень подружился. Познакомился я также с м-ром Мидом*, старым идеологом теософского движения. В доме Бертрама Китли происходили интереснейшие беседы о духовно-познании, развивающемся в Теософском обществе.

Особенно сердечными были беседы с самим Бертрамом Китли. В них оживал образ Е. П. Блаватской. Мой любезный хозяин, столь многое переживший благодаря Блаватской, с величайшей наглядностью воссоздавал предо мной и Марией фон Сиверс эту столь богатую духовным содержанием личность.

Мимолетное знакомство состоялось у меня с Анни Безант, а также с Синнеттом, автором "Эзотерического буддизма". М-ра Ледбитера* я слышал только с кафедры, но он не произвел на меня особого впечатления.

Все интересное, о чем я здесь услышал, глубоко меня взволновало, однако на содержание моих воззрений не оказало никакого влияния.

Промежутки между заседаниями конгресса я использовал для посещения художественных и естественнонаучных музеев Лондона. Должен сказать, что во время осмотра исторической и естественнонаучной экспозиций у меня возникли некоторые идеи о развитии природы и человечества.

Таким образом посещение Лондона стало для меня важным событием. Я покинул этот город полный самых разных, глубоко взволновавших мою душу впечатлений.

В первом номере "Магазин фюр литературу" от 1899 года можно найти мою статью под заглавием "Новогодние размышления еретика". Здесь имеется в виду не религиозная ересь, а ересь в отношении к культурной ориентации современной эпохи.

Человечество стояло у врат нового столетия. Уходящее столетие принесло большие достижения в области внешней жизни и знания. Но вопреки этому у меня зародилась следующая мысль: "Несмотря на все эти и многие другие достижения, например, в области искусств, более проницательный человек не может быть доволен содержательностью нашего времени. Наши высшие духовные потребности жаждут того, что наша современность может дать лишь в скудной мере". И принимая во внимание бессодержательность культуры того времени, я оглядывался назад, на эпоху схоластики, когда люди еще жили в согласии с духом, по крайней мере в понятиях. "Неудивительно, что в отношении подобных явлений люди с более глубокими духовными потребностями находят в гордых мыслительных построениях схоластов больше удовлетворения, чем в идейном содержании нашей современности. Отто Вильман* написал выдающуюся книгу, "Историю идеализма", в которой он восхваляет мировоззрения прошлых столетий. Нужно признать, что человеческий дух томится по тому гордому, всеобъемлющему озарению мысли,

которое было испытано человеческим знанием в философских системах схоластики... Характерный признак духовной жизни конца столетия - это уныние. Оно омрачает в нас радость по поводу завоеваний недавно прошедших времен".

В отношении же людей, заявляющих, что именно "истинное знание" является свидетельством невозможности мировоззрения, охватывающего общую картину бытия", я должен был сказать следующее: "Если придерживаться мнения людей, провозглашающих подобные взгляды, то следовало бы ограничиться измерением, взвешиванием, сравнением вещей и явлений при помощи аппаратов: но в этом случае никогда не встал бы вопрос о высшем смысле вещей и явлений".

Таков был мой душевный настрой, исходя из которого можно понять мою антропософскую деятельность в Теософском обществе. После углубления в современную культуру, необходимого для духовного обоснования редакторской работы в "Магазин фюр литератур", я ощущал глубочайшую потребность "отдыхать" душой за чтением книги, подобной "Истории идеализма" Отто Вильмана. Несмотря на пропасть между моими духовными взглядами и идеями Отто Вильмана, я чувствовал, что его идеи все же близки к духу.

В конце сентября 1900 года мне представилась возможность передать "Магазин фюр литератур" в другие руки.

Упомянутые факты свидетельствуют о том, что мое стремление к изложению содержания духовного мира стало для меня необходимостью, благодаря моему душевному настрою, еще до передачи "Магазин фюр литератур" в другие руки и не находится ни в какой связи с невозможностью дальнейшего ведения журнала.

Как с чем-то предуказанным в моей душе, перешел я к деятельности, импульсы которой коренились в духо-познании.

Но я чувствую и сегодня, что не будь тех препятствий, о которых я здесь упоминал, мои попытки прийти к духовному миру через естественнонаучное мышление были бы более обнадеживающими. На сказанное мной в 1897-1900 годы я смотрю как на то, что необходимо было высказать относительно образа мышления того времени; с другой стороны, я смотрю на это как на то, в чем проходило мое самое сильное духовное испытание. Я основательно ознакомился с тем, где лежат стремящиеся прочь от духа, разрушающие и разлагающие культуру силы эпохи. И это знание придало мне сил, которые понадобились мне в дальнейшем, чтобы действовать исходя из духа.

Еще до моего участия в деятельности Теософского общества, в последний период редактирования "Магазин фюр литератур", я начал разработку двухтомника "Миро- и мировоззрения девятнадцатого столетия". Впоследствии, уже под названием "Загадки философии", вышло в свет второе издание этой книги, расширенное благодаря обзору развития мировоззрений начиная с греческой эпохи и до XIX столетия.

Внешний повод к созданию этой книги можно рассматривать как нечто второстепенное. Кронбах, издатель "Магазин фюр литератур", задумал выпустить сборник трудов, в котором должно было отразиться развитие различных областей знания и жизни в XIX столетии. Желая включить в это собрание описание жизни- и мировоззрений, он поручил эту работу мне.

Весь материал для подобной книги давно уже был в моей душе. Исходной точкой моего рассмотрения мировоззрений было мировоззрение Гете. Необходимость противопоставления гетевского образа мышления кантианству, новые философские разработки на рубеже XVIII и XIX столетий у Фихте, Шеллинга, Гегеля - все это было для меня началом эпохи развития мировоззрений. Умные книги Рихарда Вале, изображающие картину разложения всех философских мировоззренческих устремлений конца XIX столетия, заключали эту эпоху. Таким образом, мировоззренческие устремления XIX века складывались в нечто целое, жившее в моем представлении, и я с радостью приступил к предоставленной мне возможности описать эти мировоззрения.

Мне кажется, что именно в этой книге симптоматически отразилась моя жизнь. Мое духовное продвижение протекало без противоречий, хотя многие полагали обратное. Я бы с готовностью согласился с этим, если бы это действительно имело место. Я продвигался вперед, прибавляя к тому, что уже жило в моей душе, новые области. Этот процесс особенно оживился в духовной области после разработки книги "Жизне- и мировоззрения".

Здесь нужно отметить, что я никогда не проникал в сферу духовного, используя для этого мистический путь, основанный на чувствах, но всегда старался следовать за кристально ясными понятиями. Переживание понятий, идей вело меня из области идей в область духовно-реального.

Истинное развитие органического с первобытных времен и до настоящего времени предстало мне имагина-тивно только после разработки "Жизне- и мировоззрений".

В процессе работы над книгой мой душевный взор еще обращался к естественнонаучным представлениям, исходившим из дарвиновского образа мышления. Но я рассматривал их только как ряд существующих в природе фактов чувственного мира, в которых действуют духовные импульсы, подобные тем, что раскрывались Гете в идее метаморфозы.

Естественнонаучный ход развития, как его выразил Геккель, никогда не был для меня тем, в чем действуют механические или чисто органические законы. Он заключался в том, что дух ведет живые существа от простого к сложному вплоть до человека. В дарвинизме я видел образ мышления, который находится на пути к гетевскому, но отстаёт от него.

Все это как идеальное содержание пока только мыслилось мной, к имажинативному же созерцанию я пришел гораздо позже. И только это созерцание принесло мне познание того, что в древнейшие времена в духовной реальности существовало нечто совсем иное, нежели простейшие организмы, что человек как духо-существо древнее всех остальных живых существ и что для принятия своего нынешнего физического облика он должен был выделиться из некоего Мирового существа, содержащего в себе человека и все другие организмы. Эти последние являются, следовательно, отходами человеческого развития; не тем, из чего произошел человек, а тем, что он оставил позади себя, выделил из себя, чтобы принять свой физический облик как образ своего духовного существа. Человек как макрокосмическое существо, которое несет в себе весь остальной земной мир и которое достигло микрокосмоса путем отделения всего остального, - таково было познание, которого я достиг лишь в первые годы нового столетия.

Таким образом, это познание не могло содержаться в "Жизне- и мировоззрениях". Второй том этой книги был разработан так, чтобы в одухотворенном образе дарвинизма и геккелизма, рассматриваемых в свете мировоззрения Гете, дать исходную точку для духовного углубления в тайны мира.

При последующей переработке этой книги для второго издания в моей душе уже жило познание об истинном ходе развития. Я счел нужным внести небольшие изменения в форму изложения, придерживаясь, однако, принятой мной в первом издании точки зрения, показывающей, что может дать мышление без духовного созерцания. Поправки эти были необходимы, во-первых, потому, что благодаря включению в книгу общего обзора философии совершенно изменилась композиция книги, и, во-вторых, вследствие того, что второе издание появилось после моих разъяснений относительно истинного развития мира живых существ.

Форма, которую приняли мои "Загадки философии", оправданна не только субъективно, как точка зрения, которой я придерживался в известный период моего духовного развития, но и совершенно объективно. Речь идет о том, что мышление, даже переживаемое духовно, как таковое, может представить развитие живого существа лишь так, как это показано в моей книге. А дальнейший шаг должен быть сделан уже при помощи духовного созерцания.

Таким образом, моя книга совершенно объективно представляет доантропософскую точку зрения, в которую необходимо погрузиться и пережить, чтобы подняться выше. Эта точка зрения как этап пути познания является каждому, кто ищет духовный мир не на мистически-расплывчатом, а на духовно-ясном пути. В выводах, вытекающих из этой точки зрения, заложено, следовательно, то, что необходимо для познающего как ступень к высшему.

В Геккеле я видел тогда личность, которая смело использовала принципы мышления в естественной науке, в то время как другие исследователи исключали мышление, признавая лишь результаты чувственного наблюдения. В нем всегда привлекало меня то, что, исследуя действительность, он придавал ценность творческому мышлению. И свою книгу я посвятил ему*, хотя написана она, даже в тогдашнем ее виде, вовсе не в его духе. По своей природе Геккель не был философом. К философии он относился как дилетант. Поэтому нападки философов, которые градом сыпались на Геккеля, казались мне совершенно неуместными. Находясь в оппозиции к ним, я посвятил свою книгу Геккелю, точно так же, как раньше, будучи в той же оппозиции, я написал статью "Геккель и его противники"*. Геккель в полной наивности в отношении всякой философии использовал мышление как средство для изображения биологической действительности; на него обрушились с философскими нападками, лежащими в совершенно чуждой ему духовной области. Мне кажется, он никогда не понимал, чего хотят от него философы. Это прояснилось во время беседы с ним, уже после появления "Мировых загадок", в Лейпциге на представлении пьесы Борнгребера "Джордано Бруно". "Люди говорят, - сказал он, - что я отрицаю дух. Я хотел бы, чтобы они увидели, как формируется при помощи своих сил материя, тогда они ощутили бы "дух" в каждом процессе, происходящем в реторте. Дух вездесущ". Об истинном духе Геккель ничего не знал. Уже в силах природы виделся ему "дух".

Против подобной слепоты не следовало выступать критически, используя мертвые философские понятия. Лучше было присмотреться к тому, как далека эпоха от духо-переживания, и попытаться высечь искру духа из существующих основ биологического объяснения природы.

Таковы были тогда мои взгляды. Исходя из них я писал "Миро- и жизневоззрения в девятнадцатом столетии".

Глава тридцать первая

Другой сборник, отражавший культурные завоевания XIX столетия, издавался в то время Гансом Кремером. Он состоял из объемных статей, посвященных отдельным отраслям знания, технического творчества и социального развития.

Я был приглашен, чтобы дать обзор литературной жизни. И таким образом жизнь фантазии, как она развивалась в XIX столетии, также проходила через мою душу. Я писал не как филолог, черпающий материал "из источников", а изображал то, что внутренне переживалось мной как развитие жизни фантазии.

Эта работа тоже имела для меня большое значение, ибо я мог говорить о явлениях духовной жизни, не касаясь моих переживаний духовного мира. Я не упоминал здесь о тех истинных духовных импульсах этого мира, которые проявляют себя в литературном творчестве.

Но и в этом случае мне было ясно, что может сказать душевная жизнь о каком-либо явлении бытия, когда она становится на точку зрения обычного сознания, не приводя содержание этого сознания в такую активность, благодаря которой это содержание в переживании достигает духовного мира.

Более значительными были мои переживания этого "стояния пред вратами" духовного мира, когда я писал для другого сборника, который должен был состоять из статей, характеризующих различные области знания и жизни со следующей точки зрения: в какой мере движущей силой развития этих областей является человеческий "эгоизм". Издателем этого сборника был Артур Дике. Он назывался "Эгоизм" и вполне соответствовал данной эпохе - рубежу XIX и XX столетий.

Импульсы интеллектуализма, которые начиная с XV столетия стали проявляться во всех областях жизни, коренятся "в отдельных душевных жизнях", если, конечно, эти импульсы действительно выражают их суть. Если человек интеллектуально проявляет себя, исходя из социальной жизни, то это не истинное проявление интеллектуализма, а лишь подражание ему.

Одной из причин столь интенсивных призывов в нашу эпоху к восприятию социального является то, что в интеллектуальности это восприятие первоначально не переживается внутренне. Человечество и в этих вещах больше всего жаждет того, чем оно не обладает.

В этой книге я должен был отобразить "Эгоизм в философии". Моя статья была озаглавлена так лишь потому, что этого требовало общее название книги. Скорее она должна была называться "Индивидуализм в философии". Я попытался дать краткий обзор западной философии, начиная с Фалеса, и показать, что развитие ее направлено на то, чтобы привести человеческую индивидуальность к переживанию мира в образах-идеях. Это же пытался я показать в моей "Философии свободы" относительно познания и нравственной жизни.

Я вновь стою здесь перед "вратами духовного мира". В этой статье указывается на существование в человеческой индивидуальности образов-идей, раскрывающих содержание мира. Эти образы-идеи находятся в ожидании переживания, благодаря которому облеченная в них душа может войти в духовный мир. В своем описании я ограничиваюсь этим. Здесь внутренний мир человека указывает на то, как далеко может продвинуться в постижении мира чистое мышление.

Таким образом, я с различных точек зрения описывал доантропософскую душевную жизнь еще до моего открытого выступления с антропософским описанием духовного мира. Здесь не может быть никаких противоречий с антропософией. Ибо антропософия не только не опровергает возникающую при этом картину мира, но расширяет и развивает ее.

Если изображать духовный мир так, как это делает мистик, то каждый вправе сказать: ты говоришь о своих личных переживаниях, твои описания субъективны. Задача, которая была дана мне из духовного мира, указывала мне иной духовный путь.

Задача эта заключалась в создании основ для антропософии - столь же объективных, как научное мышление, когда это последнее, не останавливаясь на описании чувственных фактов, продвигается к цельному постижению явлений. Можно оспаривать мои связанные с гетевскими идеями естественнонаучные положения, мои научно-философские выводы. Можно считать их более или менее правильными или неправильными; но я стремился придать им в полном смысле объективно-научный характер.

Из этого познания, свободного от всего мистически-чувственного, я выношу затем переживание духовного мира. Можно увидеть, как в смысле этого объективного познания вводится понятие мистики в моих книгах "Мистика", "Христианство как мистический факт" и, в особенности, как

построена моя "Теософия"*. В этой книге на заднем плане всегда присутствует духовное созерцание. В ней нет ничего, что не восходило бы к этому духовному созерцанию. В начале книги созерцание облечено в естественнонаучные идеи, а затем, шаг за шагом, по мере восхождения в высшие миры оно все более участвует в свободном воссоздании духовного мира. Но это воссоздание вырастает из естественнонаучного, как цветок - из стебля и листьев растения. И как растение не будет завершённым, если рассматривать только его цветок, так и природа не переживается в ее полноте, если человек от чувственно воспринимаемого не восходит к духу.

Я стремился представить в антропософии объективное продолжение науки, а не ставить рядом с этой наукой нечто субъективное. Сначала это стремление, конечно, не было понято. Считалось, что наука кончается там, где начинается антропософия, и ни у кого не было желания оживить научные идеи таким образом, чтобы они приводили к пониманию духовного. Люди были во власти стереотипов мышления, сформировавшихся во второй половине XIX столетия. Не хватало мужества разбить оковы чувственного наблюдения; мешал страх оказаться в области, где каждый будет проявлять свою собственную фантазию.

Таков был мой внутренний настрой, когда в 1902 году Мария фон Сиверс и я взяли на себя руководство немецкой секцией Теософского общества. Мария фон Сиверс была именно той личностью, которая всем своим существом была настроена против всякого рода сектантства и могла придать нашей работе такой характер, который вписывался в общую духовную жизнь и организацию общества. Она глубоко интересовалась драматическим и декламационно-речитативным искусством и прошла обучение в лучших учебных заведениях Парижа, благодаря чему ее талант получил прекрасное завершение. Когда я познакомился с ней в Берлине, она еще продолжала свое обучение, чтобы приобрести знания о различных методах художественной речи.

Между Марией фон Сиверс и мной вскоре возникла глубокая дружба. Дружба эта стала основанием для широкого круга совместных работ в различных духовных областях. Что касается антропософии, а также общих занятий поэтическим и декламационным искусством, то они вскоре стали содержанием всей нашей жизни.

Только в этой общности духовной жизни мог находиться тот центр, из которого антропософия - сначала лишь в рамках Теософского общества - была вынесена в мир.

При нашем первом совместном посещении Лондона Марии фон Сиверс удалось узнать от графини Вахтмейстер, близкой подруги Е. П. Блаватской, многое о самой Блаватской и об учреждении и развитии Теософского общества. Она была прекрасно осведомлена о том, что некогда было раскрыто Обществу как духовное содержание и о том, как это содержание сохранялось и передавалось дальше.

Когда я говорил, что в рамках Теософского общества можно найти людей, желающих получать на лекциях сообщения из духовного мира, то не следует подразумевать всех тех, кто тогда записывался в члены Общества.

Правда, многие из них вскоре выказали полное понимание моего рода духо-познания.

Однако большая часть членов Общества превратилась в фанатических приверженцев отдельных руководителей Теософского общества. Эти люди слепо верили догмам, изрекаемым этими действующими в сильно сектантском духе руководителями.

Эта сторона деятельности Теософского общества отталкивала меня своей тривиальностью и дилетантизмом. Только у английских теософов я находил внутреннее содержание, исходившее от Е. П. Блаватской и надлежащим образом разработанное Анни Безант и другими. Сам я никогда не мог бы работать в стиле этих теософов. Однако то, что жило в них, я рассматривал как некий духовный центр, с которым люди могут достойно связать себя, если будут действительно серьезно относиться к распространению духо-познания.

И такими людьми были в основном не члены Теософского общества, к которым принадлежали также Мария фон Сиверс и я, но те, кто сердцем и умом со всей серьезностью стремился к духо-познанию.

Служившая отправной точкой работа в существовавшем тогда отделении Теософского общества составляла лишь часть нашей деятельности. Главным делом являлась организация открытых лекций, на которых я обращался к публике, не состоявшей в Теософском обществе и посещавшей мои лекции только ради их содержания.

Из этих людей, которые указанным образом знакомились с тем, что я сообщал о духовном мире, и из лиц, развивавших деятельность в "теософском направлении" и нашедших путь к подобной работе, в рамках Теософского общества составилась та группа, из которой позднее образовалось Антропософское общество.

Среди многих обвинений, направленных против меня из-за моей деятельности в Теософском обществе (в том числе и со стороны самого Общества), одним из главных было то, будто я

воспользовался этим имеющим мировое значение Обществом как трамплином, чтобы проложить путь для собственного духо-познания.

Об этом не может быть и речи. Когда я принял приглашение Общества, оно было единственным серьезным учреждением, в котором существовала реальная духовная жизнь. И если бы в дальнейшем направление и деятельность Общества не изменились, то моим друзьям и мне никогда не пришлось бы выходить из него. В этом случае в рамках Теософского общества состоялось бы лишь официальное открытие особого отделения - "Антропософского общества".

Но уже начиная с 1906 года в Теософском обществе стали заметны явления, которые самым ужасающим образом свидетельствовали о его упадке.

О существовании подобных явлений говорили уже во времена Е. П. Блаватской. Но в начале столетия дело фактически обстояло так, что со стороны Общества, проводившего серьезную работу в духовном направлении, были исправлены все прошлые ошибки. Кроме того, шла дискуссия вокруг оценки этих явлений.

Однако с 1906 года в Обществе, на руководство которого я не имел ни малейшего влияния, началась деятельность, напоминавшая извращения спиритизма, и она вынуждала меня постоянно говорить о том, что та часть Общества, которая работает под моим руководством, с подобными вещами не имеет ничего общего. Деятельность эта достигла своей высшей точки, когда появились утверждения, будто Христос явился в новой земной жизни в лице одного мальчика-индуса*. Для распространения этого абсурдного мнения в рамках Теософского общества было образовано особое общество - "Звезда Востока". Для меня и моих друзей было совершенно невозможно принимать членов этой "Звезды Востока" в немецкую секцию, как они того хотели и как намеревалась поступить Анни Безант, будучи президентом Теософского общества. И поскольку пойти на это мы не могли, в 1913 году нас исключили из Теософского общества. Мы были вынуждены основать самостоятельное Антропософское общество.

Излагая эти события, я забежал вперед в описании моей жизни, но это было необходимо: ведь эти события помогают правильно осветить намерения, с которыми я вступал в Общество в начале столетия.

Впервые выступая в 1902 году на конгрессе Теософского общества в Лондоне, я сказал: "Цель союза, образуемого из отдельных секций, состоит в том, что каждая из них должна приносить центру все то, что несет в себе"; и я особо отметил, что так намерена действовать немецкая секция и что эта секция никогда не будет носителем установленных догм. Она станет местом самостоятельного духовного исследования, и на общих собраниях Общества она хотела бы участвовать в обсуждениях работы в области истинной духовной жизни.

Глава тридцать вторая

Я испытываю боль, когда в сегодняшних рассматриваниях, касающихся антропософии, постоянно приходится читать мысли следующего рода: мировая война породила в душах людей настроения, благоприятные для появления всевозможных "мистических" и подобных им духовных течений; среди подобных течений упоминается и антропософия.

Против этого надо возразить, что антропософское движение было основано в начале столетия и что с момента его основания в нем не совершалось ничего, что не было бы обусловлено внутренней жизнью духа. За двадцать пять лет у меня накопился запас духовных впечатлений, которые я воплотил в моих лекциях, статьях и книгах. Все, что я делал, исходило из духовных импульсов. Каждая тема по существу взята из духа. Во время войны я касался вопросов, обусловленных событиями эпохи. Однако в этом не было намерения воспользоваться настроением эпохи с целью распространения антропософии. Это делалось лишь постольку, поскольку люди хотели, чтобы современные события освещались познанием, исходящим из духовных миров.

Мы всегда стремились к тому, чтобы развитие антропософии происходило при помощи внутренней, дарованной ей духом силы. Совершенно ошибочно мнение, будто в военное время она черпала что-то из темных провалов души. Правда, во время войны количество людей, интересующихся антропософией, увеличилось, число членов Общества также возросло, но здесь следует заметить, что все это не влияло на развитие антропософского движения, и оно продолжало идти тем же путем, что и в начале столетия.

Облик, который нужно было придать антропософии, сообразуясь с ее духовным существом, прежде всего должен был преодолеть всевозможные противодействия со стороны немецких теософов.

Самым важным был вопрос об оправдании духо-познания перед "научным" образом мышления эпохи. Я уже не раз говорил в моем "Жизненном пути" о необходимости такого оправдания. Я взял образ мышления, который в природопознании по праву считался "научным", и претворил его в духо-познание. Благодаря этому метод природопознания стал для духо-наблюдения иным, чем он является для природо-наблюдения, но характер "научности" за ним сохранился.

Однако подобного рода научный облик духо-познания не находил ни понимания, ни интереса в кругу людей, считавших себя в начале столетия представителями теософского движения.

Это были лица, группировавшиеся вокруг д-ра Хюббе-Шлейдена*, друга Е. П. Блаватской. Уже в 80-х годах он основал Теософское общество, центр которого находился в Эльберфельде. В основании Общества принимала участие сама Е. П. Блаватская. Затем д-р Хюббе-Шлейден начал издавать журнал "Сфинкс", который должен был стать выразителем теософского мировоззрения. Со временем движение иссякло, и к моменту основания немецкой секции Теософского общества от него осталась лишь небольшая группа людей, которые видели во мне человека, вторгающегося в их сферу. Люди эти ждали от д-ра Хюббе-Шлейдена "научного обоснования" теософии. Они считали, что без такого обоснования сделать в Германии что-либо в этой области невозможно. Начатое мной дело казалось им чем-то очень вредным, помехой их "ожиданиям". Однако, считая теософию "своим" делом, они не отстранились от дел, не хотели стоять в стороне от событий.

Что же понимали они под "научностью", которую должен был обосновать д-р Хюббе-Шлейден и тем самым "доказать" теософию? До антропософии им не было дела.

Под "научностью" они подразумевали атомистическую основу естественнонаучного теоретизирования и построения гипотез. Явления природы "объяснялись" при помощи того, что "первичные частицы" мировой субстанции группировали в атомы, а затем в молекулы. Материя же возникала у них благодаря определенной структуре атомов в молекулах.

Этот образ мышления брался за образец. Создавались сложные молекулы, которые должны были служить основанием и для духовной деятельности. Химические процессы являлись результатами процессов внутри молекулярной структуры; нечто подобное они искали и для духовных процессов.

Атомизм, как он дается в "естествознании", был для меня совершенно неприемлем уже в самой этой области; перенос его в духовную сферу - это такое заблуждение, о котором даже не стоит серьезно говорить.

Эта область всегда была трудной для моего обоснования антропософии. Уже давно с разных сторон раздаются уверения, что теоретический материализм преодолен. Антропософия, выступая против материализма в науке, борется, как утверждают, с ветряными мельницами. Но я всегда знал, что тот способ преодоления материализма, о котором многие говорят, является именно путем его бессознательного консервирования.

Для меня не имело значения, берутся ли атомы из чисто механической или из какой-либо иной деятельности внутри материального процесса. Здесь было важно то, что мыслительное наблюдение начинается от атома - мельчайшего мирового образования, и ищет перехода к органическому, к духовному. Я же видел необходимость исходить из целого. Атомы или атомистические структуры могут быть лишь результатами духовной, органической деятельности. Я исходил, в духе гетевского наблюдения природы, из созерцаемого пр ото феномен а, а не из какой-либо мыслительной конструкции. Глубоко убедительными были для меня слова Гете о том, что факты уже являются теорией и что за ними уже нечего искать. А это означает, что для исследования природы следует брать то, что дают органы чувств, а мышление использовать в этой области лишь для того, чтобы от сложных, производных феноменов (явлений), которые невозможно обозреть, прийти к простым, к протофеноменам. И тогда обнаруживается, что в природе имеют дело со свойствами цвета или другими чувственными качествами, внутри которых действует дух. Но никогда не придут к тому, что за чувственным миром существует атомистический мир. То, что в атомизме может иметь значимость, принадлежит именно чувственному миру.

Антропософский образ мышления не может согласиться с тем, что относительно этого в понимании природы произошел прогресс. В воззрениях Маха* или в других современных течениях в этой области делаются попытки отказаться от атомистического и молекулярного конструирования; но они же и показывают, что оно столь глубоко врезалось в образ мышления, что при отказе от него утрачивается всякая реальность. Для Маха понятия - это лишь экономичные обобщения чувственных восприятий, а не то, что живет в духовной реальности. Новейшие воззрения придерживаются тех же взглядов.

Подобное преодоление теоретического материализма столь же далеко от духовного бытия, в котором живет антропософия, как далек был от него и материализм последней трети XIX столетия.

То, что говорила тогда антропософия против естественнонаучных схем мышления, не только не утратило своего значения, но стало более актуальным.

Изложение этих вещей в моем "Жизненном пути" может показаться как бы отвлеченным теоретизированием. Но для меня это не так, ибо здесь содержится то, что было для меня переживанием, сильнейшим переживанием, более значительным, чем все, что когда-либо подступало ко мне извне.

С основанием немецкой секции Теософского общества возникла необходимость в своем собственном журнале. Так Марией фон Сиверс и мной был основан ежемесячный журнал "Люцифер". Название это, конечно, не связывалось тогда с духовной силой, которую я позднее обозначил именем Люцифера, противоположностью Аримана. Смысл и содержание антропософии еще не были определены настолько, чтобы можно было говорить об этих двух силах. Название это просто означало "светоносен".

Я собирался работать в согласии с правлением Теософского общества. Однако с самого начала я ощутил, что в антропософии должно возникнуть нечто, развивающееся из своего собственного зародыша, независимо от содержания того, чему учит Теософское общество. Это я мог сделать только при помощи такого журнала. Из написанных мной статей для этого журнала фактически выросло то, что сегодня является антропософией.

Таким образом, в некотором смысле под покровительством и в присутствии миссис Безант была основана немецкая секция. Тогда же миссис Безант прочитала в Берлине лекцию о целях и принципах теософии. Позднее мы пригласили ее для чтения лекций в ряде немецких городов. Такие лекции состоялись в Гамбурге, Берлине, Веймаре, Мюнхене, Штутгарте, Кельне. Несмотря на все это, без особого участия с моей стороны, а только в силу внутренней необходимости, теософия иссякла, антропософия же стала развиваться в направлении, определяемом внутренними условиями ее становления.

Все это стало возможным благодаря не только посильным материальным пожертвованиям со стороны Марии фон Сиверс, но и тому, что она посвятила антропософии все свои силы. Сначала нам действительно приходилось работать в самых примитивных условиях. Большую часть "Люцифера" писал я. Мария фон Сиверс взяла на себя ведение корреспонденции. Готовые номера журнала мы сами упаковывали в бандероли, наклеивали на них марки, надписывали адреса и сами же относили весь тираж в большой бельевой корзине на почту.

"Люцифер" вскоре увеличился в объеме. Некий господин Раппопорт, издававший в Вене журнал "Гнозис", предложил мне объединить свой журнал с "Люцифером". Новый журнал стал издаваться под названием "Люцифер-Гнозис". Раппопорт некоторое время участвовал в его издании.

С "Люцифер-Гнозисом" все складывалось наилучшим образом, он распространялся вполне удовлетворительно.

Некоторые уже распроданные номера приходилось выпускать вторым изданием. Так что журнал этот закрылся не от недостатка читателей. Распространение антропософии в сравнительно короткое время приняло такой размах, что из многих городов я получал приглашения выступить с лекциями. Отдельные лекции во многих случаях перерастали в циклы. Сначала я пытался совмещать редактирование "Люцифер-Гнозиса" с лекционной деятельностью. Но номера не выходили в назначенное время, часто запаздывая на целые месяцы. Таким образом, имел место удивительный факт, когда журнал, с каждым номером приобретающий все больше подписчиков, должен был закрыться просто из-за перегруженности редактора.

В этом ежемесячнике впервые было опубликовано то, что стало основой для антропософской деятельности. В нем же впервые было сказано о тех усилиях, которые должна приложить человеческая душа, чтобы достичь собственного созерцательного восприятия духо-познания. Моя книга "Как достигнуть познания высших миров?"* выходила с продолжениями, из номера в номер. Кроме того, была заложена основа антропософской космологии благодаря последовательной публикации статей "Из Акаша-Хроники"*.

Антропософское движение возникло именно так, а не из чего-то, заимствованного у Теософского общества. Если в своих работах, посвященных духо-познанию, я упоминал об учениях, принятых в Теософском обществе, то лишь для того, чтобы исправить, как мне казалось, ошибочное в этих учениях.

В связи с этим я должен упомянуть еще об одном факте, на который часто ссылаются мои противники, окутывая его туманом недоразумений. Исходя из внутренних причин я не хотел говорить о нем, поскольку он не оказал никакого влияния ни на мое развитие, ни на мою общественную деятельность. И в сравнении со всем тем, что я здесь описываю, это сугубо "личное" дело. Речь идет о моем участии в существовавшей внутри Теософского общества "Эзотерической школе".

Эта "Эзотерическая школа" была основана Е. П. Блаватской. Она создала в Обществе небольшой внутренний круг, которому сообщала то, о чем не хотела говорить в Обществе. Как и многие знатоки духовного мира, она не считала возможным открыто сообщать более глубокие учения.

Однако все это связано с тем, каким образом сама Блаватская получила эти учения. Последние всегда были связаны с традицией, берущей начало в древних мистериальных школах. Такая традиция соблюдается во многих обществах, которые строго следят за тем, чтобы эти учения не выходили за пределы общества.

Однако некоторые лица сочли нужным сообщить эти учения Е. П. Блаватской. Полученное она соединила с откровениями своего собственного внутреннего существа. Ибо в этой человеческой индивидуальности духовное действовало атактистическим образом, как в прежние времена в руководителях мистерий, при состоянии сознания, которое, в отличие от современного, пронизанного светом души сознательной, было низведено до сновидческого. Так возродилось в "Блаватской-человеке" то, что происходило в мистериях в древнейшие времена.

Для современного человека существует безошибочная возможность определить, что может быть сообщено из содержания духовного созерцания более широким кругам. К этому относится все то, что исследователь может облечь в такие идеи, которые будут усвоены душой сознательной и по роду своему могут найти применение и в обычной, признанной всеми науке.

Не так обстоит дело, когда духо-познание живет не в душе сознательной, а в более подсознательных душевных силах. Эти последние недостаточно независимы от сил, действующих в телесном. В случае учений, извлекаемых из подсознательных областей, сообщения могут стать опасными. Ибо подобные учения могут восприниматься также только через подсознательное. Учитель же и ученик пребывают в такой области, где нужно тщательно различать то, что идет человеку на благо и что может нанести ему вред.

Все это не касается антропософии, ибо свои учения она полностью выносит из сферы бессознательного.

Внутренний круг Блаватской продолжал жить в "Эзотерической школе". Мою антропософскую работу я проводил в Теософском обществе. Поэтому я должен был знать обо всем, что в нем происходило. Только ради этой информации, а также исходя из необходимости существования узкого круга и для продвинутых в антропософском духо-познании, я вступил в "Эзотерическую школу". Правда, мой "узкий круг" должен был иметь несколько иной смысл, чем эта школа. Он должен был представлять собой более высокую ступень, высший класс для тех, кто уже воспринял достаточно много элементарных познаний в антропософии.

Теперь я хотел найти связь с уже существующим, исторически данным. Относительно "Эзотерической школы" я хотел это сделать так, как уже делал в отношении Теософского общества. Поэтому мой "узкий круг" сначала был связан с этой школой. Но связь эта основывалась только на его устройстве, а не на моих сообщениях из мира духа. В первые годы своего существования мой "узкий круг" внешне был как бы отделением "Эзотерической школы" миссис Безант. Но внутренне он был совершенно иным. И в 1907 году, когда миссис Безант посетила наш Теософский конгресс в Мюнхене, по соглашению между мной и миссис Безант эта внешняя связь также полностью прекратилась.

Научиться чему-то особенному в "Эзотерической школе" миссис Безант было невозможно, ибо с самого начала я не принимал никакого участия в мероприятиях этой школы, за исключением тех, которые могли предоставить мне информацию о происходящем в ней.

В школе и не изучали ничего иного, кроме сообщений Блаватской, ранее уже напечатанных. Кроме этого миссис Безант предлагала всевозможные индийские упражнения для развития способности познания, но я отвергал их.

Таким образом, до 1907 года мой "узкий круг" был связан с кругом миссис Безант в отношении того, что касалось его устройства. Но делать из этих фактов такие выводы, какие делали мои противники, совершенно неверно. Они пришли к такому абсурдному утверждению, будто я был приведен к духо-познанию только через "Эзотерическую школу" миссис Безант.

В 1903 году Мария фон Сиверс и я снова приняли участие в Теософском конгрессе в Лондоне. Здесь присутствовал и председатель Теософского общества полковник Олькотт из Индии. Обаятельная личность, он смог благодаря своей энергии и поразительным организаторским способностям стать соратником Блаватской по основанию, устройству и ведению Теософского общества. Ибо на внешнем плане это Общество за короткое время превратилось в большое объединение с отличной организацией.

Мария фон Сиверс и я сблизилась на короткое время с миссис Безант благодаря тому, что она жила в Лондоне у миссис Брайт и во время наших последующих посещений Лондона нас также приглашали в этот гостеприимный дом. Миссис Брайт и ее дочь мисс Эстер Брайт были

олицетворением любезности. И я с внутренней радостью вспоминаю время, проведенное в этом доме. Брайты были преданными друзьями миссис Безант. Они стремились теснее связать нас с ней. Но когда обнаружилось, что в некоторых вопросах, о которых я уже упоминал, я не мог стать на сторону миссис Безант, они очень огорчились, однако с железным упорством, не проявляя никакой критики, продолжали держать сторону духовной руководительницы Теософского общества.

Для меня миссис Безант благодаря своим известным качествам была интересной личностью. Я видел, что она имеет определенное право говорить о духовном мире исходя из собственных внутренних переживаний. Она обладала внутренней способностью приближаться душой к духовному миру. Позднее эта ее способность была подавлена теми внешними целями, которые она себе ставила.

Человек, который из духа говорил о духе, должен был представлять для меня интерес. С другой же стороны, я строго придерживался того мнения, что в наше время познание духовного мира должно жить внутри души сознательной.

Я прозревал в древнее духо-познание человечества. Оно носило сновидческий характер. Человек созерцал образы, в которых раскрывался духовный мир. Но эти образы развивались им не вполне сознательно и не через волю к познанию. Они возникали в душе, даруемые ей из космоса как сновидения. Это древнее духо-познание в средние века было утрачено. Человек вступил в обладание душой сознательной. У него исчезли познания-грезы. Он вызывает идеи в своей душе вполне сознательно через волю к познанию. Эта способность проявляется сначала в познании чувственного мира. Она достигает своей высшей точки как чувственное познание в естествознании.

Задача духо-познания состоит в том, чтобы вполне сознательно через волю к познанию приблизить переживаемые идеи к духовному миру. При этом познающий обладает душевным содержанием, которое переживается так же, как математическое содержание. Он мыслит как математик. Но он мыслит не в числах или геометрических фигурах, а в образах духовного мира. Это и есть, в противоположность древнему бодрствующе-сновидческому духо-познанию, сознательное нахождение в духовном мире.

Выработать отношение к этому новому духо-познанию в рамках Теософского общества было невозможно. Люди относились с недоверием к возможности приблизиться к духовному миру в полном сознании. Такое сознание было знакомо им лишь по чувственному миру; однако в своем понимании они не достигали того, чтобы развить его до духовного переживания. Напротив, существовало стремление подавить его, возвратиться к древнему сновидческому сознанию. Это стремление назад было и у миссис Безант. Едва ли она была способна понять современное духо-познание. И все же то, что она говорила о духовном мире, было почерпнуто ею из духовного мира. Именно поэтому ее личность представляла для меня интерес.

Среди других руководителей Теософского общества бытовало то же отрицательное отношение к полностью осознаваемому духо-познанию. Поэтому в отношении духовного я никогда не ощущал в душе родства с этим

Обществом. Что касается общения, то я охотно посещал эти круги, но оставался чужд их душевному настрою в области духовного.

По этой же причине я не склонен был в своих выступлениях на конгрессах Общества исходить из собственных духовных переживаний. Я читал такие лекции, которые могли быть прочитаны даже тем, кто не обладает собственным воззрением на духовное. Это последнее сразу же начинало жить на лекциях, прочитанных мной не в рамках Теософского общества, а вырвавшихся из того, что мы с Марией фон Сиверс создавали в Берлине.

Так возникла берлинская, мюнхенская, штутгартская работа. К ней присоединились и другие города. Содержание, характерное для Теософского общества, постепенно исчезало; возникало то, что находило себе оправдание благодаря внутренней силе, жившей в антропософии.

Я прорабатывал результаты моего духовного созерцания, и в то же время сообща с Марией фон Сиверс мы работали над организацией нашей внешней деятельности. Хотя, с одной стороны, я совершенно освоился с пребыванием в духовном мире, однако начиная с 1902 года и в последующие годы у меня были новые имажинации, инспирации и интуиции. Эти последние постепенно образовали то, что я затем опубликовал в своих книгах.

Благодаря деятельности Марии фон Сиверс из совершенно малого возникло Философско-Антропософское издательство*. Первой вышла в свет небольшая книга, составленная из лекций, прочитанных мной в упомянутой здесь берлинской Свободной Высшей школе. Необходимость приобрести право на издание "Философии свободы", сбыт которой не брал более на себя ее прежний издатель, и самим позаботиться о ее распространении стала второй нашей задачей. Мы

выкупили имеющиеся еще экземпляры и право издания. Нам было нелегко это сделать, ибо мы не располагали достаточными материальными средствами.

Но работа продвигалась, возможно, именно потому, что она могла опираться не на внешнее, а только на внутреннюю связь с духовным.

Глава тридцать третья

В начале моей лекционной деятельности, которая протекала в кругах, выросших из теософского движения, мне приходилось считаться с душевным настроением, царившим в этих кругах. Благодаря чтению теософской литературы для определенных вещей здесь стали привычными определенные формы выражения. Мне следовало придерживаться их, если я хотел быть понятым.

Только постепенно, по мере продвижения работы, я все больше мог идти собственным путем также и в том, что касалось формы выражения.

Поэтому содержимое записей лекций первых лет антропософской деятельности есть внутреннее, духовно точное отображение пути, на который я вступил для постепенного расширения духо-познания, позволяющего постичь из простого более сложное; однако этот путь должен восприниматься также в его внутренней сущности.

В период с 1901 по 1907 или 1908 годы я со всеми своими душевными силами был под впечатлением приблизившихся ко мне фактов и существ духовного мира. Из переживания всеобщего мира духа развивались совершенно особые познания. Создавая книгу, подобную "Теософии", переживаешь многое. Каждый мой шаг сопровождался стремлением придерживаться связи с научным мышлением. Но по мере расширения и углубления духовного переживания стремление к этому принимает особые формы. Моя "Теософия" получает совершенно иной тон, когда от описания существа человека я перехожу к описанию "мира душ" и "страны духов".

Я описываю существо человека исходя из данных науки о чувственном мире. Я пытаюсь углубить антропологию таким образом, чтобы человеческий организм предстал в своей дифференцированности. И тогда можно увидеть, как в различных проявлениях своей организации он различным же образом связан с пронизывающими его духовно-душевыми реальностями. Жизненная деятельность проявляется в некоторой форме организации; здесь обнаруживается влияние эфирного тела. Органы ощущения и восприятия через физическую организацию указывают на астральное тело. В духовном созерцании мне духовно представляли члены человеческого существа: эфирное тело, астральное тело, Я и т. д. Чтобы описать эти члены человеческого существа, я пытался привести их в связь с данными науки о чувственном мире.

Очень трудно дать представление о повторяемости земных жизней и образуемой ею судьбе, придерживаясь научных методов. Если же говорить об этом не только из духовного видения, то нужно прибегнуть к идеям, которые хотя и вытекают из тонкого наблюдения чувственного мира, но не могут быть восприняты человеком. При таком более тонком способе наблюдения человек в своей организации и развитии предстает иначе, чем животное. И если прозреть в это инобытие, то идеи о повторяемости человеческих жизней возникнут из самой жизни. Однако этого не замечают. И тогда может показаться, что подобные идеи не вынесены из жизни, а созданы произвольно или просто заимствованы из более древних мировоззрений.

Я полностью осознавал эти трудности. Я боролся с ними. И кто возьмет на себя труд просмотреть, как в моей "Теософии", от издания к изданию, я перерабатывал главу о повторяющихся земных жизнях, чтобы их истины привести к идеям, взятым из наблюдения чувственного мира, тот увидит, что я старался придерживаться общепризнанного научного метода.

Еще большие затруднения возникают с этой точки зрения в связи с главами "Мир душ" и "Страна духов". Кто прочитал предшествующие им разъяснения так, что просто ознакомился с их содержанием, тому эти истины покажутся произвольно брошенными утверждениями. Но совершенно иначе будет воспринимать их тот, у кого переживание идей усилилось благодаря прочтению того, что относится к наблюдению чувственного мира. Для него идеи станут жить самостоятельной внутренней жизнью, свободной от прикованности к органам чувств. И тогда в нем может осуществиться следующий душевный процесс. Ему откроется жизнь высвобожденных идей. Они живут и действуют в его душе. И он переживает их так, как переживает посредством органов чувств краски, звуки, тепло и т. д. И как в красках, звуках и т. д. дан мир природы, так в переживаемых идеях дается ему духовный мир.

В ком чтение первых глав моей "Теософии" не приводит к внутренним впечатлениям, переживаниям, кто не замечает изменений в своем прежнем переживании идей, кто, прочтя предыдущее, все же подходит к последующим главам так, будто книга начинается для него с главы "Мир душ", - тот может прийти лишь к отрицанию всего этого. Истины покажутся ему

недоказанными утверждениями. Но ведь антропософская книга рассчитана на то, чтобы быть воспринятой во внутреннем переживании. Только тогда постепенно наступит некоторое понимание ее. Возможно, оно будет очень слабым. Но это может и должно произойти. И дальнейшее закрепление и углубление этого понимания при помощи упражнений, описанных в книге "Как достигнуть познания высших миров?" является именно закреплением и углублением. Для дальнейшего продвижения на духовном пути это необходимо, и правильно понятая антропософская книга должна пробуждать в читателе духовную жизнь, а не быть просто суммой сообщений. Чтение ее должно быть не просто чтением, оно должно стать переживанием с внутренними потрясениями, напряжением и развязкой.

Я знаю, как далеко то, что я дал в книгах, от того, что через свою внутреннюю силу смогло бы вызвать подобное переживание в душе читателя. Но я знаю также, какая внутренняя борьба происходила во мне при написании каждой страницы, чтобы достичь наибольшего в этом направлении. Стиль моего описания таков, что во фразах не ощущается жизнь моих субъективных чувств. Прибегая к сухому математическому стилю, я стараюсь приглушить то, что рождается из тепла и глубокого чувства. Но уже сам этот стиль может вызвать пробуждение, ибо читатель должен способствовать пробуждению в самом себе этого тепла и чувства. Он не может, находясь в состоянии пониженного восприятия, дать им просто влиться в себя из того, кто все это изображает.

Глава тридцать четвертая

В Теософском обществе почти не уделялось внимания области искусства. С известной точки зрения это было тогда вполне объяснимо, но далее так не могло продолжаться, если здесь должен был развиваться правильный духовный образ мыслей. Члены подобного общества прежде всего проявляют интерес к реальности духовной жизни. В чувственном мире человек предстает перед ними только в своем преходящем, отделенном от духа бытии. Им кажется, что искусство проявляет себя в этом обособленном бытии и поэтому находится вне искомой духовной действительности.

Так обстояли дела в Теософском обществе, и поэтому люди, связанные с искусством, чувствовали себя там чужими.

Для меня и Марии фон Сиверс очень важно было вызвать к жизни художественный элемент в Обществе. Духо-познание как переживание овладевает всем бытием человека, затрагивает все его душевные силы. Образы фантазии озаряются светом духовного переживания, если оно налицо.

Но здесь появляется нечто, создающее препятствия. Художник испытывает некоторое чувство страха по отношению к такому озарению фантазии духовным миром. Он стремится к бессознательному, когда дело касается действия духовного мира в душе. И он совершенно прав, если имеется в виду "возбуждение" фантазии тем осознаваемым рассудочным элементом, который господствует в культурной жизни начиная с эпохи души сознательной. Такое "возбуждение" через интеллектуальное начало в человеке действует на искусство умервляющим образом.

Но возникает нечто прямо противоположное, когда фантазия пронизывается светом истинно узренного духовного содержания. Тогда вновь оживает вся сила образов, которая и ведет человечество к искусству. Мария фон Сиверс обладала искусством формирования слова; она прекрасно разбиралась в драматическом искусстве. Таким образом для антропософской работы раскрывалась и область искусства, представлялась возможность испытать плодотворность влияния духовного созерцания на искусство.

"Слово" подвергается опасности с двух сторон. Эта опасность может проистекать из развития души сознательной. "Слово" служит для взаимопонимания в социальной жизни, и оно служит для сообщения того, что познается логически-интеллектуальным путем. В обоих случаях "слово" утрачивает свою собственную ценность. Оно вынуждено приспособляться к "смыслу", который оно должно выражать. Оно заставляет забыть о том, что в самом тоне, звучании, звукообразовании заложена некая действительность. Красота, сияние гласной, характерные черты согласной вытесняются из языка. Гласная лишается души, согласная - духа. 1А язык полностью выпадает из той сферы, откуда он происходит: из сферы духовного. Он становится слугой интеллектуально-познаваемой и избегающей духа социальной жизни. Он всецело вырывается из области искусства.

Истинное духосозерцание как бы инстинктивно совпадает с "переживанием слова". Оно учит чувствовать несомое душой звучание гласной и укрепленную духом живопись согласной. В нем

пробуждается понимание тайны развития языка. Тайна эта заключается в том, что некогда при помощи слова духовно-божественные существа могли говорить с человеческой душой, тогда как в настоящее время слово служит лишь для взаимопонимания в физическом мире.

Чтобы вернуть слово в его сферу, необходим энтузиазм, возгорающийся при подобном духовном воззрении. И Мария фон Сиверс проявила такой энтузиазм. Благодаря ей антропософское движение получило возможность художественно развивать слово и заново созидать его. Деятельность, связанная с сообщениями из духовного мира, дополнилась работой по искусству рецитации и декламации, которое стало занимать все более и более значительное место в мероприятиях, проводимых в рамках антропософской деятельности.

Рецитации, исполненные Марией фон Сиверс на этих мероприятиях, стали исходной точкой развития художественного элемента в антропософском движении. Ведь эти "рецитационные добавки" непосредственно привели к драматическим представлениям, которые состоялись в Мюнхене наряду с курсами лекций по антропософии.

Благодаря тому, что вместе с духо-познанием у нас развивалось искусство, мы все более вращались в истинное, созвучное времени переживание духа. Ибо искусство выросло из изначальной сновидчески-образной духовной жизни. Оно должно было прокладывать себе пути в ту эпоху, когда духовное переживание в человеческом развитии отошло назад; и оно должно вновь соединиться с этим переживанием, когда это последнее в новой форме вступит в развитие культуры.

Глава тридцать пятая

Начало моей антропософской деятельности приходится на то время, когда многие были неудовлетворены направлениями познания предшествующей эпохи. Возникло стремление выбраться из той области бытия, в которой люди замкнулись вследствие того, что признавали за "верное" лишь такое познание, какое можно осмыслить с помощью механистических идей. Мне были близки эти стремления современников к некоторого рода духо-познанию. Такие биологи, как Оскар Гертвиг*, который начинал как ученик Геккеля, но затем покинул дарвинизм, потому что, согласно его мнению, импульсы, исходящие из дарвинизма, не могут способствовать объяснению органического развития, были для меня личностями, в которых проявлялось стремление современников к познанию.

Однако я чувствовал, что над всеми этими стремлениями тяготел какой-то гнет. Он был результатом убеждения, что наукой является лишь то, что может быть исследовано в чувственной области при помощи числа, меры, веса. Люди не отваживались развивать внутренне активное мышление, с тем чтобы переживать действительность глубже, чем переживают ее при помощи органов чувств. При этом не шли дальше утверждения: средства, к которым прибегали до сих пор для объяснения даже таких высших форм действительности, как органическая, уже недостаточны. И когда хотели прийти к чему-либо позитивному, понять, что же лежит в основе жизнедеятельности, все же предавались неопределенным идеям.

Тем, кто стремился отойти от механистического объяснения мира, недоставало мужества сознаться в следующем: кто хочет преодолеть этот механицизм, тот должен преодолеть также и те привычные методы мышления, которые привели к нему. Эпоха нуждалась в одном признании, которое никак не желало появиться. Оно заключалось в том, что при ориентации на внешние чувства человек проникает в область механистического. Во второй половине XIX столетия уже свыклись с такой ориентацией. Но теперь, когда механистическое воззрение более никого не удовлетворяет, не следует с подобной ориентацией стремиться проникнуть в высшие области.

Чувства в человеке развиваются самостоятельно. Но с помощью того, что они таким образом сами дают себе, человек никогда не увидит ничего кроме механистического. Если человек желает достичь большего познания, он должен из самого себя придать более глубоко заложенным силам познания ту форму, которую природа дает силам чувств. Силы познания для механистического бодрствуют сами по себе, силы же для познания высших форм действительности должны быть пробуждены.

Именно это самопризнание, касающееся стремления к познанию, представлялось мне необходимым для данной эпохи.

Я чувствовал себя счастливым, когда замечал проблески этого. Так, прекрасным воспоминанием стало для меня посещение Йены. Я должен был прочитать в Веймаре несколько лекций на антропософские темы. Одна из лекций состоялась в Йене, в более тесном кругу. После лекции мы собрались еще более узким кругом. Мы дискутировали о том, что может дать теософия. Здесь присутствовал и Макс Шелер*, доцент философии, преподававший тогда в Йене. Вскоре дискуссия

свелась к обсуждению того, какие чувства вызвало у него мое выступление. Я сразу ощутил его более глубокое стремление к познанию. Он проявил внутреннюю терпимость по отношению к моим воззрениям. Ту терпимость, которая необходима каждому человеку, действительно жаждущему познания.

Мы дискутировали о теоретико-познавательном оправдании духо-познания. Мы говорили о той проблеме, что проникновение в духовную действительность, как и проникновение в чувственную действительность, требует теоретико-познавательного обоснования.

Шелеровский метод мышления произвел на меня впечатление гениальности. Я до сих с глубочайшим интересом наблюдаю за его путем познания. Встречи с этим симпатичным человеком, к сожалению, весьма редкие, доставляли мне внутреннее удовлетворение.

Подобные переживания имели для меня большое значение. Всякий раз, когда они наступали, возникала внутренняя необходимость вновь испытать правильность моего собственного пути познания. В этом постоянно возобновляющемся испытании развиваются силы, которые открывают доступ к дальнейшим областям духовного бытия.

Результат моей антропософской деятельности представлен, во-первых, в моих книгах, доступных для широкого читателя, и, во-вторых, в целом ряде курсов лекций, которые сначала были задуманы для частного пользования и должны были распространяться только среди членов Теософского (позднее Антропософского) общества. Это были более или менее удачно выполненные записи лекций, которые из-за недостатка времени мной не проверялись. Я бы предпочел, чтобы мое устное слово так и осталось устным словом, но члены Общества пожелали иметь лекции в отпечатанном виде. Так возникло решение издавать их. Если бы я располагал временем для их просмотра, то уже с самого начала не возникло бы необходимости в оговорке: "Только для членов Антропософского общества". В настоящее время, вот уже более года, этого ограничения не существует.

Здесь, в моем "Жизненном пути", необходимо отметить, каким образом мои книги и эти частные издания включаются в то, что было разработано мной как антропософия.

Кто желает проследить за ходом моей внутренней работы и борьбы, направленных на то, чтобы антропософия выступила перед сознанием современной эпохи, тому необходимо ознакомиться с моими книгами, адресованными широкому читателю. В них я попытался вникнуть в вопросы, относящиеся к познавательным устремлениям нашей эпохи. В этих книгах нашло отражение все то, что сформировалось во мне благодаря "духовному созерцанию" и что стало зданием антропософии - правда, во многих отношениях несовершенным.

Наряду с созиданием "антропософии" и служением исключительно тому, что возникало в результате сообщения сведений из мира духа всему образованному миру, выступило и другое требование - нужно было идти навстречу тому, что как потребность души, как томление по духу давало знать о себе в кругу членов Общества.

Наиболее остро они ощущали потребность ознакомиться с толкованием евангельских и библейских событий в свете антропософии. Они хотели прослушать лекции об этих данных человечеству откровениях.

Поскольку закрытые курсы лекций читались в духе этих пожеланий, необходимо было учесть и следующее обстоятельство. На этих лекциях могли присутствовать только члены Общества, поскольку они уже были знакомы с началами антропософии. К ним можно было обращаться как к людям, имеющим некоторый опыт в этой области. Поэтому общий строй закрытых лекций был таким, каким не могли обладать книги, предназначенные для широкого круга.

В узком кругу я мог говорить о некоторых вещах иначе, чем должен был это делать, если бы с самого начала они предназначались для открытой публикации.

Эта двойственность, возникшая в силу существования открытых и закрытых публикаций, сложилась под влиянием двух различных факторов. Открытые сочинения являются результатом того, что боролось и работало лишь во мне самом; что касается изданий, предназначенных для частного пользования, то здесь вместе со мной борется и работает все Антропософское общество. Я же прислушиваюсь к вибрациям, происходящим в душевной жизни членов Общества, и живое участие во всем услышанном отражается на общем строе лекций.

В них нет ничего, что не являлось бы чистейшим результатом развивающейся антропософии. Не может быть и речи о каких-либо уступках в угоду предубеждениям или предчувствиям членов Общества. Читатель этих частных изданий может полностью принять их за то, что намерена сказать сама антропософия. И поэтому стало возможным без колебаний отказаться от установки распространять эти книги только среди членов Общества, когда упреки в этом направлении стали более настоятельными. Нужно только принять во внимание, что в не просмотренных мной записях возможны ошибки.

Выносить суждение о содержании этих частных изданий вправе лишь тот, кто знаком с предпосылками, лежащими в основе подобных суждений. А предпосылками для большинства этих изданий являются по меньшей мере антропософское познание человека и Космоса, поскольку их сущность рассматривается в антропософии, а также знание того, что как "антропософская история" содержится в сообщениях из духовного мира.

Глава тридцать шестая

Внутри Антропософского общества существовала организация, которая не была задумана как открытая. Упоминание о ней не входит, собственно, в рамки настоящего изложения, но я попытаюсь все же охарактеризовать ее, ибо и она дала повод ко многим нападкам на меня.

По прошествии нескольких лет моей деятельности в Теософском обществе Марии фон Сиверс и мне предложили возглавить руководство одним из обществ, сохранивших древнюю символику и культовые церемонии, связанные с "древней мудростью". Я не имел ни малейшего намерения развивать какую бы то ни было деятельность в духе общества подобного толка. Антропософия должна исходить из собственного источника познания и истины. Не следует ни на шаг отклоняться от этой цели. Но я всегда питал уважение к учениям, имеющим исторические корни. В них по-прежнему живет дух становления человечества. И я всегда был склонен поступать так, чтобы новое, по мере возможности, не утратило связи с уже существующим в истории. И поэтому я принял свидетельство вышеупомянутого общества, которое принадлежало к течению, представленному Йеркером, и придерживалось масонского ритуала так называемых высших степеней. Однако я взял из этого общества только чисто формальное право проводить самостоятельную символическо-культовую деятельность, имеющую историческую основу.

Все, что предлагалось в этой руководимой мной организации как "действие", по содержанию не было связано с какой-либо исторической традицией. Формальное свидетельство не мешало мне работать исключительно над тем, что являлось как бы наглядным представлением антропософского познания. И делалось это исходя из потребностей членов Общества. Наряду с проработкой идей, в которые облечено духо-познание, члены Общества стремились еще и к тому, что непосредственно говорит созерцанию и душе. Я пошел навстречу этим требованиям. Если бы не последовало предложения со стороны упомянутого общества, я сам бы приступил к символическо-культовой деятельности, не связывая ее с историческим развитием.

Однако это общество нельзя было назвать "тайным". Тому, кто вступал в эту организацию, самым ясным образом сообщалось, что он вступает не в орден, а только как участник церемониального действия будет переживать некоторого рода наглядное представление, демонстрацию духовных познаний. Если некоторые церемонии и протекали в формах, обычно применяемых в известных орденах при принятии в члены или при посвящении в высшие степени, то это вовсе не означало, что речь идет об ордене. Здесь это делалось только для того, чтобы наглядно представить в чувственных образах духовный подъем в душевных переживаниях.

То, что эта деятельность совершенно отличалась от деятельности, протекающей в каком-либо действующем ордене, и что здесь не сообщали вещей, о которых идет речь в подобных орденах, явствует уже из того, что во введенных мной церемониальных действиях участвовали люди, принадлежавшие к самым разным орденам, и в наших церемониях они находили нечто совершенно иное.

Однажды, сразу после церемонии, ко мне подошел человек, впервые принимавший участие в церемонии. Ему уже была присуждена высокая степень в одном из орденов. Под впечатлением только что пережитого он хотел передать мне регалии своего ордена. Ибо он полагал, что, пережив действительное духовное содержание, он уже не сможет участвовать в формальных, застывших церемониях. Мне удалось уладить это дело. Антропософия не вправе вырывать человека из тех жизненных связей, в которых он состоит. Она должна нечто прибавлять к этим связям, но не брать от них. Упомянутое лицо осталось в своем ордене, продолжая и впредь участвовать в наших символических действиях.

К деятельности подобной организации часто относятся с непониманием. Существует множество людей, которым формальная принадлежность к какой-либо организации кажется гораздо более важной, чем получаемое ими содержание. Некоторые участники говорили о многих вещах так, будто они принадлежат к какому-то ордену. Они не могли понять, что в нашей организации, которая не являлась орденом, им демонстрировали то, что обычно дается только в орденах.

Здесь мы также порвали с древними традициями. Мы работали так, как следует работать, когда духовное содержание исследуется в соответствии с традициями, но при вполне осмысленном душевном переживании.

Свидетельства, подписанные Марией фон Сиверс и мной при установлении связи с организацией Йеркера, позднее стали исходной точкой всевозможных клеветнических нападок, а чтобы распускать подобную клевету, курьезное обсуждалось здесь с гримасой серьезности. Наши

подписи находились под "формулами", предписаниями. Были соблюдены обычные формальности. И, ставя свою подпись, я самым ясным образом заявил: "Все это формальности. Учреждение, которое переходит в мое распоряжение, не возьмет ничего из организации Йеркера".

Задним числом легко, конечно, пускаться в рассуждения о том, насколько "разумнее" было бы не связывать себя с организацией, которая впоследствии приняла участие в клеветнической кампании. Но я должен со всей подобающей здесь скромностью заметить, что в описываемый период моей жизни я принадлежал еще к тем людям, которые полагают, что те, с кем им приходится иметь дело, ходят по прямым, а не по кривым путям. Подобную веру в людей не могло изменить даже духовное созерцание. Нельзя прибегать к духовному созерцанию для исследования внутренних намерений человека, если этот человек не желает такого исследования. Исследование внутренних побуждений другого человека для духовно познающего есть нечто запретное, подобно тому, как запрещено, например, читать чужие письма. К людям, с которыми имеешь дело, следует относиться так же, как относится к ним человек, не обладающий духовно-познанием. Но это не одно и то же: принимать людей во всей искренности их намерений, пока не раскроется обратное, или быть в обиде на весь мир. При таком настрое совместная социальная деятельность людей невозможна, ибо она строится именно на доверии, а вовсе не на противоположном - недоверии.

Это начинание, выражавшее духовное содержание через культовую символику, было благом для многих членов Антропософского общества. Поскольку и в этой области, как и во всех других областях антропософской деятельности, исключалось все выходящее за рамки здравого сознания, то не может быть и речи о неправомерной магии, внушении и т. п. Однако члены Общества получали здесь то, что, с одной стороны, относилось к их способности восприятия идей, а с другой, - давало их душам возможность участвовать в непосредственном созерцании. Для многих это способствовало лучшему формированию идей. С началом войны продолжать работу в этом направлении стало невозможно. Такая организация могла быть принята за тайное общество, хотя вовсе не была таким. И поэтому в середине 1914 года это символическо-культовое отделение антропософского движения прекратило свое существование.

Для каждого, кто рассматривает это начинание, движимый доброй волей и духом истины, оно стоит вне всяких подозрений. Однако нашлись и такие люди, которые из участников превратились в клеветников-обвинителей. Но это уже относится к тем аномалиям человеческого поведения, которые возникают тогда, когда внутренне нечистые люди примыкают к движению с истинно духовным содержанием. Они ожидают того, что соответствует тривиальной жизни их душ, и, не найдя этого, идут против начинания, к которому вначале - не осознавая своей неискренности - обратились.

Общество, подобное Антропософскому, может сформироваться только благодаря душевным потребностям членов Общества. Здесь не может существовать абстрактная программа, гласящая, что в Антропософском обществе должно совершаться то или это; работа, проводимая в Обществе, должна основываться на действительности. А эту действительность образуют именно душевные потребности членов Общества. Антропософия как содержание жизни формировалась из своих собственных источников. Она явилась в мир как творение духовного. Многие из тех, кто внутренне тяготел к ней, искали совместной работы с другими людьми. Благодаря этому Общество сложилось из лиц, часть которых искала преимущественно в области религии, другая - в области науки, третья - в искусстве. А если чего-то ищут, то это должно и может быть найдено.

Исходя из подобной работы, основанной на истинных душевных потребностях членов Общества, о частных изданиях следует судить иначе, чем о тех, которые с самого начала были предназначены для открытой публикации. Содержание первых книг было задумано сначала как устное сообщение, не предназначавшееся для печати; оно основывалось на том, что происходило из душевных потребностей членов Общества.

Изложенное в книгах соответствует требованиям Антропософии как таковой. В работе же над формированием частных изданий участвовала, в указанном смысле, вся душевная конфигурация Общества.

Глава тридцать седьмая

В то время как антропософские познания вносились в Общество, отчасти из частных изданий, - Мария фон Сиверс и я проводили совместную работу в области искусства, предназначенного самой судьбой играть роль оживляющего элемента в антропософском движении.

Предметом работы, с одной стороны, была рецитация с ее уклоном в сторону драматического искусства. Эта работа была необходима для придания антропософскому движению правильного содержания.

С другой же стороны, во время путешествий, предпринимавшихся во имя служения Антропософии, я получил возможность углубляться в развитие архитектуры, пластики и живописи.

В различных местах моего жизнеописания я уже говорил о том, какое огромное значение имеет художественный элемент для человека, внутренне переживающего духовный мир.

Большинство произведений искусства, созданных в процессе развития человечества, вплоть до периода моей антропософской деятельности я мог изучать только по копиям. Из оригиналов мне было доступно лишь то, что хранится в Вене, Берлине и некоторых других городах Германии.

Теперь же, во время путешествий, связанных с антропософской работой, которые я совершал вместе с Марией фон Сиверс, мне стали доступны сокровища музеев почти всей Европы. И с начала нового столетия, на пятом десятке моей жизни, я начал проходить высшую школу изучения искусства, а в связи с этим и созерцать духовное развитие человечества. И всюду рядом со мной была Мария фон Сиверс, которая благодаря тонкому и художественному проникновению во все то, что я переживал при созерцании искусства и культуры, прекрасно сопереживала все это сама, дополняя мои переживания. Она понимала, что все эти переживания оживляют идеи антропософии. Ибо впечатления от искусства, воспринимаемые моей душой, проникали в то, что я стремился сделать действенным в своих лекциях.

При непосредственном созерцании великих произведений искусства перед нашими душами открывался мир, в котором из более древних времен в новые еще выражает себя совершенно иной душевный строй. Мы могли погружаться душой в духовность искусства, которая еще присутствует у Чимабуэ. Через вживание в искусство мы могли углубляться в величественную духовную борьбу Фомы Аквинского против арабизма в период расцвета схоластики.

Особенно важен был для меня анализ архитектурного развития. Благодаря созерцанию архитектурных стилей в моей душе развивалось то, что позднее я смог запечатлеть в формах Гетеанума.

Созерцание "Тайной вечери" Леонардо в Милане, творений Рафаэля и Микеланджело в Риме и связанные с этим созерцанием беседы с Марией фон Сиверс именно тогда должны, как мне кажется, восприниматься с тем большей благодарностью к судьбе, когда они впервые предстают перед душой уже в зрелом возрасте.

Мне пришлось бы написать книгу немалого объема, если бы я собирался, хотя бы и вкратце, описать все, что я в то время переживал.

Взор, обращенный на "Афинскую школу" или "Диспуту", глубоко проникает в тайны человеческого развития, когда за ним стоит духовное созерцание.

Переходя от созерцания Чимабуэ к Джотто и далее к Рафаэлю, можно наблюдать постепенное угасание древнего духо-созерцания человечества и переход его в современное, более натуралистическое. То, что вытекало из духовного созерцания как закон развития человечества, ясно раскрывалось перед моей душой и в развитии искусства.

Я всегда ощущал глубочайшее удовлетворение, когда замечал, что антропософское движение получает новый импульс благодаря этому непрестанному погружению в искусство. Для того чтобы охватить и выразить в идеях сущность духовного, необходима подвижность в деятельности идей. А она достигается через наполнение души искусством.

Нужно было сохранить Общество от вторжения той идущей изнутри неправды, которая связана с ложной сентиментальностью. Духовному движению всегда грозит это. Если же лекция оживляется подвижными идеями, которыми лектор обязан своей любви к искусству, то тем самым будет изгнана всякая исходящая из сентиментальности неправда, таящаяся в душе слушателя. Элемент искусства, который хотя и воспринимается ощущением и чувством, но благодаря созерцанию и формированию возвышается до исполненной света ясности, может стать действенным противовесом ложной сентиментальности.

Как особо благоприятный знак судьбы для антропософского движения я ощущал то, что в лице Марии фон Сиверс мне была дарована судьбой сподвижница, которая благодаря своей глубокой расположенности к искусству могла с полным пониманием работать над этим художественным, опирающимся на чувство, но отнюдь не сентиментальным элементом.

Нужно было постоянно противодействовать этому внутренне неправдивому сентиментальному элементу. Ибо он все время проникает в духовное движение. Его нельзя просто отвергать или игнорировать, потому что люди, которые предаются этому элементу, во многих случаях в глубочайших подосновах своей души все же являются ищущими людьми. Сначала им бывает трудно обрести твердое отношение к сведениям, сообщаемым им из духовного мира. В сентиментальности они бессознательно ищут некоего рода забвения. Они хотят узнать совершенно

особые, "эзотерические" истины. И в них развивается стремление вместе с этими истинами отделяться в особые группы наподобие сект.

Самое важное - сделать истину единой ориентирующей силой всего Общества: так, чтобы уклоняющиеся в ту или иную сторону могли все время наблюдать, как действуют те люди, которые вправе называть себя главными носителями идей Движения, ибо они являются его основателями. Позитивная работа во имя служения антропософии, а не выступления в борьбе против искажений, - вот что было существенным для меня и Марии фон Сиверс. Разумеется, имели место исключительные случаи, когда борьба становилась необходимой.

Период до парижского цикла моих лекций* как процесс развития был чем-то замкнутым в моей душе. Я прочитал эти лекции в 1906 году на Теософском конгрессе. Отдельными участниками Конгресса было высказано пожелание прослушать эти лекции наряду с посещением других мероприятий Конгресса. Тогда в Париже, где мы были вместе с Марией фон Сиверс, я познакомился с Эдуардом Шюре. Мария фон Сиверс давно уже состояла с ним в переписке и занималась переводами его сочинений. Он был среди слушателей цикла. Кроме того, я имел удовольствие видеть среди моих слушателей Мережковского, Минского* и других русских писателей.

В этом цикле лекций мной было дано то, что в спиритуальных познаниях, являющихся руководящими для человеческого существа, я ощущал как "созревшее" во мне.

"Ощущение созревания" познаний - это нечто очень важное в исследовании духовного мира. Чтобы обладать этим ощущением, нужно пережить созерцание, как оно первоначально возникает в душе. Сначала оно ощущается неясно, нерезко, в контурах. Ему нужно дать погрузиться в глубины души для "созревания". Сознание еще не в состоянии охватить духовное содержание созерцания. Душа в своих духовных глубинах должна пребывать с этим содержанием в духовном мире без вмешательства сознания.

В обычном естествознании утверждение какого-либо знания происходит не ранее, чем закончены все необходимые эксперименты и наблюдения при помощи органов чувств и более нет возражений против приводимых вычислений. В духовной науке методическая добросовестность и дисциплина познания не менее необходимы. Но здесь идут иным путем. Нужно подвергать испытанию сознание в его отношении к познаваемой истине. Нужно уметь упорно и терпеливо, проявляя внутреннюю добросовестность, "ждать", пока сознание выдержит это испытание. Способность сознания к идее-творчеству в известной области следует укрепить до такой степени, чтобы суметь воспринять созерцание, о котором здесь идет речь, в содержание своих понятий.

В парижском цикле лекций я говорю о созерцаниях, которые прошли в моей душе длительное "созревание". После того как я изложил, в каком соотношении находятся между собой члены человеческого существа: физическое и эфирное тело - как посредник проявлений жизни, астральное тело - как посредник в проявлениях чувства и воли - и "Я-носитель", я сообщил о том, что эфирное тело мужчины является женским, а эфирное тело женщины - мужским. Тем самым благодаря антропософии был пролит свет на один из основных вопросов бытия, который тогда часто обсуждался. Стоит только вспомнить книгу несчастного Вейнингера "Пол и характер" и всю современную литературу.

Однако вопрос этот ведет в глубины человеческого существа. Своим физическим телом человек внедрен в силы Космоса совершенно иначе, чем своим эфирным телом. Благодаря своему физическому телу человек находится среди сил Земли, благодаря эфирному телу - среди сил внеземного космоса. Мужское и женское вовлечены в тайны мира.

Это знание стало для меня одним из самых поразительных внутренних душевных переживаний. Ибо я ощущал снова и снова, что к духовному созерцанию следует приближаться в терпеливом ожидании, и только переживая "созревание сознания", можно с помощью идей охватить духовное созерцание, с тем чтобы перенести его в область человеческого познания.

Глава тридцать восьмая

В дальнейшем описание моей жизни трудно будет отделить от истории антропософского движения. И все же я хотел бы сообщить из истории Общества столько, сколько это необходимо для такого описания. Это следует принять во внимание уже тогда, когда я буду называть имена активных членов Общества. Описание мое уже вплотную подходит к современности, так что при упоминании имен легко могут возникнуть недоразумения. Многие, найдя названными не себя, а других, при всей своей доброй воле испытают горькое ощущение. В сущности говоря, я буду называть фамилии только тех лиц, которые кроме своей деятельности в Обществе, активны и в духовной жизни; тех же, кто не привнес эту активность в Общество, я упоминать не буду.

В Берлине и в Мюнхене нужно было развивать две противоположные стороны антропософской деятельности. К антропософии приходили люди, которые не находили того, что искала их душа, ни в естественнонаучном мировоззрении, ни в традиционных догмах. Отделение Общества и круг слушателей открытых лекций в Берлине могли возникнуть только из числа людей, которые отрицательно относились и ко всему тому, что возникало в мировоззрениях в противоположность традиционным догмам. Ибо приверженцы мировоззрений, основанных на рационализме, интеллектуализме и т. д., находили в том, что давала антропософия, фантастику, суеверие и т. д. Поэтому возник круг членов Общества и слушателей, которые принимали антропософию и не желали направлять ни свои чувства, ни идеи в какую-либо другую сторону. Они не получали удовлетворения в том, что им давалось в ином направлении. С подобным душевным настроением следовало считаться. Между тем число членов Общества, а также и слушателей открытых лекций все время возрастало. Возникшая жизнь в антропософии до некоторой степени была замкнута в себе и мало следила за иными попытками заглянуть в духовный мир. Надежды возлагались на развитие антропософских сообщений. Все стремились продвинуться в знании о духовном мире.

В Мюнхене все было иначе. На антропософскую работу здесь с самого начала оказывал влияние художественный элемент. А в этом последнем мировоззрении, подобное антропософии, воспринималось совершенно иначе, чем в рационализме или интеллектуализме. Художественный образ духовнее рационалистического понятия. Кроме того он обладает жизнью и не убивает духовного в душе, как это делает интеллектуализм. Тон в создании круга членов Общества и слушателей в Мюнхене задавали те люди, в ком было развито упомянутое художественное ощущение.

Все это привело к тому, что в Берлине с самого начала возникло единое отделение Общества. Интересы тех, кто искал антропософию, были здесь сходными. В Мюнхене, благодаря художественному восприятию, в отдельных кругах вырабатывались индивидуальные потребности, и я проводил лекции именно в этих кругах. Постепенно средоточием этого круга стали те, кто группировался вокруг графини Паулины фон Калькрейт* и фрейлейн Софии Штинде*, умершей во время войны. Этот круг устраивал в Мюнхене мои открытые лекции. Благодаря все углублявшемуся пониманию всего этого, здесь научились прекрасно воспринимать все, что я должен был сказать. Антропософия развивалась здесь из самой сути, самым благоприятным образом. Появление Людвиг Дейнхарда*, старого теософа, друга д-ра Хюббе Шлейдена, в этом кругу было очень ценным.

Центром другого кружка была фрау фон Шевич*. Это была весьма интересная личность, и именно благодаря этому образовался круг, который меньше шел вглубь, чем вышеописанный, и скорее желал ознакомиться с антропософией как с одним из духовных течений современности.

В это же время вышла в свет книга фрау фон Шевич "Как я нашла свое Я". Это было своеобразное и сильное выступление в защиту теософии. Книга также способствовала тому, что эта женщина смогла стать центром описанного круга.

Для меня, как и для многих участников этого круга, Елена Шевич была как бы очень важной частью истории. Эта та женщина, из-за которой Фердинанд Лассаль* в дуэли с одним румыном нашел свой преждевременный конец. Позднее она стала актрисой и сдружилась в Америке с Е. П. Блаватской и Олькоттом. Интересы этой светской дамы в тот период, когда я читал в этом кругу лекции, были направлены в сторону духовного. Сильные переживания, испытанные ею, придавали ее суждениям значительный вес. Через нее я как бы взирал на деятельность Лассалья и его эпоху, а также на многие характерные черты жизни Е. П. Блаватской. Ее слова были окрашены субъективным и часто произвольно обрамлялись фантазией, но сквозь этот покров можно было увидеть истину, и тогда перед вами раскрывалась необыкновенная личность.

Были в Мюнхене кружки и иного рода. Часто мне вспоминается одна личность, которую я встречал во многих из этих кругов. Это был католический священник по фамилии Мюллер, стоявший вне узких рамок церкви. Тонкий знаток Жан-Поля, он издавал весьма интересный журнал "Ренессанс", в котором выступал как защитник свободного католичества. Из антропософии он брал постольку, поскольку это его интересовало в связи с собственными воззрениями, но часто проявлял скептицизм. Свои возражения он высказывал столь любезно и в то же время столь просто, что благодаря этому в дискуссии, сопровождавшие лекции, часто проникал прекрасный юмор.

Давая характеристики Берлина и Мюнхена, этих двух противоположных полюсов антропософской деятельности, я вовсе не хочу преувеличивать или приуменьшать ценность того или иного. Просто здесь проявлялись различия в людях, которые можно было обнаружить через проводимую ими работу, но различия эти были некоторым образом равноценны, и поэтому нет смысла судить о них с точки зрения их ценности.

Характер работы, проводимой в Мюнхене, привел к тому, что Теософский конгресс, который в 1907 году должна была организовать немецкая секция Теософского общества, состоялся в Мюнхене*. На этих конгрессах, которые ранее проходили в Лондоне, Амстердаме, Париже, читались лекции или проводились дискуссии, посвященные теософским проблемам. Они устраивались по образцу ученых конгрессов. Здесь обсуждались также административные вопросы Теософского общества.

В Мюнхене все это приняло несколько иной вид. Большой концертный зал, служивший для заседаний, был по нашему почину - как устроителей - декорирован таким образом, что формы и цвета художественно воспроизводили настроение, господствовавшее в устных докладах. Художественная обстановка и духовная деятельность должны были пространственно объединиться в одно гармоническое целое. Более всего я старался избежать абстрактной нехудожественной символики и стремился к тому, чтобы сумело себя выразить художественное ощущение.

В программу Конгресса было включено художественное представление. Мария фон Сиверс давно уже перевела элевсинскую драму, которую воссоздал Эдуард Шюре*. Я сделал ее язык годным для постановки на сцене. Драма была внесена в программу. Благодаря этому создавалась связь, хотя и в слабой форме, с сущностью древних мистерий, а главное - Конгресс вообрал в себя художественный элемент, указывающий на намерение не оставлять отныне духовную жизнь Общества без художественного элемента. Мария фон Сиверс, взявшая на себя роль Деметры, выявила своей игрой те особенности и нюансы, которых должно достичь драматическое искусство в Обществе. Кроме того мы находились на той стадии, когда искусство декламации и рецитации благодаря Марии фон Сиверс в проработке внутренней силы слова достигло той решающей точки, опираясь на которую оно могло плодотворно развиваться дальше.

Большая часть старых членов теософского общества из Англии и Франции, и особенно из Голландии была внутренне недовольна новшествами, введенными на Мюнхенском Конгрессе. И лишь немногие поняли тогда - хотя это следовало бы понять всем, - что антропософское течение дает в корне иное внутреннее содержание в сравнении с тем, что было до сих пор в Теософском обществе. В этом внутреннем содержании и заключалась истинная причина того, что Антропософское общество же могло существовать в дальнейшем как часть Теософского общества. Но большинство придавало большое значение той абсурдной ситуации, которая с течением времени возникла в Теософском обществе и привела к бесконечным распрям...

Примечания

с. 5

Родители Рудольфа Штайнера - Иоганн Штайнер (1829-1910) и Франциска Штайнер, урожд. Блие (1834-1918). Похоронены в Горне.

Премонстранты - норбертины, белые каноники, духовный орден, основанный Норбертом. Своих первых учеников он собирал на лугу, по его словам, указанному ему небом (pratum mons-tratum). В 1121 году Норберт основал первый монастырь и дал ему усиленные правила августинского ордена.

с. 6

Кральевец - расположен между реками Мура и Драва, в 20 км к западу от места слияния железнодорожных линий, в сегодняшней Хорватии.

с. 7

...священник из Сан-Валентина - П. Роберт Андерски, член ордена цистерцианцев.

с. 8

Брат и сестра Рудольфа Штайнера - Густав Штайнер (1866-1941); Леопольдина Штайнер (1864-1927).

с. 12

...часовня с изображением святой Розалии. - Капелла св. Розалии находилась северо-восточнее Нойдорфля, вблизи дороги, ведущей в Пётчинг. Сохранилась до 1970 года, правда, была скрыта окружившими ее новыми строениями.

с. 13

Редemptористы, или члены ордена Искупителя, основанного в 1749 году Альфонсо Марией Лигуори. Цель редemptористов - подражание примеру Иисуса Христа в проповедании народу истин веры.

Шамбор Анри, герцог Бордо (1820-1883) - внук французского короля Карла X, отрекшегося после Июльской революции 1830 года от престола. С 1830 года жил в эмиграции.

с. 17

... я любил священника. - Франц Марац, священник в Нойдорфле (1860-1873), затем каноник в Иденбурге; здесь он был возведен в высокий сан.

с. 21

Врач из Винер-Нойштадта - доктор медицины Карл Гиккель (1812-1905). 6 января 1893 года, будучи тяжело больным и почти полностью слепым, еще писал Рудольфу Штайнеру.

с. 25

Директор училища - Генрих Шрамм, директор и государственный школьный инспектор. В 1868-1874 гг. был руководителем среднего реального училища в Винер-Нойштадте. Статья его была издана в 1873 году; книга - в 1872 году в Вене.

с. 26

... учитель, соответствовавший "идеалу", стоявшему перед моей душой. - Лауренц Елинек; он был классным руководителем с третьего по шестой классы.

с. 27

...у меня возникли близкие, душевные отношения еще с одним учителем. - С Георгом Козаком (1836-1914).

с. 30

Учитель химии был замечательным человеком. - Гуго фон ГИЛЬМ (1831-1906), сводный брат поэта Германа фон Гильма.

с. 31

С 15 лет я начал давать уроки... - Об этом сообщает ученик той же школы Альберт Плива: "Мой отец искал для меня в 5-м классе репетитора среди достойных доверия учеников. Выбор профессора Елинека пал на Рудольфа Штайнера. Он разучивал со мной все уроки". Через год Рудольфу Штайнеру удалось вывести его в преуспевающие ученики. Их было трое, на "отлично" сдавших выпускные экзамены: Штайнер, Дейч и Плива.

с. 32

С учителем, преподававшим немецкий язык и литературу в трех старших классах... - Иозеф Майер. В годовом отчете школы за 1878 год опубликовал статью "Образное обучение с точки зрения логики и психологии".

с. 33

Гербарт, Иоганн Фридрих (1776-1841) - немецкий философ, психолог, педагог.

348

"Введение в философию" и "Психология"... - автором этих книг является Густав Адольф Линднер.

с. 34

Учитель географии и истории. - Франц Кофлер, родом из Тироля.

Учитель истории - Альберт Лёгер.

с. 39

Шрёэр, Карл Юлиус (1825-1900). С 1867 года - профессор литературы в Венской высшей технической школе. Рудольф Штайнер дал обобщенный образ Шрёэра в курсе лекций "Vom Menschenrutsel, Ausgesprochenes und Unausgesprochenes im Denken, Schauen, Sinnen einer Reihe deutscher und österreichischer Persönlichkeiten", Berlin, 1916, Bibl.-Nr. 20.

с. 40

Циммерман, Роберт (1824-1898) - эстетик и философ, профессор философии в Праге, затем в Вене; один из значительных представителей гербартианской школы.

Брентано, Франц (1838-1917) - племянник Клеменса Брентано; до 1873 года - католический теолог, позднее профессор философии в Вюрцбурге и Вене. Идеи Брентано оказали влияние на философов XX века, таких как Гуссерль, Шелер, Хайдеггер.

с. 41

Геккель, Эрнст (1834-1919) - немецкий биолог-эволюционист, сторонник и пропагандист учения Ч. Дарвина. Предложил первое "родословное древо" животного мира, сформулировал биогенетический закон.

с. 42

Грюн, Анастасиус (1806-1876) - австрийский поэт и политический деятель.

Ленда, Николаус (1802-1850) - австрийский поэт-романтик.

с. 43

...случилось так, что я познакомился с одним простым человеком из народа. - Имеется в виду Феликс Когуцки, (1833-1909). В его сохранившемся дневнике есть запись: "Господин Штайнер, юный студент, проживающий в Инцерсдорфе, посетил меня в воскресенье, 21 августа 1881 года. К

сожалению, меня не было дома. Господин Штайнер вторично посетил меня в пятницу". См. Emil Bock: "Rudolf Steiner. Studien zu seinem Lebensgang und Lebenswerk", Stuttgart 1967.

349

с. 44

"In Gottes Segen ist alles gelegen" - Все лежит в благословении Божьем.

с. 47

Фишер, Фридрих Теодор (1807-1887) - немецкий ученый-эстетик и политический деятель.

с. 48

Рейтлингер, Эдмунд (1830-1882)

с. 49

Уэелль (Юэль), Вильям (1794-1866) - английский ученый, историк науки.

Майер, Роберт Юлиус (1814-1878) - врач, естествоиспытатель.

с. 53

...с одним идеалистически настроенным молодым человеком.

- Эмиль Шёнаих (1860-1899).

с. 56

...юношеская дружба с одним молодым человеком... - Речь идет о Рудольфе Роншпергере.

Очень тесная дружба завязалась у меня с одним молодым человеком... - Имеется в виду Мориц Циттер. См. с. 139 и прим.

с. 59

...я должен вспомнить об одном друге... - Его имя Йозеф Кёк.

с. 60

...с другим моим товарищем по винер-нойштадтской школе.

- Рудольф Шобер. Благодаря ему стали известны не названные Рудольфом Штайнером имена друзей его юности.

с. 63

Младочехи - члены либеральной Национальной партии Чехии 1874-1918). Выступали за преобразование Австро-Венгерской империи в триединую Австро-Венгерско-Чешскую империю.

Старочехи - в 1860-1918 г. члены Чешской национальной партии. Проводили прогабсбургскую политику.

с. 65

Шрёер, Тобиас Готфрид (1791-1850).

Гервинус, Георг Готфрид (1805-1871) - немецкий литературовед, историк и политический деятель.

с. 67

Он работал над предисловием ко второй части "Фауста"... -

350

Шреер выпустил комментированное издание "Фауста" Гете и подготовил для кюршнеровской "Национальной литературы" драмы Гете в 6-ти томах. Его "История немецкой литературы" вышла в свет в 1853 году в Пеште, а "Немецкая поэзия XIX столетия как выдающееся явление. Популярная лекция" - в 1875 году в Лейпциге.

с. 74

Кюршпер, Йозеф (1853-1902) - немецкий издатель.

с. 79

Гартман, Эдуард фон (1842-1906) - немецкий философ, последователь Шопенгауэра. Письма Рудольфа Штайнера к Эдуарду фон Гартману см.: Briefe Bd. I und II, Dornach 1955 und 1953.

с. 87

Мы встретили там двух его сестер... - этого друга звали Вальтер Фер; его старшую сестру - Иоганна, младшую - Раденгунда, или Гунди. Она умерла в 1903 году, 35-ти лет от роду. Отец - Йозеф Эдуард, был доктором философии и права.

с. 89

Грамм, Мария Ойген делле (1864-1931).

с. 92

Мюллернер, Лауренц (1848-1911).

Орден цистерцианцев - католический монашеский орден. Основан в 1098 году. Первый монастырь ордена - Цистерциум (ок. Дижона, Франция).

Нейман, Вильгельм (1837-1919).

с. 93

Штер, Адольф (1855-1921).

Матайя, Эмилия - (1855-1935).

Лемермайер, Фриц (1857-1932). См. также: Friedrich Lemmermayer, Erinnerungen an Rudolf Steiner, an Robert Hamerling und an einige Persönlichkeiten des österreichischen Geisteslebens der 80er Jahre, Stuttgart 1929.

Штросс, Альфред (1860-1888).

с. 94

Гамерлинг, Роберт (1830-1889) - происходил из крестьянской семьи, настоящее имя Руперт Гаммерлинг. Писал стихи, поэмы, романы, драмы, сатиры.

Вернер, Карл (1821-1888).

351

с. 95

"Философия свободы" - "Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung", Berlin 1894. Bibl.-Nr. 4. На русском языке выпущена издательством "Ной"; Ереван, 1993 г.

с. 97

Китир, Йозеф (1867-1923).

с. 99

Штейнванд, Ферхер фон (1828-1902).

с. 101

Блаватская, Елена Петровна - родилась в 1831 году в Екатеринославе, Южная Россия; умерла в Лондоне в 1891 году. См. с. 313-317 и прим. к с. 291 (Теософское общество).

с. 104

"Гете как отец новой эстетики" - Доклад был прочитан 9 ноября 1888 года.

с. 106

Формей, Альфред (1844-1901).

...вдова Фридриха Геббеля - Христина Геббель (1817-1910).

с. 107

Шлёгль, Фридрих (1821-1892) - австрийский писатель-юморист.

с. 108

"Дойче вохенсрифт" - "Deutsche Wochenschrift" (Немецкий еженедельник, Берлин, Вена. Орган национальных интересов немецкого народа). В качестве ответственного редактора фигурирует имя доктора Карла Нейзера. В действительности с начала января 1888 года и по 18 июля журнал редактировал Рудольф Штайнер.

с. 109

Адлер, Виктор (1852-1918) - политический деятель, один из лидеров австрийской социал-демократии.

Пернерсторфер, Энгельберт (1850-1918). В 1881-1904 г. - редактор журнала "Deutsche Worte", в котором были напечатаны еще статьи Р. Штайнера.

с. 111

Гримм, Герман (1828-1901) - литератор, историк искусства, сын и племянник братьев Гримм. Статьи о Германе Гримме см. в Methodische Grundlagen der Anthroposophie 1884-1901", Bibl.-Nr. 30.

352

Лепер, Густав фон (1822-1891) - немецкий литературовед. Шерер, Вильгельм (1841-1886).

с. 113

См.: Гете "Избранные философские произведения", Москва, "Наука", 1964, с. 99.

с. 114

Зуфан, Бернгард (1845-1911).

Вале, Юлиус (1861-1940). В 1921-1928 гг. был директором Гете-Шиллеровского архива в Веймаре.

с. 116

Лат, Мария (1858-1934).

Гартман, Франц (1838-1912).

с. 117

Майредер, Роза (1858-1938).

с. 118

Вольф, Гуго (1860-1903) - немецкий композитор-песенник, автор оперы "Коррехидор", либретто к которой сочинила Роза Майредер (1896).

Майредер, Карл (1856-1935) - архитектор, профессор Высшей технической школы.

с. 119

Экштейн, Фридрих (1861-1939).

с. 135

"Химическая свадьба" Христиана Розенкрейца - записана Иоганном Валентином Андреа в 1616 году. На нововерхненемецкий переведена Вальтером Вебером. Издание 1918 года содержит также статью Рудольфа Штайнера.

...созданных мной позже драм-мистерий - "Врата посвящения", "Испытание души", "Страж порога", "Пробуждение души".

с. 136

...в одном из знаменитых кафе... - кафе "Гринштайдль".

с. 137

Брейтенштейн, Юлиус (1870-1950) и Амалия (1860-1942).

с. 138

Деак, Франц (Ференц) (1803-1876) - венгерский политический деятель. После поражения Революции в Венгрии выступал за пассивное сопротивление Габсбургам. В 1865 году основал пар-

353 тию сторонников австро-венгерского соглашения (1867).

...лекция в Германштадте - две лекции 28 и 29 декабря 1889 года.

с. 139

...мой старый друг - Мориц Циттер. До конца жизни (май 1921) он был в дружбе также и с Розой Майредер.

с. 141

... в семье этого мальчика - с 10 июля 1884 года по 28 сентября 1890 года Рудольф Штайнер жил в семье Ладислауса и Паулины Шпехт в качестве воспитателя их четырех сыновей -Рихарда, Артура, Отто и Эрнста. Отто Шпехт, главный воспитанник Рудольфа Штайнера, стал дерматологом. Скончался во время первой мировой войны от инфекционной болезни.

с. 143

Брюль, Игнаций (1846-1907).

с. 144

Брейер, Йозеф (1842-1925).

с. 146

Штейн, Генрих Людвиг Вильгельм фон (1833-1896).

с. 149

Шмидт, Эрих (1853-1913).

Гете, Вальтер фон (1818-1885).

Великая герцогиня София Луиза Саксен-Веймарская, принцесса Нидерландов (1824-1897).

с. 157

Великий герцог Карл Александр (1818-1901).

Наследный принц Карл Август (1844-1894).

Наследная принцесса Паулина. - О ней рассказывает Рудольф Штайнер в письме к Паулине Шпехт (21 марта 1891 года).

с. 158

Кёлер, Рейнгольд (1830-1892).

с. 159

"Фантазия как созидательница культуры" - лекция прочитана 25 ноября 1891 года.

с. 160

Вторую лекцию... - "Единое воззрение на природу и границы познания", 20 февраля 1893 года.

354

- -m "***

с. 162

Гельмгольц, Герман Людвиг Фердинанд (1821-1894) - немецкий физик, физиолог, психолог.

При взгляде на Геккеля - во "Всеобщей морфологии организмов" (Берлин, 1866) на четырех страницах говорится о Гете. В частности приведены слова: "Самое главное, что, говоря о Гете, мы должны подчеркнуть и на что никто не обратил должного внимания, заключается в том, что мы должны чествовать его как самостоятельного основателя теории происхождения в Германии".

с. 163

Трейчке, Генрих фон (1834-1896) - немецкий историк и публицист. Главный труд - "Немецкая история в XIX столетии". Его идеалом являлось сильное монархическое государство, способное вести борьбу за мировое господство.

с. 164

Мольтке, Хельмут Карл (1800-1891) - граф, германский генерал-фельдмаршал и военный теоретик. В 1871-1888 гг. начальник германского генштаба.

с. 165

- Лайстнер, Людвиг (1845-1896).
с. 167
- Ольден, Ганс (1859-1932).
с. 170
- Рейтер, Габриэль (1859-1941).
"Ликование до небес и смертельная печаль" Гете.
из "Эгмонта"
с. 171
- Гартлебен, Отто Эрих (1864-1905).
с. 175
- Гарнак, Отто (1864-1905). В день смерти Гете нашел свою смерть в водах Некара.
с. 177
- "Общество этической культуры" - немецкая ветвь по инициативе В. Ферстера и Георга фон Гицюки была основана в Берлине в 1892 году.
с. 186
- "Ницше как борец против своего времени" - "Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit", Weimar 1895. Bibl.-Nr. 5.
355
- Фёрстер-Ницше, Элизабет (1846-1935).
Кегель, Фриц (1860-1904). С 1894 по 1897 гг. - издатель Ницше.
с. 188
- Эмерсон, Ральф Уолдо (1803-1882) - американский писатель-романтик и философ. Его философские взгляды привлекали многих писателей Европы.
- Гюйо, Жан Мари (1854-1888) - французский философ-позитивист. Основные работы посвящены эстетике, морали, религии.
- Дюринг, Евгений (1833-1921) - немецкий философ; занимался вопросами политэкономии и права.
с. 193
- Я повторяю здесь мои мысли той эпохи, оставляя в стороне полемическую форму, в которую они были тогда облечены. - Речь идет о полемике вокруг сочинений и статей Рудольфа Штайнера "Архив Ницше и его обвинения против бывших издателей. Борьба вокруг архива Ницше", 19 статей в различных журналах с 1896 по 1900 г.
с. 196
- Таэт, Петер (наст. имя и фам. Генрих Кезелиц) (1854-1918) - композитор, ученик и друг Ницше.
с. 197
- Друг, которого я приобрел в юные годы - Мориц Циттер.
с. 202
- Фрёлих, Отто (1869- ?).
с. 204
- Брам, Отто (1856-1912) - немецкий театральный критик и деятель театра. Директор "Немецкого театра" (1894) и театра им. Лессинга (1904-1912) в Берлине.
- Вике, Пауль (1864-1944).
с. 205
- Целлер, Генрих (1856-1934).
с. 208
- Хеллен, Эдуард фон дер (1863-1927).
с. 211
- Френкель, Генрих (1859- ?). с. 213
- Бильрот, Теодор (1829-1894) - немецкий хирург. Разработал ряд новых, вошедших в хирургическую практику операций.
356
- с. 217
- Эунике, Анна (1853-1911). С 31 октября 1899 года - Анна Штайнер.
с. 218
- Фрезепис, Август (1850-1924).
с. 219
- Гумбольдт, Вильгельм (1776-1835) - немецкий филолог, философ, лингвист, государственный деятель.
с. 220
- Хейтмюллер, Франц Фердинанд (1864-1919).

- с. 221
Ролечек, Йозеф (1859-1934).
- с. 222
Христлиб, Макс (1862-1916).
- с. 224
Нейфер, Дагоберт - род. в 1851 году.
- с. 226
Шмидт, Рудольф (1836-1899).
- с. 227
Брандес, Георг (1842-1927) - датский литературовед и публицист. Основной труд: "Главные течения в европейской литературе XX века".
- Лнзорге, Конрад (1862-1930).
- с. 228
Демель, Рихард (1863-1920) - один из наиболее выдающихся немецких поэтов на рубеже веков.
- с. 243
Лайель, Чарлз (1797-1875) - английский естествоиспытатель; развил учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием постоянных геологических факторов. Придерживался эволюционной теории Ч. Дарвина
- с. 248
"Загадки философии", - "Die Rdt sel der Philosophie als UmriЯ dargestellt", 9 Auflage, Gesamtausgabe Dornach 1985.
- с. 250
...физиком, весьма заметным в своей области - Саломон Калишер (1845-1924). Автор работы: "Отношение Гете к естествозна-
357
нию и его значимость в нем". Был издателем естественнонаучных сочинений Гете.
- с. 251
издавать "Магазин фюр литератур" - литературный журнал, основан в Берлине в 1832 году Йозефом Леманом. С 10 июля 1897 года журнал издавали Рудольф Штайнер и Отто Эрих Гартлебен. С 17 марта по 29 сентября 1900 года Рудольф Штайнер был единственным издателем журнала.
- с. 253
Шпильхаген, Фридрих (1829-1911) - немецкий писатель-натуралист.
- с. 256
Бирбаум, Отто Юлиус (1865-1910) - немецкий поэт, прозаик, драматург и критик. В 1890 году стал сотрудником журнала "Гезелльшафт".
- Ведекинд, Франк (1864-1918) - немецкий писатель, драматург.
- с. 257
Шеербарт, Пауль (1863-1915).
- с. 259
Харлан, Вальтер (1867-1931).
- с. 262
Метерлинк, Морис (1862-1949) - бельгийский поэт, драматург и эссеист.
- с. 265
Алыпенберг, Петер (1859-1919) - австрийский писатель. Автор сборников прозаических фрагментов и зарисовок. Один из представителей венской богемы.
- с. 268
"Христианство кате мистический факт" - Первое издание вышло в свет в 1902 году с посвящением: "Графу и графине Брокдорф, а также моим венским друзьям, Розе Майредер и Морицу Циттеру, посвящается". Начиная со второго издания (1910 г.) - с добавлением в названии: "...и мистерии древности". На русском языке (пер. О. Н. Анненковой) впервые опубликована в 1912 году. В 1991 г. вышла в издательстве "Ной", Ереван.
- с. 272
Штирнер, Макс (наст. имя и фам. Каспар Шмидт) (1806-1856) - немецкий философ-младогегельянец, теоретик анархизма.
- 358
Главная работа: "Der Einzige und sein Eigentum", Leipzig 1845. Рудольф Штайнер в своих работах неоднократно пишет о Штирнере - напр., в "Загадках философии".
- с. 273
Макай, Джон Генри (1864-1933).

с. 275

"Мистика на заре духовной жизни нового времени", на русском языке вышла в издательстве "Ной", Ереван, в 1993 г.

с. 279

Гутенберг, Иоганн (ок. 1399-1468) - изобретатель книгопечатания в Германии.

с. 280

Деятельность Рудольфа Штайнера в рабочей образовательной школе продолжалась с 13 января 1899 г. по 23 декабря 1904 г.

с. 282

...об искусстве декламации - см. "Gesammelte Aufsdtze zur Dramaturgie", Bibl.-Nr. 29, Gesamtausgabe Dornach 1960.

с. 283

Сиверс, Мария фон - род. в Польше 14 марта 1867 г., ум. в Швейцарии 27 декабря 1948 г. С 24 декабря 1914 - Мария Штайнер. См. Rudolf Steiner/ Marie Steiner-von Sivers, "Briefwechsel und Dokumente 1901-1925", Bibl.-Nr. 262, Gesamtausgabe Dornach 1967.

Якобовски, Людвиг (1868-1900) - немецкий поэт. Автор нескольких романов и драм. В предисловии к сборнику его стихотворений "Отзвук", изданному уже после его смерти, Рудольф Штайнер дает подробный "жизненный и характерный образ поэта", что является признанием литературных работ Якобовски.

с. 284

"Гезелльшафт" - журнал, который издавал Людвиг Якобовски вместе с М. Г. Конрадом в Дрездене и Лейпциге. В нем были опубликованы многие статьи Рудольфа Штайнера о Геккеле, в частности, впервые - "Геккель и его противники", 1899 г.

Стона, Мария - наст, имя Мария Шольц, урожд. Стонавски (1861-1944).

с. 285

Вилле, Бруно (1860-1928) - немецкий писатель. В начале своей деятельности выступал как натуралист. В 1900 году учредил "Союз Джордано Бруно".

Бёльше, Вильгельм (1861-1939) - немецкий писатель, автор

359

иронических романов на культурно-исторические темы, научно-популярных произведений и биографий.

Свободная высшая школа - свою лекционную деятельность Рудольф Штайнер начал в "Свободной высшей школе" 15 октября 1902 года с цикла "Немецкая история начиная с переселения народов и до 12 столетия" и завершил ее в 1905 году курсом лекций "От германских племен к буржуазии (Основы средневековья)".

с. 286

Кирхбах, Вольфганг (1857-1906).

с. 287

...лекцию, заложившую фундамент антропософии - "Монизм и теософия", лекция прочитана 8 октября 1902 года в Берлинской ратуше.

Экштейн, Фридрих - см. стр. 119. Его книга: "Коменский и богемские братья".

с. 291

...я получил приглашение прочитать лекцию... - 22 сентября 1900 года.

...вторую лекцию - 29 сентября 1900 года.

Теософское общество - Теософское общество основано 17 ноября 1875 года Е. П. Блаватской вместе с Г. С. Олькоттом (1832-1907) в Нью-Йорке. Вскоре они перенесли центр Общества в Индию.

...регулярно читать лекции... - 27 лекций в Теософской библиотеке, Берлин, с 6 октября 1900 по 27 апреля 1901 г.

с. 292

Экхарт, Мейстер (ок. 1260-1327) - немецкий религиозный философ-мистик и проповедник, писатель; оказал сильное влияние на развитие немецкой философии и литературы.

Бёме, Якоб (1575-1624) - немецкий философ-мистик. Описал свои озарения в книге "Аврора, или Утренняя заря в восхождении".

Безант, Анни - (1847-1933) - английская писательница, общественный деятель, одна из лидеров Теософского общества. После смерти президента-основателя Г. С. Олькотта в мае 1907 года, была избрана президентом Теософского общества. См. также стр. 320 и прим. к стр. 293.

...учредительные собрания - 19 и 20 октября 1902 года.

360

...прочитать перед нетеософской публикой очередную лекцию... - лекции в кругу членов общества "Грядущие", с 13 сентября 1900 года по 6 апреля 1903 года.

с. 293

"От Будды ко Христу" - 24 лекции, с 3 октября 1901 года по 27 марта 1902 года.

ряд лекций..."Христианство как мистический факт" - 25 лекций в Теософской библиотеке; Берлин, с 5 октября 1901 года по 22 марта 1902 года.

с. 294

Китли, Бертрам (1860-1949).

Мид, Георг (1863-1933).

с. 295

Ледбитер, Чарлз Вебстер (1847-1934) - английский теософ.

с. 296

Вильманн, Отто "Geschichte des Idealismus", 3 Bande, Braunschweig, 1894-1897.

с. 300

посвятил свою книгу Геккелю - "Проф. д-ру Эрнсту Геккелю посвящается эта книга в знак глубокого уважения".

"Геккель и его противники" - в виде книги издана в 1900 году.

с. 304

...моя "Теософия" - "Теософия. Руководство в сверхчувственное познание мира и назначение человека", Ереван, "Ной", 1990.

с. 307

мальчик индус - Кришнамурти, Джидду (1895 или 1897-1986). Известный мыслитель и поэт. Отец его был членом Теософского общества. Кришнамурти воспитывался под руководством Анни Безант. С детства поражал способностью впадать в экстатическое состояние. Был объявлен теософами новым воплощением Иисуса Христа и поставлен во главе ордена "Звезда Востока". В 1929 году Джидду Кришнамурти распустил орден и отказался от приписываемой ему роли. Он также порвал связь с Теософским обществом.

с. 310

Хюббе-Шлейден, Вильгельм (1846-1916).

361

с. 312

Мах, Эрнст (1838-1916) - австрийский физик и философ. Оказал значительное влияние на становление и развитие неопозитивизма.

с. 314

"Как достигнуть познания высших миров?" - Ереван, "Ной", 1992.

"Из Акаша-Хроники" - издавались как статьи с 1904 по 1908 г. в Берлине. В виде книги впервые издана в Дорнахе в 1939 году.

с. 319

Философско-Антропософское издательство - вначале - Философско-Теософское издательство. С 1915 г. - Философско-Антропософское издательство. Упомянута книга "Шиллер и наша эпоха".

с. 327

Гертвиг, Вильгельм Август Оскар (1849-1922) - немецкий зоолог.

с. 328

Шелер, Макс (1874-1928) - немецкий философ-идеалист и публицист.

с. 340

Минский, Николай Максимович (наст. фам. Виленкин) (1855-1937) - русский философ, поэт, драматург, критик.

Парижский цикл - "Космогония"; 18 лекций с 25 мая по 14 июня 1906 года.

с. 343

Калькрейт, Паулине фон (1856-1929) - графиня, бывшая фрейлина императорского двора. Член Антропософского общества.

Штинде, София (1853-1915) - руководитель немецкой секции Антропософского общества.

Дейнхард, Людвиг (1847-1917).

Шевич, Елена фон (1845-1911).

с. 344

Лассаль, Фердинанд (1825-1864) - деятель немецкого рабочего движения; публицист и адвокат.

с. 345

Мюнхенский конгресс - "Bilder okkultur Siegel und Saulen - Der

362

Munchner Kongreg Pfingsten 1907 und seine Auswirkungen", Bibl.-Nr. 284, Gesamtausgabe Dornach 1977.

...элевсинскую драму, которую воссоздал Шюре - священная драма из Элевсина, с прологом "Похищение Прозерпины"; восстановлена Эдуардом Шюре, переведена Марией Штайнер фон Сиверс, переложена в свободный размер Рудольфом Штайнером, Дорнах, 1939.

Оглавление

Глава первая	
1861-1872, Кральевец, Медлинг,	
Потшах, Нойдорфль 5	
Глава вторая	
1872-1879, Винер-Нойштадт 23	
Глава третья	
1879-1882, Вена, Инцесдорф 37	
Глава четвертая	
1882-1886, Вена 53	
Глава пятая	
1882-1886, Вена 65	
Глава шестая	
1882-1886, Вена, Атерзе 76	
Глава седьмая	
1886-1889, Вена 87	
Глава восьмая	
1886-1889, Вена 102	
Глава девятая	
1889-1890, Веймар, Берлин,	
Мюнхен, Вена 111	
Глава десятая	
1890 120	
Глава одиннадцатая	
1890 125	
Глава двенадцатая	
1890 129	
364	
Глава тринадцатая	
1890, Вена 136	
Глава четырнадцатая	
1890, Росток, Веймар 146	
Глава пятнадцатая	
1890-1894, Веймар , 159	
Глава шестнадцатая	
1890-1894, Веймар 170	
Глава семнадцатая	
1892-1894 177	
Глава восемнадцатая	
1894-1896, Веймар 185	
Глава девятнадцатая	
1894-1896, Веймар 197	
Глава двадцатая	
1894-1896, Веймар 208	
Глава двадцать первая	
1894-1897, Веймар 223	
Глава двадцать вторая	
1897, Веймар 233	
Глава двадцать третья	
Веймар, Берлин 245	
Глава двадцать четвертая	
1897-1899, Берлин 251	
Глава двадцать пятая	

Берлин 261
Глава двадцать шестая
Берлин 268
Глава двадцать седьмая
Берлин 271
365
Глава двадцать восьмая
Берлин 277
Глава двадцать девятая
Берлин 282
Глава тридцатая
1899-1902, Берлин 290
Глава тридцать первая
1900-1913, Берлин 302
Глава тридцать вторая
Берлин 309
Глава тридцать третья
Берлин 320
Глава тридцать четвертая 324
Глава тридцать пятая 327
Глава тридцать шестая 332
Глава тридцать седьмая 337
Глава тридцать восьмая 342
Примечания 347